



Анатолий
Косенков



Пора, мой друг, – вдоль буковок затёртых,
терзая ямб, не замечая власть,
держась живых, не оставляя мёртвых –
беспамятства и памяти держась...

А.К.



**« АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ.
ПРЕЗУМПЦИЯ НАИВНОСТИ »**

Избранное:

стихи и проза

Страницы памяти



ИЕРУСАЛИМ – ИРКУТСК

2016

Составители:
Диксон В.А. и Школьник Л.Б.

«Анатолий Кобенков. Презумпция наивности».
Избранное: стихи и проза. Страницы памяти / Сост.
В.А.Диксон и Л.Б.Школьник. – Иерусалим – Иркутск, 2016. –
420 с., илл.

Книга памяти выдающегося российского поэта Анатолия Кобенкова выходит в свет в год десятилетия его безвременного ухода из жизни. Она содержит подборку избранных стихов и эссеистику. В разделе «Страницы памяти» его иркутские друзья вспоминают о Кобенкове, поэте и человеке: именно в Иркутске он провел самую большую и плодотворную часть своей жизни. Книга открывается предисловием поэта, журналиста и переводчика Леонида Школьника (Израиль), завершается послесловием писателя Виталия Диксона (Россия) и справочным материалом «Коротко о людях, которых вы встретили в этой книге». Издание иллюстрировано редкими фотографиями. Адресовано всем, кто любит и помнит поэта Анатолия Кобенкова, а также любителям литературы вообще и поэзии в частности.

- © Диксон В.А., составление, послесловие, 2016
- © Захарян С.А., текст, 2016
- © Комаров А.В., текст, 2016
- © Михеева С.А., текст, 2016
- © Харитонов А.И., текст, 2016
- © Школьник Л.Б., составление, предисловие, 2016

Леонид Школьник
«И ты меня переживешь...»
Вместо предисловия

Несколько слов для случайных и не случайных читателей.

Перед вами – не просто книга поэта. Перед вами – след души, улетевшей в небо, но оставившей нам – его семье, друзьям, коллегам – ПАМЯТЬ.

У каждого эта память – своя. Вскользь брошенное слово, мимолетная улыбка, сигарета в кафе за углом, бутылка вина на троих, песня под гитару, Бира на закате, иркутские посиделки, московская слякоть – что кому помнится о земных встречах с этим добрейшим человеком. С Толиком, Толей, Анатолием Ивановичем Кобенковым.

И у меня – своё...

Дора Давыдовна, его мама, когда мы гурьбой приходили к ним в гости, говорила нам: «Мальчики, вы кушайте, кушайте. Остального вы в жизни и без меня накушаетесь...».

Не случайная стихотворная фраза о «смотрителе музея Кобенкова» вспомнилась мне тоже не вдруг. Перебирая архивные фотографии, наткнулся на одну, где Толя снят – еще не осененный славой, но уже заглядывающийся на поэзию, как на симпатичную девочку из поселка Сопка на другом берегу Биры.

Тот наш круг общения – Людка Божок, Таня Агалакова, Света Аллилуева, Боря Майзель – памятен мне и сегодня. Как памятен и тот мальчик в пионерском галстуке, внимательно заглядывающийся в завтрашнее свое поэтическое будущее, - он остался в памяти и живет в ней со времени нашего общего «кинопроизводства» в детской киностудии «Биробиджанский пионер» под руководством Ефима Николаевича Фельдмана, недавно скончавшегося в курортной Нетании, на берегу Средиземного моря.

Мы пропадали на студии с утра до вечера, не оставляя времени ни на футбол, ни на девочек, ни на стихи. Сёма Эпштейн (кстати, у меня с ним образовалось творческое содружество ШЛЭПС – по первым буквам наших фамилий и имен), Митя Фельдман (сын Ефима Николаевича), Галя Михайлович, Володя Месамед, Лёва Звенигородский. Между прочим, именно Лёвчик, двоюродный и старший (на две недели...) брат Толика был на студии «Биробиджанский пионер» режиссером первого тогда любительского в стране мультфильма «Однажды...». И он, да и все мы до сих пор помним стихотворные строки Толи, с которых начинался тот фильм:

*Однажды...
А может, не однажды,
В одном каком-то городе,
А может, не в одном...
Все члены комитета,
А может быть, совета,
А может быть актива,
Сидели за столом...*

Фильм был сатирическим, критиковал формализм в детских пионерских отрядах и дружинах. Помнится, 1964 году во время поездки в Москву студиицы показали этот фильм тогдашнему руководителю Всесоюзного сатирического киножурнала «Фитиль» дяде Стёпе Михалкову, и он обалдел, посмотрев 10-минутный фильм юных биробиджанцев, даже хотел использовать его в своем журнале, но, увы, фильм был черно-белый и по тогдашним критериям из-за этого его не могли взять в журнал (как сказали бы сегодня, «неформат»).

Стихи Толя писал по ночам, ранними утрами, любил читать вслух, любил, когда девочки (да и мальчики тоже) ахали, пораженные красивой строчкой, ярким образом, доброй улыбкой. Уже в те времена (как мне, сегодняшнему, кажется) Толя впитывал в себя неповторимый цвет, запах и свет города своего детства, и этот запах дальневосточной (точнее – близковосточной) родины солнышком теплым висит над всем его творчеством.

*Простите, бабушка. Так нужно.
Я не могу прийти домой,
Когда опять рисует лужи
Апрельский снег на мостовой.
Ведь я не слесарь, не бездельник,
И с понедельника для всех
Я начинающий отшельник
И самый добрый человек.
Простите. Это так. И это –
Не выдумка, не ерунда.
Читайте местную газету
«Биробиджанская звезда».
Я там печатаюсь как лекарь.
Я написал в газете той:
«Лечу угрюмых человек
своей апрельской добротой...»*

Публикуя ранние стихи Кобенкова, разысканные в газетных и журнальных архивах Биробиджана и Хабаровска, мы не только чтим память о поэте, но предпринимаем попытку показать его творчество в развитии и делаем первый шаг к будущему (несомненному!) полному собранию сочинений.

... Толя уедет из Биробиджана, оставив в нем бабушку, маму, брата Мишку, друзей и подруг, милых его сердцу стариков в скверике у кинотеатра «Биробиджан».

Уедет, попрощавшись с газетой, впервые напечатавшей его стихи, махнув рукой своим учителям – Ицику Бронфману, Любе Вассерман, Бузи Миллеру, Науму Фридману, Вите Соломатову, молодым поэтам, публике, которая любила наши поэтические вечера в читальном зале областной библиотеки им. Шолом-Алейхема, где нас привечала тишайшая и добрейшая Юлия Александровна Каляпкина, светлая ей память.

Вспоминаю, как однажды поздно вечером мы забрели на огонек в редакцию той самой «Биробиджанской звезды», о

которой Толя написал и где в тот давний вечер дежурный редактор Валерий Ильич Панман дочитывал полосы ее завтрашнего выпуска. Мы с Толей были весьма навеселе и предложили Панману выпить с нами. Он отказался: мол, вы чего, разве не видите, я номер должен дочитать. А потом вдруг сказал: «Вы бы лучше помогли мне». – «А что надо делать?» – медленно соображая, спросили мы. – «Вот тут фотография Миши Шестопалова, вроде фотозтюда – мальчик с девочкой лакомятся мороженым из одного стаканчика, и подпись под снимком: *В жаркий полдень*. А я предлагаю вам придумать другое, менее заезженное название» – сказал наш дорогой Ильич.

Мы переглянулись с Толей, стали, насколько это было возможно, рассматривать снимок. Вдруг Кобенков, победно улыбнувшись, сказал: «Есть подпись!» – «И какая же?» – скептически, учитывая наш не совсем «товарный» вид, спросил Панман. На что Толя задал ему «встречный» вопрос: «Они ведь уже по стаканчику съели?» – «Да, съели. И, видимо, решили еще съесть. А денег на два не было», – ответил Ильич, еще «не врубаясь» в ход рассуждений Кобенкова. И Толя тогда торжествующе выкрикнул: «Третий стаканчик». Так эта подпись под фото, им придуманная, стала украшением газетной страницы...

Потом был Иркутск, откуда он изредка приезжал в Биробиджан. Приезжал разный – вальяжный, озабоченный, «не в фокусе», но всегда готовый что-то прочесть, подсказать, похохмить. Привозил и дарил друзьям свои книжки, вышедшие в Иркутске, стихи из них читал на наших посиделках, просто бродил по городу своего детства – сам, молча, медленно, то и дело присаживаясь на уличные скамейки, чтобы раскурить неизменную трубку свою.

Последняя наша с ним встреча произошла в редакции газеты «Биробиджанер штерн», где я в ту пору работал ответственным секретарем. Анатолий сидел в моем двухметровом кабинетике-пенале и говорил: «Старик, давай посмотрю твою рукопись, сделаем хорошую книжку. А то тебя эта работа окончательно уведет не в ту степь». А я отмахнулся – мол, действительно, некогда, как-нибудь потом, в другой раз.

Другого раза не оказалось.

5 сентября 2006 года его сердце не выдержало.

Московский поэт Олег Хлебников назвал свой некролог памяти Толи так: «Ушел лучший сибирский поэт» (я бы сказал – не только сибирский).

Вот строки из этого некролога:

«...На него писали некрологи при жизни. Неоднократно. Не по ошибке. Им очень хотелось, чтобы Анатолия Кобенкова не было. Чтобы никто не мешал им ксенофобскую графоманию выдавать за гражданскую лирику. Чтобы не существовало в Иркутске никакого "демократического" Союза писателей и не приезжали на Байкал, на ежегодный международный фестиваль, лучшие российские и зарубежные писатели, не любящие ура-патриотической риторики. Удивительно, что заклятым врагом для провинциальных черносотенцев стал такой мягкий и добрый человек, как Толя. Но в том-то, наверное, и дело, что их попросту бесили его интеллигентность и бесспорная поэтическая одаренность. Всем, что Кобенков писал и делал, он напоминал об утраченной норме, хорошем вкусе, необходимости знать и чувствовать родной язык... Господи, почему подавляющее большинство наших нынешних «патриотов» так плохо пишут и говорят по-русски!»

Трудно и больно читать эти горькие строки поэта. Феномен Кобенкова до сих пор не разгадан, не изучен в полной мере. Провинциальный мальчик, ставший всероссийским поэтом, – кто проследит этот путь к вершине, кто соберет все его записки на салфетках и строки из писем друзьям, кто шаг за шагом пройдет по его следам по родной стране – от заваленных листвой биробиджанских улочек до сегодняшних иркутских фестивалей, им организованных, до московских ночных посиделок с друзьями-поэтами?

Нам еще предстоит эта работа – в полной мере открыть стране и миру поэта неповторимого обаяния и голоса, понять, человека какой мощи и правды мы потеряли...

И я хочу дать слово самому Анатолию. Пусть его голос – потрясающе добрый и чистый – прозвучит здесь и сейчас:

*И ты меня переживешь,
мой ангел, а пока
переживи со мною дождь,
дорогу, облака,
сирень, которая цветет,
а завтра отцветет,
свирель, которая поет,
а завтра отпоет,
и смерть, которая придет
и к деду отведет...
Переживи меня, мой друг,
не покидай, мой друг,
ни первый луч,
ни дальний луг,
ни предвечерний звук...
Ты рядом, но уже сейчас
я говорю: любил, —
чтоб свет, которому без нас
и белый свет не мил,
светил тебе и в дальний час,
как час назад светил...*

Иерусалим, июнь 2016



Школьник Леонид Борисович (род. в 1945 г.) – поэт, журналист и переводчик. Главный редактор международного еженедельника «Мы здесь» (Иерусалим – Нью-Йорк).



Раннее: шестидесятые, семидесятые...

(Составитель Л.Б.Школьник)

ПРОЩАНИЕ

Я уйду в осенний грустный дождь.
В осенний дождь, нагих деревьев дрожь.
В глаза Вселенной, как в твои глаза,
В холодный парк, как на пустой вокзал...
Меня секут хвосты комет, как розги,
Мне руки греют голубые звёзды,
И заставляют лужи обходить
Продрогшие, усталые ботинки.
Я чувствую: Земля моя дрожит,
Вертясь долгоиграющей пластинкой.
Я слышу, как гудит её аорта,
Как под ногами бьётся её сердце...
А в тёплой комнате ещё гудят аккорды
Сюиты
«Детство».

Я БЫЛ БЫ ВЕСЕЛЕЕ

Девчонка,
 прочитав мои стихи,
мне говорит:
 – То не твои стихи.
В них много грусти,
Ну, а ты – весёлый...
Да, я порой бываю очень весел,
Да, я люблю миллионы
 модных песен,
И я люблю девчонкам улыбаться,
И просто так, от солнышка, смеяться...
Но я бы в жизни
 больше улыбался,
И больше пел, и больше бы смеялся,
Когда б не видел ни одной слезинки,
Не замечал бы ни одной грустинки
В глазах у наших старых матерей,
что плачут над портретами мужей.

А я молчу.
 Какие там деньги,
когда есть
 на свете
 стихи!

Ты говоришь:
 – У меня дело.
А я знаю,
 какие у тебя дела.
Ты в клубе ударником
 не из-за денег,
А чтоб музыка людям была.

Я слышу издали твой кашель,
Смотрю на белые провода
И кричу:
 – Я напишу про тебя, Сашка!
А деньги всё-таки – ерунда!

MAME

Я свою маму
давно
 не целовал...
Почему – не знаю,
Может, забывал,
Может, было некогда.
К шестнадцати годам
Стеснительно и нехотя
Своих целуют мам.

Мне сегодня грустно...
На улице снег
Валит, валит густо,
тёплый, словно смех...
Синий ветер воет...
никнут тополя...
Нас в подъезде двое –
девочка и я...
Нас в подъезде двое...
А я хочу уйти...
Снять пальто большое,
К маме подойти
И задеть губами
Тёплых губ овал...
Я свою маму
Давно не целовал...

ГЛОБУС

Задолго

до урока
мы в класс притащили глобус.
Он был большой и тяжёлый,
коричневый и голубой.
И каждый хотел погладить
речной его светлый волос
и нежно прижать водопады
своей небольшой рукой.
И мы его,

сняв с подставки,
стали бросать друг другу,
на миг к груди прижимая,
чтоб он не упал.

Не упал!
И горы летели по кругу,
и реки летели по кругу,
и океан огромный
у наших сердец бушевал!
И нам казалось, мы держим
в руках всю планету,
мир весь,
что мы теперь властелины
судеб нашей земли...
И вдруг он упал, подпрыгнув...
И нам показалось,
что мир весь
вздрагнул...

А глобус качался
возле чьей-то ноги.

СТРУЖКА

Поначалу мне было страшно,
когда лодочкой по реке
по очкам проносилась стружка,
оставляя укус на виске.
Я шарахался.
Было.
Каюсь.
подавив испуганный вздох,
над станком токарным склоняясь,
стружку я костерил, как мог.
Дядя Федя орал:
– Мальчишка!
Стружка добрая!
Ты влюбись!..
Стружка тёплой была и чистой,
как опавший осенний лист.
И когда она тихо лежала
синей грудой у станка,
я её поднимал устало,
кпал в дырявый карман пиджака,
объяснял дяде Феде тихо:
– Вот домой несу... Экспонат...
Дядя Федя глядел, как на титры
малыши в кинофильмах глядят,
улыбался...
Я шёл, качаясь,
как по трапу... Плыла луна...
И тугим вещмешком за плечами –
тишина.

ЛЕНКА С ЛЕРМОНТОВСКОЙ

По ручьям, голубым, как глобусы,
как замызганный грязью бродяга,
бродит в полночи мой автобус,
бродит в полночи мой работага.
А в автобусе спит кондукторша –
Ленка с Лермонтовской,

смешная.

Снятся ей блестящие дутыши,
грустный мальчик,

помада губная,

снятся ей далёкие улицы,
фонари,

дома,

тишина...

Ленка – вредина! Ленка – умница!

Ленка – зимы! И

Ленка – весна!

Сумасшедшая, добрая Ленка!

Спи.

Копеечки будут спать,

будет тёмная улица Лермонтова

твои тихие шорохи ждать,

будет дядька, немного пьяный,

удивительно долго молчать,

будет всем шептать, будто мама:

– Тише вы! Не мешайте спать!

... И бесшумно сходить будут люди

на своих остановках пустых...

Знаешь, Ленка, мы все тебя любим.

И поэтому ты поспи.

ВЕСНА

Весна.

Я глупенький и маленький,
я в лужи по уши влюблен.

А бабушка мне сушит валенки
и заставляет есть бульон.

Но мне бульон

совсем не нравится,

и я на улицу хочу,

и я весну зубрю,

как правило,

и хлебушек крошу грачу.

Я очень, очень невоспитанный,

я очень длинный,

я худой,

я почему-то неупитанный,

я пахну лужей и весной.

Я плитку мокрую пинаю,

я синим фантиком шуршу,

я все на свете понимаю

и все на свете совершу!

И пусть меня

пихают сумками,

и пусть

– по правилам –

опять,

когда звенят капли в сумерках,

меня укладывают спать!

Пусть я лежу в постели теплой,

пусть книжку почитать прошу,

пусть мне читают «Дядю Степу» –

я сам уже стихи пишу!

* * *

Когда-нибудь уеду в сопки.
Угрюмый, как медведь-шатун,
я забреду в чужие сосны,
в снега чужие забреду.
Я знаю, как там спят медведи,
как им часами по ночам
поют усталые метели
смешную песню про очаг.
Медведи слушают и плачут.
Им хочется иметь очаг,
чтоб жёны их носили платья
и целовались по ночам,
и чтобы их, медвежьи, дети
сумели Брэма прочитать.
И люди врут, что все медведи
всю зиму спят.
Они не спят.
Я знаю всё про них. Я знаю,
как там, в задумчивых снегах,
живёт столетний мудрый заяц
с печалью маленькой в глазах.
Мне кажется, он тайну знает,
которую никто не знал,
Он, может быть, в снегах скрывает
стихи, что мамонт написал.
Он потому живёт в сугробах
совсем один.

И потому
я булку хлеба брошу в торбу,
я лыжи напрокат возьму,

я в сопки синие уеду,
и, если не уеду я,
умрёт мой заяц, и медведи
не выспятся до сентября.

НИКО ПИРОСМАНИ

Мы сегодня вспомним старый-старый
город, и, кивая головой,
мы до дыр сегодня залистаем
золотые улицы его.

Он по ним бродил.

Он был красивым.

Слышите, он снова в дверь стучит?!

Но опять прогнали.

Не пустили.

Он поднимет ворот.

Помолчит.

А на площадь выкатится полночь...

Площадь...

Полночь.

И какой тут сон?!

Но тогда придут к нему на помощь
звери, понимающие всё.

Ничего не будет. Будет тихо,
потому что, когда спит Кура,
в городе гуляют львы и тигры,
и большой задумчивый жираф,
и ещё – Нико.

Босяк. Пропойца.

Гений!

Чёртов сын!

Зверьё уйдёт.

Свет прольётся.

И арба проснётся.

И духанщик шашлыком набьёт
свой живот и крикнет:

–Эй, мазилка!

Нарисуй мне самый жирный плов,
нарисуй мне жирные корзины,

полные невиданных цветов.
Он вина подаст. И закивает.
А потом Нико заговорит:
– Звери мне во многом помогают.
А в любви они не помогли.
Я вам нарисую двести видов.
Я вам подарю ЕЁ лицо!
Только вы любите Маргариту, –
и украдкой взглянет на кольцо, –
та любовь, как божье наказание...
Будто кровь, вино из-под руки.

За столом, залитым «Мукузани»,
гений глухо стонет в кулаки...

Ты бредёшь по листве.
Ты не хочешь домой.
Это осенью называется...
На далёких гольцах изюбры трубят,
им на морды листва опускается.
Этот зов уже тысячи лет подряд
поздней осенью называется.
Пусть всегда будет так. Пусть во веки веков
листопад, что уснуть собирается,
и погасший костёр, и изюбриный зов
поздней осенью называются.

Зимой в деревне Старые Излуки,
В большой избе, который день подряд,
Мне варит щи красивая старуха,
Мне лижет руки ласковый Пират.
Я никуда отсюда не уеду,
Я в этой перетопленной избе
Живу затем, чтоб грустному соседу
Рассказывать ночами о тебе.
Сосед сопит, он слушает, он верит,
Он засыпает сидя, а потом
Я слышу: вьюга засыпает двери,
Как будто звери балуют снежком.
Чтоб спал сосед, я три свечи задую.
Я буду слушать: капает вода...
Я буду думать: я тебя забуду...
И ты меня забудешь... И тогда...
Приду сюда - и запах щей узнаю...
Увижу вновь, как сидя за столом
Уснул сосед, как свечи догорают
И балуются звери за окном...
И я пойму: ничто не изменилось,
Опять сосед, склонившись над столом,
Расскажет мне, что ты ему приснилась...
Что ты смеялась, плакала... Потом
Он мне расскажет, что с тобою было,
Как ты жила... И как с началом дня
Ты плакала, смеялась и любила...
А кто тебе расскажет про меня?..

ТРАВА

Трава живёт обособленно.
Свои у неё права.
И потому особенно
пахнет в тайге трава.
Особенно, замечательно!
Здесь чёрные муравьи,
как трубочисты, тщательно
счищают копоть с травы.
Ещё здесь живёт кузнечик,
зелёный маленький конь,
которому делать нечего,
как только искать себе корм.
И вечно – и днём и вечером,
и по росистым утрам
я прихожу к кузнечикам,
стрекозам и муравьям.
Здесь можно кататься по листьям
без отдыха. Целый год.
Тебя здесь никто не ищет
и никогда не найдёт.
Лежи и выдумывай байки,
зарывшись в траву головой,
и вспоминай про бабку,
пахнущую травой,
про травы в бабкином домике,
выстоявшем века,
про то, как жил с геологами,
хмурыми, как тайга,
про то, как хлебнувши лишнего,
геологи в травы ревут...
А вы ничего не слышали
про государство Траву.

Вы даже во сне не найдёте
зелёные острова...
Как же вы так живёте
без государства Трава?!
Вы на росу упадите.
Пусть кружится голова.
И вы хоть час поживите
в старой стране Трава.

* * *

Вот и тайга.
Знакомься.
Будь как дома.
Глаза от жёлтых веток береги...
Я чуточку похож на управдома.
Но я ведь знаю комнаты тайги.
Подбрось в огонь валежину сухую.
Дай мне ладони, милая моя.
Давай с тобой немного потоскуем,
пока два синих угля догорят.
А знаешь, почему мы потоскуем?
А потому, что в снежную, как Григ,
уйду я в нашу улицу пустую
от непростой любви моей тайги.
Ты знаешь, это всё как-будто небыль,
но счастлив я, что плещется вода,
что рядом ты, и старый клён, и небо,
и можно слышать, как летит звезда.

* * *

Я школьник.

Я Блока читаю.

Мне нравится Блока читать...

Соседская девочка Таня

на улицу вышла гулять.

Я Блока читать передумал,

я новую ручку достал,

я первую строчку придумал,

вторую –

у Блока списал.

Никто никогда не узнает,

о чем я в тетради писал:

я тихую девочку Таню

своей Незнакомкой назвал.

Я перелетаю ступени –

какая смешная пора:

я школьник,

я нравлюсь апрелю

и всем незнакомкам двора.

Сосулька срывается звонко,

сосулька растает в руке...

Татьяна!

Любовь!

Незнакомка!

Две двойки в моем дневнике...

ВЕСНА В СЕДЬМОМ КЛАССЕ

Пахнет первой вербою,
и земля оттаяла,
грач смотреть скворечники
утром приходил...
А Любовь Ивановна
двойку мне поставила,
а Степан Андреевич
двойкой пригрозил.

Пионервожатая
погрозила пальчиком,
а Вадим Сергеевич
маме написал:
«Я не понимаю,
что случилось с мальчиком.
Он не занимается,
двоечником стал».

...Из записки маленькой
получился маленький,
очень замечательный
плавный самолет,
он летит над городом:
– Что случилось с мальчиком? –
целый день волнуется
в городе народ.

...Я стою в учительской,
как солдат у знамени,
ни о чем директору
я не рассказал,
потому что ждет меня
– это точно знаю я –
девочка, которую
я поцеловал...

Там все, как прежде было:
уставших на путях,
хозяйственное мыло
отмыло работяг;

спят бабушка и мама,
спит дедушка Абрам
и краевая дама,
приехавшая к нам;

собачка не залает,
не тявкнут поезда,
и только ночь гуляет,
покуда молода:

шуршит она подолом,
закармливают сном,
хорошая, как шолом-
алейхемовский том...

Но - чу! – никем не слышим,
при каске завитой,
опять на вахту вышел
пожарник молодой.

Покуда грянет зорька,
с биноклем или без,
он взглядом дальнозорким
прочесывает лес:

не вспыхнул ли подснежник,
дымится ли багул? –
и взгляд его прилежен,
хотя и набегу.

И думает пожарник,
разглаживая лоб:
– В черте Биробиджана
и за чертой – тип-топ.

Тип-топ на фирме «Мебель»,
на базе «Вторчермет» –
ни на земле, ни в небе –
нигде пожара нет.

Не видит он, не знает,
начальству не звонит,
как грудь моя пылает,
как сердце в ней горит.

А знал бы он об этом,
проведал бы о том –
навряд ли бы коллегам
скомандовал подъем:

в училищах пожарных
еще не говорят,
что делать с пацанами,
которые горят.

УЛИЦА

Мне кажется, что век тому назад
я так же брёл по этой тихой улочке,
и та же дверь скрипела в старой булочной,
и продавщица шурила глаза,
и старикашка в тереме-киоске,
с глазами голубыми, будто лето,
у старичка брал деньги за газеты
и говорил ему:

– Послушай, Йоселэ,
послушай, таер, разве это плохо,
что мы имеем счастье говорить,
и вечером с работы приходить,
и кушать цимес, и на тёплый локоть
старушек-жён

затылок положить,
и говорить им ласково о прошлом,
о ценах на продукты, на картошку,
и думать, сколько нам осталось жить,
и засыпать...

О, Йоселэ, послушай!..
И Йоселэ кивает и идет,
покачиваясь медленно и мерно,
и новости читает в старом сквере,
и жёлтой спичкой долго чистит уши...

Вот улица моя.

Уж целый век

она встречает женщину утрами,
а женщина – с усталыми глазами,
а женщина – хороший человек.

И кажется,

что я её любил

давным-давно...

Она ведь так близка мне:

мы вместе с ней топтали эти камни,

мы вместе с ней поведаем любым
смешную сказку нашей старой булочной
и песенки, что пели мостовые,
ведь только мы одни не позабыли,
что век живем на этой тихой улочке...

СТИХИ ПРО ОСЕНЬ И ПРО ДВОРНИКА

Вот осень. Бульвары печальны, как плахи,
в глухих листопадах запуталась грусть...
Я каждую осень, когда мне плохо,
к знакомому дворнику в дверь стучусь.
А дома у дворника одни лопаты
и всей посуды – один стакан;
а дворник мой – лысый, носатый, губатый,
совсем одинокий, смешной старикан.
На длинном гвозде я пальто оставляю,
я в комнату медленно прохожу,
бутылку «Столичной» на стол выставляю,
к делу исподволь подхожу;
и после второй я просто и веско
все объясняю опять и опять;
и дворник мне мальчиком глупым верит,
что листья не надо в кучи сгребать;
и дворник глаза сужает по-лисьи,
гогочет,
 глотая
 табачный дым;
и пьем мы за листья, за листья, за листья,
залитые сумраком голубым;
и я называю дворника умницей,
я знаю, что завтра
придут,
прилетят,
приедут поэты на нашу улицу,
где листья нетронутыми лежат;

и тихо читаться поэмы будут
под солнцем,
 под звездами,
 под луной;
и будет наш дворник стоять на трибуне
и в новой фуфайке сниматься в кино.

* * *

Этот город маленький
помнит, как никто,
бабушкины валенки,
мамино пальто,
дедушкину тросточку,
песенку мою...
Я открою форточку,
город обкурю,
отабачу улицу,
площадь да проспект...
Мне сегодня курится,
а соседям – нет...
Вечер, одиночество,
с близкими разлад...
Оттолкнусь от форточки,
поплыву назад,
к радугам – по вторникам,
к снам – по четвергам,
на рюмашку – к дворникам,
на тоску – к врагам;
а потом – по пятницам
в клубе заводском
сладко пахнут платъица
жжёным утюжком;
в первых строчках шарятся
первые дожди,

надувные шарики,
дутые вожди,
гильзы папиросные,
и, конечно, сам –
запрещённый взрослыми
Ги де Мопассан...
Все на расстоянии
вздоха моего:
встречи, расставания...
Всё. И ничего.

Стихи: 1980 - 2005

(Составитель Л.Б.Школьник)

* * *

До чего же я жил бестолково!
Захотелось мне жить помудрей.
Вот и еду в музей Кобенкова,
В самый тихий на свете музей.

Открывайте мне дверь поскорее!
И, тихонько ключами звеня,
Открывает мне двери музея
Постаревшая мама моя.

РОДНЯ

Я прикинул на глазок,
и в родне моей
оказались – кто как смог –
русский да еврей,
непутёвый Исаак,
бешеный Иван,
битый молью лапсердак,
сжамканный кафтан,
горы стоптанных сапог,
чиненых штиблет,
треушок да котелок,
чуйка да жилет...

Остывает, не спеша,
сладкий кипяток –
плачет русская душа,
забредя в шинок;
согревается стакан,
замерев в руке,
– иудейская тоска
отошла в шинке...

Непутёвый Исаак,
бешеный Иван
выясняют, кто дурак,
кто из них – болван,
– богомольцы-чужаки,
пасынки тоски,
Божьи дети, корешки,
корни, мужики, –
с государем на стене,
с ангелом в окне...

Три стакана на столе,
видно, третий – мне...

Выпей с нами нашу грусть
впрок, а не зазя,
мать Россия, мати Русь,
бабушка моя...

* * *

Приходила бабушка – та, что русская:
попила из дедушкиного ковша,
а потом сидела, подсолнух лузгала...
и подсолнух хорош, и она хороша...

Приходила бабушка – та, что еврейская,
попросила: «Дедушке напиши,
что глаза повыцвели, душа потрескалась»...
Но душа хороша, и глаза хороши...

Мы вздохнули враз, вспоминая дедушек,
заревели, подумав, что для утех –
и второй, и первый – гостят у девушек,
но один – у этих, другой – у тех.

Так ревели споро мы – я да бабушки,
что земля набухла, и через час
отшумела пшеница, взошли оладушки,
появились, брызгаясь и лучась,

ребятишки: у кошки, потом – у лошади,
а потом – у собачки, и я нашёл,
что легко быть бабушкой, лучше – брошенной:
и тебе, и дедушке хорошо.

СТИХИ О МОЕМ ПАРИКМАХЕРЕ

Геннадия Базюку

У меня рубли шуршат в кармане,
у меня в мясном отделе – блат...
Жаль, что не живёт в Биробиджане
парикмахер Мойша Марберблад.

Перед маем, перед новым годом,
за день до седьмого ноября
на глазах у честного народа
ангела он делал из меня.

Приглашая в старенькое кресло,
будто приглашая в новый дом,
он шутил: сначала – о невестах,
а потом – о будущем моём.

Песни пел – то медленно, то быстро,
и вздымая бритву надо мной,
говорил мне: – Вэйзмир, вам в министры
надо бы с такую головой!..

Ясно, что в министры я не вышел –
в этой жизни большего взалкав,
я шагнул в поэты – что повыше:
отыщи министра в облаках!..

Мне жена берет ночами вяжет,
птицы возвращаются на юг...
И никто хорошего не скажет
никогда про голову мою,

потому что Мойша отдыхает,
ничего не должен никому...
Мыльной пеной с месяца стекает
облачко – как памятник ему...

* * *

Ночами в родительском доме
с трудом засыпал иногда...
Но было ли что-нибудь, кроме
желания славы тогда?..

Ты медлишь заметно с ответом...
Я зла на тебя не таю...
Скажи: неужели поэты
так жизнь начинают свою?..

По Волге гулял на пароме,
умел боронить и косить...
Но было ли что-нибудь, кроме
желанья слова находить?

Неужто не спал до рассвета,
в глаза целовал лошадей
затем, чтобы только поэтом
прослыть среди добрых людей?..

* * *

Из юности я помню только утро.
Я просыпаюсь в доме, о котором
никто не знает – ни друзья, ни мама,
ни бабушка...

Мне восемнадцать лет.

Мне холодно от головокруженья
и жарко от стыда – сегодня ночью
меня тягучей лаской напоили
на много дней

на восемнадцать лет...

Как весело! Как страшно! Как скрипуча
четвёртая ступенька под ногами!
Как зыбок город – улицам и скверам,
домам и паркам

восемнадцать лет.

День поднялся. А женщины не встали –
они вздыхают в розовых постелях,
как скрипки, на которых отыграли
печаль и свет... Им восемнадцать лет...

Я только что с одной из них простился,
сказал «Прощай», и сонная соседка
открыла дверь, и я сказал ей «Здравствуй»,
и вышло сразу – «Здравствуй и прощай»...

Прощай и здравствуй, мир невероятный,
замешанный на зависти и счастье!
Я так устал, я кончил десять классов
и никого ещё не потерял ...

* * *

И снег пошёл, и стало тихо,
и я, как в детстве, не стыдясь,
сравнил с пушистою зайчихой
пушистый день и вспомнил вас –
тяжёлую, в тяжёлой шали,
в слезах – и начал хохотать,
припомнив, как они мешали
вас целовать и умоляли,
и требовали – целовать!

* * *

Мир еврейских местечек...

Печальный писатель Канович
ещё помнит его. Там до дыр зачитали Талмуд,
там не хуже раввина собаки, коты и коровы
понимают на идиш, и птички на идиш поют;

там на каждый жилет – два еврея, четыре заплаты,
там на каждую жизнь – по четыре погрома, по три...
Там ещё – Эфраимы, Ревекки, Менахемы, Златы,
балагулы, сапожники, шорники и шинкари.

Их скупому дыханью звезда запотевшая светит,
их смазным сапогам – из полей палестинских песок...
Эмигранты империй, соломоновы бедные дети,
на повозках молитв отбывающие на Восток...

Дай им, Господи, сил, дай им кихэлах* сладкие горы,
километры мацы и куриных бульонов моря...
Грустно жить на земле, где еврейское горе – не горе,
трудно жить в городах, где не все понимают меня...

Там, где даль мне поёт,
там, где ночи о прошлом долдонят,
там, где бамовский шов
в прибайкальскую летопись лёг,
кто услышит меня и какой мне Канович напомним
мир еврейских местечек со львами его синагог?

Кто мне лавку откроет, где молятся полки о хлебе?
Кто мне Тору раскроет, которую слёзы прожгли?
Кто укажет перстом на скрипучую лестницу в небе,
по которой однажды за счастьем еврейским ушли

Эфраимы, Ревекки, Менахемы, Златы, поэты,
балагулы, сапожники?.. Кто загрузит обо мне,
прочитавши о том, как ушёл я по лестнице этой
в мир еврейских местечек – на родину, в небо, к родне?

* Кихэлах (*идиш*) – коржики (печенье из сдобного пресного теста).

ПОЛОТНА ШАГАЛА. ТРИПТИХ

I.

Полотно Шагала – это я
у своей прабабки на побывке;
это праздник; это у тряпья –
латочки, у обуви – набивки;
это кашель пьяных половиц,
это среди плесени и гнили
тихий мальчик Изя Горовиц
скрипку взял... и слёзы тёти Цили
на цветах пикейных покрывал...

Это осень; это дождь на крыше...
Это всё, что Марикел Шагал
допоёт, допишет и додышит...

Лоскуты надежд, обрывки сна,
а меж ними – с кошерной едою –
улочка, которая ясна,
как стакан с небесною водою...

II.

Полотно Шагала – это ты
за руку взяла меня, и, значит,
жизнь моя чего-нибудь да значит,
ибо рядом – ты и облака.

У тебя – хорошая рука,
лёгкая, как слово, а мозоли –
как плоды паслёна или соли
влажные кристаллы – холодят.

Если мы оглянемся назад,
то увидим, как раскрыла Тору
наша жизнь, которую к забору
привязали, и забор знобит...

Слышишь, как о счастье говорит
(как о смерти) бабушка, ты слышишь,
яблоки попадали на крыши,
половицы скрипнули в дому?..

Я тебя за плечи обниму,
потому что мы с тобой оттуда,
где золой оплакана посуда,
перхотью оплакан лапсердак,

а селёдка – ржавью, а чердак –
перьями, котами и мышами...

Нам они ни в чём не помешали –
мы с тобой их в небо принесём...

III.

Полотно Шагала – это мы,
грустные, как люди на вокзале,
глупые, как страусы смешные,
как Шолом-Алейхем. Это мы.

Так мы пели – головы закинув,
кадыки надувши, вскинув руки,
закатив глаза, как перед смертью
или чудом. Пели, как могли.

Так мы жили – радуясь селёдке,
хлебу, молоку; на наших грядках,
сдобренные нашим потом, жили
и чеснок, и бульба, и любовь.

Так любили – на земле, на небе,
иногда – на перьевой перине,
иногда – на облаке: как люди
и деревья; там мы и ушли:
в землю или в небо – на ладонях
родственников, или на идеях
тех, что не успели нас понять...

Чем я дале от вас,
говорю ребятишкам и женам,
чем вы ближе,
Архангелу молвлю и небу,
тем теснее во мне
вашим крылышкам,
вашим коленкам...
Разноцветной пеленкой,
веревочкой бельевой
завершаю свой путь
и счастье рифмую
с прищепкой...

* * *

...«Сладок и хрупок картофель», —
матушка пишет в письме мне,
сладком и хрупком на звук.

«...сладко», — читаю и мне
сладко, а «хрупко», — читаю,
кажется: жизнь обронив,
елочный шар уроню;

думаю: коли уйду,
то хорошо б для потомка
жизнь догадалась сберечь
матушкино письмо, —

если не все, то — фрагмент,
лучше бы тот, где «картофель
сладок и хрупок»...

ОСЕНЬ

Григорию Кружкову

Когда мы сортируем наши травы
и заточаем в кадки огурцы,
как птицы из оливковой дубравы
нас выкликают наши праотцы.

И нас знобит, и взгляд наш столь рассеян,
и зыбок слух, и наша мысль чиста,
когда косноязычье Моисея
палит гортань и холодит уста.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ОСЛИК

Цветам и травам должное воздав,
он веточку омелы вдел в копытце...
Мне ослик нравится – особенно, когда
он не в меня, а в грусть свою глядится.

И вижу я, что эта грусть светла,
и наблюдаю, как она сказала
на всех живых, иначе бы листва
не пела бы, а ты не улыбалась.

И мнится мне, что многие парят –
кружатся лёжа и взлетают сидя,
когда в саду на ослика глядят
и что-то видят или мнят, что видят...

Спасибо ослику – особенно тому,
что подчинился правилам, отчаясь,
уже по свету, а не по уму
или тряпью мы осликов встречаем.

Спасибо ослику – за то, что он живёт,
за то, что мы присутствуем при этом...
за влажный взгляд, за плюшевый живот...
За то, что он явился к нам с приветом...

Давай с тобой в рентгенокабинет
его сведём, и всем на радость снимем
и грусть его, и тот большой привет,
что он принёс из Иерусалима...

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Варе

Я, как Иосиф, стар, а между тем
ты – девочка, и я навечно выпит
боязнью за тебя... – бежим в Египет...
Прости-прощай, сибирский Вифлеем!

Вот ослик наш – небесный самолёт...
И наши провожатые – светила –
в его копытца тычутся уныло,
и завтра Илия их подберёт...

Все издавна бегут: кто – в письмена,
кто – в пиршества, кто в плен бежит из плена...

И мы бежим, и тают постепенно
твои пелёночки, мои пелены
и бледного Египта пелена...

В ГОРОДЕ ЭТОМ ПОД ЭТОЙ ЛУНОЙ...

В городе этом под этой луной
кто-то уже пролетал надо мной;

я уже с кем-то сюда приходил,
"баюшки-баю" кому-то твердил...

Возраст ли, время: предзимье, предсон?..
Я ли в иные миры занесён,

или иные миры на меня
вышли с ищейками, мщением горя?..

Я уже где-то
слыхал этот гул,
я уже с кем-то
встречал этот шквал, —

он ли однажды ко мне завернул?
Я ли когда-то к нему постучал?..

Где кипяточек мой, где наш стакан,
Марк мой, Лука мой, Матфей, Иоанн?..

* * *

Мне хочется не «ветер» молвить – «ветр»,
так всем теплей: ни Матерь не пугает,
ни Сына Божьего,
и пальмовая ветвь
крошится по обреза, как пергамент.
Мне хочется не «ночь» сказать, а – «тьма»:
в движении – одна, но недвижима –
другая,
и сибирская зима
накрыла крыши Иерусалима...
Но как сказать, что на сердце лежит,
когда Он, остужая пересуды:
– Да любите друг друга, – говорит
и глаз не сводит с бледного Иуды?

ПОПЫТКА УТЕШЕНИЯ

В розовой тьме немоты Моисея,
у Аароновых уст
старый мичуринец юной Расеи
ладит ракитовый куст;

в алое горло Давидовой дудки,
полной Ионовых слез,
черные ангелы лагерной будки
тычут сережки берез...

Родина, родичи, посох и плаха —
по истечении бед
явится вам из Адамова праха
Авелев голос и свет.

* * *

Потому и форточку прикрою,
чтобы Ты гонца не слал за мной —
залитый рождественскою кровью,
выжданный пасхальною землей,
сбитый братом, поднятый соседом,
званный чернью, кликнутой Отцом...
Не дыши в лицо мне черным снегом,
конским потом, козьим молоком...

ДЕВИЧИЙ АПОКРИФ

«Отче!» — твержу, выкликаючи бабушку.
«Мати!» —
к Матери Божьей с утра обращаю свой всхлип...
Ангел влетел — привяжу его к ножке кровати.
«Чив», — он мне скажет, а я и отвечу: «Цып-цып»;
«Цыц», — говорю каптенармусу танковой роты,
«Прочь», — говорю стихотворцу, смутителю чувств:
Ангел со мной, и покуда при мне не помрет он,
Ангелом быть научусь...

* * *

—...Лети, говорю, отселе,
туда, говорю, куда
ходила за Моисеем
рождественская звезда,
лети, говорю, голубка,
туда, говорю, лети,
где камушки первопутка
евангельского пути,
лети, говорю, чтоб прямо
на тот Моисеев свет,
что семечком Авраама
был пролит на Назарет,
лети, говорю, из дома,
оставь, наставляю, дом,
где семечком из Содома
разбужен его содом,
лети, говорю, голубка, —
в рождественский вечерок
доставши из полушубка
оливковый черенок...

* * *

Той дедовой тоске, которой бы хватило
и череды веков, и черепков судеб,
наказано с утра споткнуться о светило
и в поле перейти, чтоб обратиться в хлеб.

Мгновенье — и она из тьмы нам колосится,
и далями косит, и доли колосит,
и в женщине поет, и крылышкует в птице,
и, голос потеряв, в лягушке голосит.

И здесь она, и там, да и куда ей деться,
чтоб душу поразлить и выплеснуть лицо,
над коими прошли и ангел иудейский,
и праславянский бог, и матушка с мацой, —
и что твое: «Уйди!», и что твои ладони
и губы: «Не хочу», и кулаки: «Не смей!» —
когда она пришла и, оттолкнув подошник,
является в дитя — и жить, и умереть?..

ДВОЙНИК

В нетронутые тьмы просторов мезозоя
мизинец заведя и пяточку введя,
он кажет мне лицо, веселое и злое –
гуляки и творца, сатира и вождя.

Он тычется щекой в тяжелые шпалеры
просторов и времен – затерянный во мгле,
он не заметил, как – сын Марса и Венеры –
он небо потерял и бродит по земле...

Еще весь мир таков, что – коль его наденешь,
как курточку, по швам он поползет и – щелк! –
застрянет на замке, но звук еще младенец,
а те, что есть предзвук, в дошкольниках еще;

и слова нет еще, и Вельзевул рассеян,
и истина его в огне, а не в вине,
и Моисея нет, но посох Моисеев
уже скрипит ему и ломится ко мне.

Еще России нет, но выклик был березе,
и Книга не шумит, но мир уже при ней,
еще не Пушкин, но – «малыш уж отморозил»,
еще не Мандельштам, но – «список кораблей»...

Пред-Книга, пред-Адам, Вергилий в пред-тумане,
пред – то, что плохо мне, и то, что хорошо...
Зачем он мне сейчас, когда на Иоанне
я память потерял, а смысла не нашел?

Зачем он скинул шлем в космической каюте?
Зачем он сдвинул люк в подводном корабле?
Зачем он мне сейчас – раскрывшему компьютер
под тяжестью звезды на маленькой земле?

ДВЕ КОЛЫБЕЛИ

Умирает отец – на седьмое десятилетье
покатилась звезда его... Гаснут его ордена,
вянут шляпы, худеют костюмы; на свете
было много вина –
не осталось ни капли вина...

Были дети –
они разбежались куда-то –
ползунки разлетелись, захлопнулись дневники,
а потом сапогами стучали по дому солдаты,
а потом – мужики...
Это мы с тобой, брат, мужики.

Это мы загасили для жизни привычные звуки –
тише Леты течет на подушку отцовская прядь –
растекается ночь, наливаются силою руки –
им баюкать отца,
убаюкивать,
не отдавать...

Мы закрыли пивные,
поставили крест на получке,
запретили соборья, переделали календари...
– Подожди, – я сказал, –
я еще подарю тебе внучку.
– Буду ждать, – отвечал, –
только ты не тяни, подари...

* * *

И был я зван детьми Ерусалима
на пальмовую ветвь, на вопль «Осанна!» —
через Лазаря, восставшего из гроба,
через Марфу, пеленавшую его...
Дитя Марии — голубя смиренной,
Давидов внук — железнее железа,
зерно зерна, я мертвого мертвее
для Лазаря, испробавшего смерть...
Прости мне, Лазарь, возвращенье к жизни,
которая с лица не изменилась,
покуда ты лица ее не видел,
и прислонись к распятью моему...

* * *

...себя погасишь — срез или надрез?
упал ли колос, Лазарь ли воскрес?
...погасишь слух — в сторукой тишине
малыш заплачет, стало быть, к войне;
...разбудишь память — Гефсиманский сад
на тени Иисусовой распят;
...погасишь зренье — ласточка в крови,
малышка плачет, стало быть, к любви...

ЛУБОК

...Вот и буквы побледнели,
вот и слово Моисея
истончилось — пред потопом
все бледны и все равны.
Ной, заглядывая в сына,
зрит себя в нём, а в невестке —
промеж родинок летучих —
мрак своей супруги зрит.
— Всё когда-нибудь проходит, —
молвит он, не глядя видя,
как одна волна другую
тщится пеною накрыть.
— Всё во мне, — твердит он, глядя
вкруг себя, себя не видя.
— Я во всём, — твердит он, видя
лишь себя округ себя.
Крыса накрывает крысу,
мошка переходит в мошку,
время падает на время,
на уста кладя уста,
Ной ложится на лопатки,
сын ложится на невестку,
землю телом накрывает
разыгравшийся потоп,
только сизая голубка,
голубка не замечая,
мчится взором бесполезным
на оливковую ветвь...

* * *

Оставленные, брошенные мной
давным-давно Татьяна и Галина,
пришедшие из жизни неземной,
земную жизнь пройдя наполовину,
окликнули меня издалека,
и я иду, шатаясь и сутулясь,
в ту нелюбовь, в которую строка,
намаявшись на холоде, уткнулась...
И странно знать, что я не позабыл
ни слова, ни полслова, даже — знака,
и помню тех, которых не любил,
сильней, чем тех, из-за которых плакал...

АВТОЭПИТАФИЯ

Ничего не остается —
Только камни да песок,
Да соседство с тем колодцем,
Что к виску наискосок.

Никуда уже не деться —
Успокойся, помолчи...
Пусть дорога по-над сердцем
Рассыпающимся мчит, —

Хорошо бы к ней пробиться
Чем-то вроде родника —
Пусть и птица, и девица
Припадут к нему напиться...
Выпей мой зрачок, девица,
Чрез соломку червячка!..

Русаку и иудею,
Как русак и иудей,
Я взываю, как умею:
Влажной смертушкой моею
Свою грядочку залей...

* * *

О деде и славе,
торивших твой путь –
«ослаби, остави...» –
забыть не забудь;
о молниях сабли,
о громах меча –
«остави, ослаби...» –
сумей промолчать;
у жизни унылой,
у ломаных ив –
«спаси и помилуй» –
укради мотив...
Чужое примери,
своим нареки...
Отверзи ми двери
за эти грехи...

* * *

Когда Он пошел по водам,
воды сомкнулись.

Когда Он коснулся камня,
камень стал хлебом.

А я: к воде прикасаюсь –
она умирает,
хлеб на ладонь принимаю
и вижу: камень.

* * *

...И все, что видимо, то завтра будет тем,
с чем я уйду, востребованный адом:
куст возникает, но не прежде, чем
я трогаю его случайным взглядом...
Тяжелая лоза заговорит
не прежде, чем, окликнутая мною,
ко мне приблизится,
и облако парит –
не ветром движимое, а моей мечтою.
Все действительно, покуда сущен я.
Все без лица, покуда безразлично
мое лицо: вся книга Бытия
без моего глагола безъязычна...
Змей искушаемый, четырехстопный червь,
эдемский пасынок, востребованный адом,
я говорю.
И вот – не прежде, чем
я к Моисею прикасаюсь взглядом,
пылает куст.

* * *

"Из одра и сна воздвигл мя еси",
убей мое тело, а душу спаси,
прикрой меня светом, раскрой мне тетрадь,
и душу укради, и сердце растрать...
А я свое тело – на скользкий полук
из досок тоски на гвоздочках тревог,
а я свои очи – в пустой потолок,
а свои ночи – в тугой узелок... –
всю жизнь в узелок, всю родню в узелок...
Вот Бог, я скажу им, а вот вам порог,
тропа на земли и тропа в небеси...
Из одра и праха воздвигл мя еси...

* * *

Полугорсть бытия, говорящая плоть –
это, Господи, я, черновик твой, Господь.
Это я – это Каинов пламень во мне,
это в Кане вино и купель в купине...
Это, Господи, я – тот, чья глотка черна,
бедный Лазарь из гроба восставший вчера.
Это, кажется, я – оглянись, Назарей, –
белый ослик, бегущий при мамке своей...
Это я – это тень в Гефсиманском саду,
та, что гаснет в Эдеме и светит в аду.
Это, Господи, я – превратившийся в слух
распоследний солдат и последний пастух,
это я – зрячий посох, слепая картечь...
Это, Господи, я, обратившийся в речь
блудный сын, выкликающий отчий порог,
как поющая тварь и мычащий пророк...

* * *

Вот мир, в котором говорили «вейзмир» —
когда болело, «бройт» — когда сосало
под ложечкой, и «мейделе» — о Тане,

и «шикса» — о Розалии Матвевне,
и «вундеркинд» — о Стасике Гольдфарбе,
и только «негодяй» — о Пастернаке;

тот пряный мир: трофейных шевиотов,
панбархатов, отечественных ситцев
и бобочек из «ателье напротив», —

тот воздух: из страшилок Левитана,
гагаринской улыбки, разноцветья
скандалов молодого Евтушенко —

не доле вздоха, не тяжеле крошки,
положишь его в детскую ладошку
и вместе с манным семечком стряхнешь...

* * *

Полугорсть толпы, полуперсть народа,
избирательный голос, электорат –
я вставал с утра по гудку завода,
обрывал свой сон по рожку менад.
Сочинитель гаек, шуруподатель,
укротитель возгласов, строчкогон,
я, скорей, точитель, чем избиратель,
и скорее голубь, чем гегемон:
принимает втулочка вид товарный,
осыпаются с рифмочек карандаши.
О, станок токарный, рожок янтарный -
двоеперстье бедной моей души –
над стерней, которая колос клонит,
над зерном, которое спит во рву,
над страной, которую то хоронят,
то поют, выкапывая к Рождеству.

* * *

Я обнял бы тебя, убаюкал бы враз, но сейчас
возникает пейзажик, и длит расстоянье меж нами
час Марии, младенца, пещерного сумрака — час
Вифлеемской звезды над бредущими к свету волхвами.

Я не боле, чем плотник, за срубом сработавший сруб,
назаретский босяк, с молодухой намыкавший горя,
рогоносец от Бога, на Бога имеющий зуб —
оттого, что не голубь... Зачем, Гавриил, я не голубь?

Собирайся, Мария, наливавай в свою грудь молоко,
желтой пяткой ударь в голубое ослиное брюхо!
И гора, и верблюд поскорее пройдут сквозь ушко
полустертой иглы, чем печаль через Богово Ухо:

авоз-авоа... Вифлеем, коли можешь, прости
кровь твоих малышей...

как в прабабкиной песне поется,
авоз-авоа... Я, конечно, могу их спасти,
а спасу Иисуса, Марию, себя-рогоносца...

* * *

А еще – за туманами голубыми,
из которых складывалась ерунда,
у меня был город –
такой, какими
не бывают глупые города.

Он для мамы моей открывал аптеку,
он для папы пиво варил, как мог,
всех приличных мальчиков в библиотеку
приглашая,
а девочек – на каток.

А еще – чтоб не только скучать над книжкой,
чтоб не слишком страдать от сердечных ран,
он держался реченьки,
а под мышкой
он держал пивнушку и ресторан.

Ресторан был маленьким – меньше лужи,
а пивнушка вроде как не была...
Иногда я бывал ресторану нужен,
иногда пивнушка меня звала.

И, послушен зовам их и призывам,
как послушен бывает словам поэт,
я был счастлив мнить себя несчастливым

без единой девушки много лет.

Это я потом их встречал и трогал –
на руках, как маленьких, их качал.
Оказалось, немало их, даже много –
даже мудрый город их не вмещал...

В КВАРТИРЕ

Сладко в жизни, нежно в мире –
ни комедия, ни драма,
а – мычание... в квартире
папа, бабушка и мама.

А потом мне зябко в мире –
жизнь как будто пилорама
дребезжаща... а в квартире
только бабушка и мама...

А потом, куда бы в мире –
влево, вправо или прямо –
ни пошел бы, все – в квартире...
а в квартире только мама...

ЛИРИЧЕСКИЙ МОНОЛОГ

Своим друзьям с иронией печальной,
за ужином,

я описал, как мог,

быт городка,

весьма провинциальный,

с его тоской, распутицей дорог,

с растрёпанными соснами и снегом,

и нецензурным словом на скамье

в полуостывшем скверике,

а следом

я рассказал с улыбкой о семье,

где угощают весело и жарко,

где мало пить и мало есть нельзя,

где грустного писателя Ремарка

считают дамой...

Добрые друзья

оплакали меня

и очень быстро –

не выпал снег, не умерла трава –

вручили мне столичную прописку,

и я сказал:

– Подружмся, Москва!..

Былым воспоминанием согреюсь,

свои обиды на год отложив...

Любимый мною Александр Сергеич

в столицах не советовал мне жить.

И ты, Москва, лови меня на слове –

всё, что любил, и всё, чем дорожил,

* * *

Ветер; ласточка; гудок
паровозный; дух навозный,
подкрепляющий глоток
примы растуберкулёзной...

Шпалы; надолбы, столбы;
голубые занавески
на зеленом, – стало быть
клочья неба в перелеске...

Солнце – ломкие лучи
далее Дальнего Востока
(кто их мучить научил
нашу душу, наше око?),

дождь, который по губам
бьёт наотмашь пыльной тряпкой,
град, который плеск и гам
в голубятни перепрятал...

А меж этим – товарняк,
сочиняющий колечки,
на котором я, дурак,
как Иван-дурак на печке.

СТИХИ О БИРОБИДЖАНСКОМ ДВОРНИКЕ

И.Л.Фруг

Я школьником запомнил
и вызубрил навек:
биробиджанский дворник –
хороший человек.

Невыбритые щёки,
поношенный берет –
я вижу его в щёлку
через десятки лет,

я шаг тяжёлый слышу,
он близится

и вот

я слышу, как он дышит,
как песенку поёт,

как по дорожкам склизким,
не зная, почему,
сентябрьские листья
сбегаются к нему

и преданно – как звери –
глядят в его лицо...
– Отъелися, хазэйрим! –
поёт он с хрипотцой, –

отъелися, каналы!
Решайте же скорей,
кому лежать в канаве,

кому – на пустыре!..

Не требуя овец,
сегодня он опять
научит их смеяться
и с честью умирать.

Он песенку закончит
примерно в семь утра,
он общества захочет,
как и позавчера –

прокуренный, небритый,
с плешивой головой...
И дверь моя открыта
сегодня для него.

Чисты сады и скверы,
гремит моё крыльцо.
– Трам-па-ля-ля, хазэйрим! –
поёт он с хрипотцой.

Алейхем шолэм, мальчик,
я забежал к тебе,
чтоб вычислить удачи
в смешной твоей судьбе!..

Я не предаю огласке,
как мы, содвинув лбы,
рассматриваем краски
смешной моей судьбы –

смотрю на них и плачу,
смеюсь и говорю:
– Позволь, я от удачи
забытой прикурю...

И грустно мне, и больно,
и весело,
но вот
биробиджанский дворник
идёт за поворот

походочкой нескорой
и прячет под рукой
тот самый день,
который
теряется легко...

Как это ни печально,
но писать
меня учили вовсе не поэты,
а скромные читатели газеты,
тираж которой стыдно называть.

Соседка говорила:
– Напиши,
как дворник Бондарь прошлым воскресеньем
мел полквартила в тяжком опьянении,
но так пиши,
чтоб было от души.

И я писал о Бондаре с душой –
как этого соседка захотела,
я возмутился:
«Не закончив дела,
он в магазин за водкою пошел».

Соседка говорила:
– Молодец! –
и выдавала прошлогодний пряник.
А дядя Ваня требовал:
– О бане!
Пиши о бане –
банщик там подлец.

...Я каждому готов был угодить:
проводникам, носильщикам вокзала...
Мое перо старушке помогало
без очереди булочку купить!

В своей
петитом набранной строке
я слышал треск и грома тарактенье;

а в марте напугал я учреждение,
единственное в нашем городке.

Тот март был пьян.

Наглядно таял снег,
и никому в скворечнях не сиделось,
и почему-то очень захотелось
писать стихи –
о лужах и весне.

И там,

в стихах,
все было хорошо:
пел огород, и трезвый, как огурчик,
товарищ Бондарь подметал окурки
и в магазин за лимонадом шел,

пенсионер сосульку клал в карман –
ему с избытком пенсии хватало,
а бабушка от счастья хохотала
и распевала арию Кармен...

Стихи не напечатали,

но я
всем объявил, что ухожу в поэты...
И лучшие читатели газеты
с печалью посмотрели на меня...

ГУБЕРНСКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Виталию Диксону

6 января 2005 г. Иркутск

И шпилек пробормот, и бром из чайной ложки,
и сани у ворот, и кучер под окном,
и обморочный бал, где с шаловливой ножкой
рифмуется паркет пиитом—шалуном;
и рифмы “кровь-любовь” святая непременность,
и в пажеский парик затолкнутый мужик,
и эти ох и ах, и эта парфюмерность
ужимок и усищ, мужланов и музык...
И Хлоя — на ушко, и Немезида дразнит,
и мушка на щеке, и мушка меж бровей...
и, боже мой, продлись вовек, губернский праздник,
с губернской мошкаррой в губернии моей!..
Я вспыхну, как пиит, вздохну, как арендатор,
я губы облизну, и кончик языка
от жалости замрет: гобой и губернатор
горчливы, как чабрец, но, боже, как сладка,
вся в молниях смычка, виолончель в коленках!
Как солон кларнетист, как валторнист обжог
слагателей беды губернского конвента —
и Брута, и меня! Как тычется снежок
в широкое окно... Помедли, мой подельник,
печаль не торопя, упрячься в воротник...
Продлись до склона дней, губернский понедельник,
с санями под крыльцо, с валторной под язык...



Сергей Захарян

КОЛЫБЕЛЬНАЯ УШЕДШЕМУ

I.

Предисловие к сборнику стихов Анатолия Кобенкова
«ОДНАЖДЫ ДОСКАЗАТЬ», Иркутск, 2008.

*Спи, мой друг, приснись себе бессонным
маятником, морем, эмбрионом:
временем, пространством – в многоточьи
хочешь – дня, а коль желаешь – ночи...
Спи, дружок, спи, смычка-перемычка
между первой и последней спичкой...*

Как всегда, Толя нашёл лучшие слова. И, как почти всегда у настоящего поэта, слова означают больше того, что они обозначают. «Ушедший» (и вместе – «ушедшее») – это время прошедшее, его не вернёшь; а «колыбельная» – их всегда было много у Кобенкова, и в этой книге они есть, – это время настоящее и будущее, колыбельная баюкает и обещает.

Он был очень важен для нашей жизни. Он знал заветное слово, оно и открывало глубинные смыслы, и утешало – как, горько и счастливо, утешает новое знание и точный звук. Он баюкает, не бросает дальних («*прощай, мой брат, ты волен убивать...*»), – и тех, кто близок, не отпускает («*...баюкать отца, убаюкивать, не отдавать...*»): мама, бабушка, дед, дети, друзья, страна, время – всех собирает в семью, все здесь, в этой новой книге, все будут долго жить под его колыбельную. Не знаю, как жить без него. Поэтому – буду продолжать жить при нём, с его негромким и незаменимым

голосом, с бесконечностью смыслов, открываемых в его словосочетаниях-парадоксах.

«Серёжа, все мамочки – Доры...» – была такая колыбельная про его и мою маму; а когда за месяц до его ухода родился у моей дочки Фёдор – не миновать было того, чтоб Толя услышал в нём *Дорика*. Свою одиннадцатую книжку («Осень: ласточка пропела», 2000) он посвятил своей бабушке Еве – и эта колыбельная длится: пока пройдёт свой издательский цикл эта, тринадцатая книга Кобенкова, – дай Бог, появится у моего сына Ева. *Все бабушки и внучки – Евы, Толя*, – нашепчу ему.

Мне случалось с разбега, у него за столом, первым услышать его новое стихотворение и задохнуться, догадавшись, с кем рядом сижу. А он и теперь, уйдя в позапрошлом сентябре, поразил меня – и поразит, уверен, вас в этой книге. Ведь после предыдущей, двенадцатой книги его избранного («Строка, уставшая от странствий», 2003) ему оставалось жизни меньше трёх лет. И лет заполненных, кажется, круглосуточной суетой многочисленных общественных работ; трудов для заработка; иркутских дел и огорчений, переезда из Иркутска в Москву, устройства в Москве; инфарктов, наконец. И притом – стихов написано новых на немалую книгу, которую вы сейчас держите в руках. И каких стихов! На мой взгляд, это самая его сильная книга. Как будто вопреки житейским преградам и возрасту, вопреки закону природы и традиции поэт продолжает бурно развиваться. Ему в день презентации этой книги в Органном зале Иркутской филармонии 9 марта 2008-го исполнится 60: для нас, его друзей, горестно мало; для поэта, согласимся, – возраст солидный. А стихи поразительные своей свежестью и глубиной, которую ещё долго разгадывать.

Это ему, нашему Толе, колыбельная. Ушедшему; но – никогда не... как вот сказать? это только к нему вопрос: как

сказать одним словом, что никогда не умолкнет наша с ним – колыбельная? Песнь любви неубывающей. Нашей к нему, его любви к нам, близким и далёким.

Поэт по-своему распоряжается временем: прошлое («*ушедший*») и вечное настоящее («*колыбельная*»).

Прошлое («*однажды*») и предполагаемое и несбыточное («*досказать*»), Ошеломляющие столкновения смыслов – признак Поэзии. До наивности просто, и страшно редко: поэт дышит воздухом родного словаря, и *весь* язык отзывается ему. Наивно думать, что любой читатель готов без встречного труда ко встрече с поэтом: они говорят на разных языках. У человека с улицы короткий словарь, ещё и подгоняемый поминутным «короче»; а, скажем, в словаре Бродского – 19 тысяч активных единиц, то есть только отобранных и вставших рядом в строку в единственно возможном и неслыханном варианте; а за этой умопомрачительной цифрой – бездна богатейшего мирового языка. Через поэта язык открывает себе новые возможности, перед которыми останавливаешься в изумлении, как над пропастью: чтобы попытаться охватить новые смыслы, приходится сойти с твёрдой почвы готовых смыслов. Вот и простая разница между поэтом и непоэтом: размеры словаря и вспышки новых смыслов.

У Кобенкова в этой новой книге – бесчисленные языковые открытия. Сопоставления, казалось бы, совсем далёкого дают сцепления, которые теперь ничем не разорвёшь. Лучший из знакомых нам по прежним книгам Кобенков – прозрачный, с лёгким дыханием, с узнаваемым полётным звуком. Таков он и в первом разделе этой книги. Но здесь у него возникает – «*презумпция наивности*». Согласитесь, звучит так, что остановишься – и не вычерпаешь. «*Презумпция*» – взрослая логика; твёрдое (юридический термин!) утверждение... права на «*наивность*». Алгебра

гармонии. Своей *«наивности»* он не изменяет, вечно к ней...возвращается – вперёд.

«Не докричать – хотя бы домолчать...».

«Домолчать» – отказ от крика, от истерики, горлопанства и драки. Но – не уход от неправды, а – несгибаемое молчание в ответ. Что может музыка в ответ убийце? А – может (как в стихотворении *«Иркутску»*):

*ударь вподдых, швырни меня в фонтан –
пойдёшь гулять и, в воробьином гвалте
гася свою тоску – пока не пьян,
узришь меня сквозь трещинку в асфальте...*

Что может музыка в оглохшей провинции? – А музыкой стихов своего лучшего и, как водится, не очень расслышанного поэта будет жив Иркутск, когда все былые сраженья выдохнутся и забудутся.

«Это воля, я её искал...».

Опять столкновение времён: прошлого (*«искал»*) и сегодняшнего (*«это воля»*); такое со-поставление рождает сомненье (*«это – воля? я её искал?»*). Это – «московский» обрыв. Много ненужных тягот, но – воля, действительный, пусть и трудный прорыв, продуктивность удивительная. Воля, которая пошла горлом, забрала жизнь, но освободила дыхание.

«Выкликаемый простором».

Вот оно, поразительное дыхание «позднего» нового Кобенкова. И опять бездонные смыслы: *«выкликать»* – это ведь одинокий голос, почти фальцет в большом пространстве (*«кли»* – *«ка»*); а *«простор»* – большое и безразличное к маленькому – одному. Простор и не станет тебя

«вызвать», тут звук, если возникнет, – оглушит. Но в формуле поэта голос «простора» собран, смирен, он именно «вызывает» того, без кого – глух. Как у Рильке, поэта поэтов и толиного любимца – про смерть и бессмертие поэта:

*...Лицо его и было тем простором,
что тянется к нему и тщетно льнёт, –
а эта маска робкая умрёт,
открыто предоставленная взорам, –
на тленье обречённый, нежный плод.*

Пер. Т. Сильман)

Не поэт навязывает простору свой голос – простор льнёт к поэту.

У Толи под конец целый ряд блестящих стихов-прощаний; не прощаний с жизнью, но колыбельное «до утра». Это – «памятник», колыбельная Поэта. Иркутского поэта – но весь простор русского Слова, уверен, будет долго его вызывать.

Закончу, как начал; как он, с должным легкомыслием:

*Стану прахом – и прахом расслышу
Перестак, перестык, перестук
Чёрных птиц с черепичною крышей
В чресполосице наших разлук –
Разлечусь, рассуноюсь, засыплю
Продавщиц, самогоном прольюсь
В мужичонку, за пьяные сопли
Молодого повесы вцеплюсь...
Проведу с тишиной заседание,
Замахнусь на неё кочергой
За скитанья мои... – до свиданья,
До свидания в жизни другой...*

II.

ФЕСТИВАЛЬ КОБЕНКОВА

Жизнь догоняла его и регулярно сбивала с ног – пока не сбила насовсем на московской улице, после очередного поэтического вечера.

Раздались голоса умников, специалистов по жизни: не надо было уезжать, это вредно в 55.

Но убил его третий сердечный удар, после двух иркутских. Это уже был вопрос недалёкого времени: когда судьба-графоманка – не поэта судьба, а человека, – сдастся, смиренно прокричав в рифму.

Звучит по-людоедски, но не продолжать же без конца поминки.

Мне пусто без него, а вспоминаю я его с горьким восторгом. Судьба – и наш общий с Толей друг, издатель Сапронов, – подарили мне незаслуженную честь собирать его последнюю книгу – нет, *книгу последних стихов*; я назвал её его строкой – «Однажды досказать». Теперь я листаю её и вижу, что его поэтическая судьба сложилась блестяще и досказана – в бесконечность.

Он, живший среди нас, – самый большой поэт за всю историю Сибири. Пусть так – «по жизни» – и неприлично заявлять; и он, я знаю, поморщится, – но я в его последние годы потерял всякую критичность, и только мычал от удивления и радости первым что-то в рукописи прочитать. А толку в обсуждении с ним – что «глянулось», а что нет, – от меня не было. И на последнюю его записку ответ мой был никакой: только развести руками.

Это была электронная записка после последнего его – шестого – фестиваля, когда жить ему осталось – до конца уже кончающегося лета:

«Дорогой Серёжа, жаль, толком не пообщались: ты занят Иркутском, а я Иркутском разбит. Отныне буду жить по

совету Чупринина, который потребовал, чтобы я перестал числить себя в иркутянах. Но и в москвичах пока не выходит, хотя – столько здесь хорошего и столько интересных людей. Вот тебе кое-что из сложенного на моём пятом этаже. Сможешь, черкни пару строк: что глянулось – что раздражило...»

Кончилось то, что не может не кончиться.

Андрей Грицман – Анатолию Кобенкову:

*... Так ты и жил: навзлёт и на разрыв
и навзничь. Но безумною тоской
наш стол накрыт, когда осенний дым
плывёт над первой павшею листвою.
..Как мастерил, как вязью мелко плёл,
как уходил в себя, собой играя!
Но там сквозил невидимый предел,
обманчиво легко, в разрыв по краю...*

... Продолжилось то, чему – верю – не будет конца. Он ничего не уступил жизни, и потому прожил её великолепно – в рифму.

Я не переставал удивляться, каким он оказался железным организатором – и для своего Союза, и для невероятного по размаху фестиваля, который сам создал и сам нёс с видимым удовольствием и лёгкостью. А он – не был организатором в привычном смысле. Он жил – внутри точного звука: сюда входили те, кем звук владел, и отсюда неумолимо вылетали вон графоманы – «люди жизни».

Как рифмуются с новым веком его фестивали: первый – в 2001, шестой – 2006.

Потом, уже без него, седьмой – 2007; потом неизбежный сбой; и теперь восьмой – 2009. Но это уже отсчёт другой истории, которой я, скептик, желаю здоровья и успеха.

Но должен найтись другой человек-центр, со своей программой.

Сбой неизбежен, потому что Толя – незаменим. Тут особая логика: в центре поэтического фестиваля – непременно поэт. А к нему, как к равному, слетались шесть лет подряд лучшие русские поэты, где бы они ни жили.

Они, осмелюсь утверждать, радовались, попав в кобенковскую «обойму».

Только неполный список имён – а какова рифма:

Евтушенко – Кушнер – Кублановский – Рейн;

Хлебников – Кибиров – Кондакова – Быков;

«Иностранцы»:

Янышев – Кенжеев – Грицман – Бухараев...

и так ещё долго, потому что кобенковская поэтическая вселенная разрасталась, откликаясь каждому живому голосу, от совсем юной *Санеевой* до очень маститого *Ковальджи*.

У его фестиваля, начиная с первого, по-евтушенковски грандиозного, была логика; они становились лабораторией: «детская», «другие берега», «литературные школы»; по поводу шестого, который он складывал уже из Москвы, Толя полусерьёзно сетовал, что это *«праздник без руля и без ветрил: общая идея не выношена и не обозначена; каждый из главных участников – сам по себе, разом и корабль и море»*. Но там были целые миры: *Ермакова*, *Кибиров*, тот же стремительно разрастающийся *Быков*. Всё объединял, всех слышал и точно представлял Кобенков, который вообще всё в поэзии знал. Вот один пример: представление *Быкова* (не доехавшего до нас в 2006): *«...Быков – веселье с зашкаливанием: в стихах он, как истинный раблезианец, неостановим по части напитков и закусок; его стих счастливо перекормлен всем разом: острым соображением, кислосладкой иронией, переперченным скепсисом, пересплащённой влюблённостью или крупномолотой грустью; странно, но все эти оттенки у него почти всегда перебиты чем-то шипучим: игристым донским или советским шампанским; то же самое можно сказать и о его прозе – о не способных останавливаться его романах, то же – и о его публицистике, вечно не желающей мириться со*

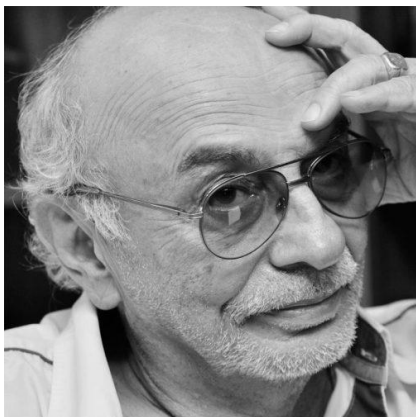
всем сразу – с сегодняшним или былыми режимами, со вчерашней или текущей ныне литературой, с давними, на одно-единственное пиршество, – единомышленниками или возлюбленными...»

Седьмой был и вправду без руля и без ветрил.

Сейчас, после необходимой паузы, это будет не кобенковский, но, положим, имени Кобенкова, и с новой хронологией фестиваль.

Только ему *нельзя уступить графоманке-жизни.*

2009



Захарян Сергей Амбарцумович (род. в 1943 г.) – профессор кафедры журналистики Иркутского политехнического университета.

И это далеко не всё, это лишь «кусочек» поэта; нет, не самого поэта, а только лишь его тени кусочек; его мизинец, или прядь волос, или надломленная ресница, больно застрявшая под нижним веком...

Вообще-то поэты — люди: голова, глаза, уши, руки-ноги, сердце, почки, печёнки-селезёнки, сосуды, тромбы в сосудах, рубцы на сердце, кажется, обязательно наличие души. Желательны ещё изданные книжки, но книжек сегодня много, а поэтов мало. Почему?

Просто Поэты себя не жалеют, оттого их мало...

*Вы спрашиваете, кто я? А Никто.
Я дед Пихто, я старое пальто,
дырявый зонт, дырявые носки,
смотритель ночи, пасынок тоски;
я посох из залысин и сучков
Иова,
я, быть может, сам Иов,
горошинка для дудочки — дыхни,
качни её, под музыку столкни,
под песенку из влаги и огня...
под плетеньку, под петельку меня...*

Но и это не всё. Вновь лишь часть целого: обрывок пергамента, мятый листок календаря с торопливыми пометками, скомканная телеграмма. Но там — дальше, смотрите — появится слово, простое и большое, слово, выросшее до книги. Слово понятное, как плач ребенка, как первая трава, как облачко, как сахар и соль, как нож и хлеб, как вода и вино, как день и ночь, как жизнь...

Простите, я забежал вперед: жизнь — слово сложное.

Но всё большое складывается из маленького: гора из песчинок, море из капель, счастье из радостей, горе из слезинок; из маленьких слов, из снов, берегов и расставаний, расстояний, объяснений; и — из «звездоговорений» — получается стихотворение. И в нём — поэт, как картина в

раме: простенькой, золоченой, в богатом багете, дубовой, из плах сосновых, из шкафов, табуреток, плечиков для пиджаков и брюк; из болезней, сомнений, похмельий, ночной усталости, утренней бодрости (а её всё меньше), раздумий, тревог, треволнений; из «фьють» и «фьить», из просто «фью» — птичьи трели: так звёзды пели...

Слово, выросшее до книги, — бытие. Бытие. То самое, что бессмертно, ибо начинает Книгу книг: «Бытие». И то самое, что греховно, ибо «...определяет сознание». Хотя сегодня можно и поспорить с бородатыми классиками: а вдруг всё наоборот, и именно сознание определяет бытие?

Достаньте из правого кармана весы мудрости, взвесьте сомнения на них... Ах, весы вы забыли в чулане, они сломаны давно, в пыли и хламе! Тогда придется воспользоваться собственной головой, собственной душой, собственными руками, как чашками старинных бронзовых весов, где роль гирек сыграют зёрна пшена, которые вы захватили с собой, чтобы покормить чумазных синиц...

И горе вам, если вышли вы без зерна для птиц; они унесут истину с собой, на ветки берез, чьи прожилки застыли в мороз, на ветви осин, позеленевшие до синевы от холодов, к ягодам рябины, напоминающим кровь на снегу, их, опавшие, подметёт вышорканной метлой дворничиха Нюся (восемь пудов веса, толщиной в три обхвата, но это — другая тема), а снег засыплет кучку мусора горой превосходных снежинок... так проходит бытие...

...Завет

Новый

Возвратил меня на свет

Старый...

Конечно, я замахнулся на необъятное: увидев «книгу стихотворений в семи частях», я вспомнил о семи днях: «В начале сотворил Бог небо и землю... И был вечер, и было утро: день один». Потом я понял, что не всё то, что близко лежит, является тем, чем кажется.

Но, в конце концов, и неделя состоит из семи дней, и число «семь» мне нравится, хорошая цифра. Пусть каждый видит в ней, что может: семь своих желаний, семь бед и семь ответов, семь цветов, семь таинств или семь смертных грехов, семь нот... каждый видит, что он хочет, как он слышит, чем он дышит. Ведь можно было увидеть, как «трава убегает из жизни обратно в тихую землю, и светом становится мрак...».

Я видел: дитя—ребёнок—мальчик—фантазёр! — заботы нет, зато фантазий бездны: синицы «фьить» да ветра «фьють» накопит он себе в наследство! Баловство — игра — взрослость: приходит пора мужать, взрослеть, даже стареть, и тогда — стирается игла:

*Так полустертая игла
Расхнычется и вдруг —
Переиначится игра...*

Иглы граммофонные, патефонные, швейные; иглы, превращающиеся в жала; иглы, возвращающие к жизни... Я, например, вспомнил большую цыганскую (почему цыганскую — не знаю, так называли) иголку, которой мама и бабушка учили меня штопать дырки: сначала на моих детских чулках, натягивая светящиеся насквозь пятки на деревянные ложки, потом на носках... сплестать нитки между собой, прокладывая их рядом, а после поперёк, отрезать укоротившуюся нить, а кончик её прятать с изнанки. Это было почти сорок лет назад.

*А я уже знаю, что вышел в тираж,
Для новых — «не наш»,
И для старых — «не наш».
Ещё я люблю, но отечества дым,
Который мне сладок, не сладок другим.
Ещё я по свету гуляю, но свет,
Который я вижу, воспринят, как бред.
Ещё я топчу эту землю, но ей
Важнее топтаться на жизни моей...
Мне сорок четыре, почти — сорок пять...
И кто я такой, чтоб об этом не знать!..*

Кажется, это Имант Зиедонис печалился о Середине. Смысл был примерно таков: лес, пройденный до сердцевины, уже близит противоположную опушку; река, которую ты одолел до середины, стремительно приближает дальний берег; день, прожитый до полудня, неумолимо угасает; бутылка, выпитая наполовину, стремительно кончается...

Я читал ваши письма, Анатолий Иванович, хотя они адресованы первоначально не мне («Два письма», так называется вторая часть книги). Читал их, как письма, в которых было и про меня. Я задумывался о смысле: жизни — мы уже дошли до сложных слов; о поступках и последствиях, о следах и наследстве, которое следует оставить после (после середины...); о следствиях, вытекающих из причин, и причинах, порождающих следствия...

Надо пройти крайне сложный (тернистый? каменистый? кремнистый?) путь, чтобы постичь то, сложнее чего нет: мудрость прощения и силу прощания. Надо быть мужественным, чтобы взмолиться просьбой прощения, криком отчаянным: «Прости!».

*Если по правде,
то мы упустили время,
которое могли бы использовать
на извинения перед вами.
Что ж, лучше поздно,
чем никогда:
простите...*

Я понял, что судьбы людские — нити, из которых плетут канаты дочери Зевса и Фемиды. Нити сплетают в пряди, пряди свивают в шнуры, шнуры заплетают в канаты неимоверно большой толщины; когда в жизни, стиснутые множеством соседних нитей, мы оглядываемся, то произносим неволью: «Мир тесен...».

И никогда мы не вспомним, что Клото — прядёт, Лахесис проводит нить нашей судьбы через препятствия, а Атропос, чьё имя звучит как Неотвратимая, перерезает нить и прячет её конец с изнанки... Мойры трудятся не покладая рук, ни дня

не сидят без работы, у греческих богов безработицы нет, несмотря на то, что эра античности канула в Лету.

Некоторым удастся сходить в царство мёртвых и вернуться, другие... Ниточка связующая, нить путеводная, клубок Ариадны, где вы?

Сначала в душу, после — в сердце и мозг, входят боль и тяжесть утрат; жизнь — это сложно (наступила непрошено, затопила половодьем чувств и затопила печь, здесь можно погреться, пока горят строки, и можно сгореть, разводя огонь; здесь мало приобретений, пока их много, зато — много потерь, пока их мало... казуистика распространения частных мыслей на правила общежития... жизнь без правил... без правил и ветрил... по течению... против... жизнь...).

*...а жизнь не убывает —
воспоминанья не дают:
свиданья, слёзы, расставанья,
хмель юбки и похмелье лжи...
Не торопись — воспоминанья
на поле смерти отложи
и всё, что с кровью оторвали —
и тень ресниц, и взмах руки
кроме строки
 строку — едва ли
придавишь тяжестью доски...*

«Два письма» кончаются за серединой книжки.

У книги есть крыш(к)и — сверху и почему-то снизу, между ними листы бумаги — это, наверное, улицы, а стихи — как дома (иные — сущие домишки), но в любом — жизнь. Живут в них, как люди, слова и буквы, звуки и вздохи. Букв у нас в алфавите всего 33, а как много с их помощью можно сказать слов: абажур, арба, арбуз, атолл... и так — до «я»: ябеда, яблоко, яд, ярость, яхонт... Слова — оболочки понятий, простые знаки окружающих нас предметов. На большее — рассыпавшись в беспорядке из словаря случайно, просто кто-то забыл закрыть книгу да ещё перевернул её страницами вниз — слова не способны.

Сколько же лет надо водить за собой тьмы слов, чтобы выстроить их в ряды, создать семьи, произвести детей, построить и населить дома, вдохнуть в их комнаты-строфы чувства, оживить? Поэт — не человек, он — слово, главное слово, слово-правитель, словопрародитель. Управляющий миром, где

*...жар младенца, бред поэта,
предъязык черновика...*

Впрочем, всё это мне приснилось во сне, в забытии между сном и явью. Я как раз думал, что хорошо бы, «земную жизнь прожив до половины», поумнеть, понять, прочувствовать, увидеть и запомнить, что

*В принципе
жизнь не сложнее
гусиного пера,
коим пользовались
Пушкин и Дантес,
Лермонтов и Мартынов, —
или авторучки,
в равной степени служившей
Платонову
и Фадееву...*

Думал — и заснул. А проснулся — и подумал: всё так! Но хочется игры: серьезной, азартной, с большими ставками (как будто неизвестно по сию пору, что выигрыша нет, нет и не будет, нет и в помине, нет в принципе). И тогда рождаются новые «воспоминания о будущем» (правильно говорят, что старый — что малый):

*лю...
лу...
му...
ма...
ла...
ля...*

*между тем
рифма —
это когда
перекликаются
земля и небо,
облака и мыльные пузыри,
камень и моё одиночество...
странно, что в этой перекличке
надсаживаются ещё
и звуки:*

*ать...
адь...
ять...*

И на главный вопрос — о середине жизни — никто не сможет ответить, потому что не дано знать никому: когда? Только родился человек и уже середина, всегда после середины, всё ближе к краю листа, к последней странице, к неизбежному.

*Снег погладит плиты, тронет волосы
без причин...
Как сказал Рубцов бы, в этой области
помолчим...*

Весной в Иркутске вышла книга, которая называется «Круг» (А. И. Кобенков: Круг. Иркутск, 1997 г.). Книга стихотворений в семи частях. Десятая книжка поэта. Если вы ждёте выводов, их нет у меня. Я читатель, а не критик. Просто странно, что книга стихов, вынашиваемая долго-долго и удачно родившаяся весной, ещё не прочитана критиками, а на дворе — предновогодье... Как-то не похоже это на Иркутск, всё ещё взхлёб цитирующий (к месту и нет) Антона Павловича Чехова о совершенно культурном городе... Наверное, это было давно.

Что касается книги, то автор совершенно уверенно дал объяснение её имени «Круг», и тот, кто захочет прочесть, узнает его. Я же, листая страницы томика, вспомнил, в первую очередь, круги дантовы, потом — окружности морей и плавную крутизну планет, после — округлости сковородок и

кастрюль, цветочных горшков и гранёных стаканов, буддийских символов и восточных иносказаний, бег гончарного круга и гладкий изгиб яблоневого ветви, и не забыл про «круглых дураков», на которых не обижаются.

Может быть, я и сам такой, потому что брожу по этим страницам, нюхаю эти сладкие буквы, пробую на язык, знакоюсь со словами, ручаюсь с заголовками, приседаю на многоточия, как на лавочки, спотыкаюсь о запятые, о «швы» и «рубчики» строк; в этой бытовой повести так много закоулков, потайных уголков, чуланчиков и закрытых ящичков в старинных комодах строф; здесь дуют разные сквознячки, здесь бродят разные люди, здесь спорят, кричат и шепчут, и любят...

*Дерево, которое люблю,
одиноким птице уступлю,
песенку — усталому соседу,
перочинный ножик — кораблю...
Завтра я уйду или уеду,
послезавтра напишу: ну, что ж,
я уехал, потеряйте нож,
взбейте море, птицу накормите,
отнесите дерево под дождь,
песенку от страха сберегите...*

Этот мир, как сама жизнь: перелицованный, отутюженный, перешитый, перекошенный, на живую нитку посаженный, временно прихваченный (как пуговица, висящая на одной ниточке, висит и висит себе, иногда долго, когда скоро), распоротый, вывернутый наизнанку, ошпаренный (в химчистке, утюгом при глажке, при стирке, при жизни), мир как мир, где швейная игла стала полустёртой от работы, мне в нём было уютно и тепло. И совершенно естественно, что я не сказал и десятой доли о том, что там было изложено, и о ком.

*Голубя плеск, переплеск, перелаточка неба,
перелицовочка тьмы, и тщицы, и светил,
перестановочка в мире, в котором я не был...
был или не был? может быть, не был и был?..*

Всю жизнь я думал, что не понимаю стихов. Оказывается, надо было понимать не стихи, а — поэтов, ведь поэт — не человек, он — слово... Впрочем, соглашаться со мной не обязательно.

* * *

*Я приеду, и снег принесу на плечах,
стану долго курить, буду долго молчать.
Отмолись, моя жизнь, отболи, отомри,
обреви, моя доченька, ночи мои,
оборви меня, мама, на усталой строке,
на смертельной тоске, на седом волоске...
Так случилось, так вышло, так выпало мне —
за дорогу домой, за полёты во сне —
ваши жизни корежить, вашей болью платить...
Я приехал,*

Давайте молчать и курить!

*Я приехал, но, господи, как нелегко:
до себя не дошел и до вас далеко,
и полы мне скрипят, и химеры поют...
Насвисти мне, кофейник, домашний уют,
нашуми мне жена, я и этому рад...
Прокляни меня, сын,
Обними меня, брат...*

1997

2. Вторая глава

«А где первая? Почему не с начала?» — имеет полное право удивиться придирчивый читатель. На что у меня есть готовое оправдание: «сначала» было пять лет назад.

(А кажется, лишь вчера... Да-а. Но ведь вчера было лишь начало сегодняшнего дня. В котором же часу вчерашнего закончилось позавчера и зачато послезавтра? То самое позавчера, родившееся во времена оны, оно — бабушка

полудню третьего дня? ...Время, не обнаружив нашего к себе внимания, не найдя поклонения, не разглядев трепета, тратит себя по пустякам на собственные звуки:

*...и тикали часы,
и табуреты
скрипели, как осенние качели,
и булькало в надтреснутой бутылке
дешевое вино...*

Так и проходит).

И мало кто помнит, кроме поэта, что время не только «тикает», но и утекает, иногда — меж пальцев. И в своем постоянном движении лишь в стихах имеет привычку застывать слепками настроения («за белый свет — спасибо январю»), посмертными масками запахов («горький запах гостиничных комнат»), воспоминаниями желаний:

*А ночью разбудила мысль о том,
что так и не написана страница,
ради которой стоило родиться...
Я разозлился...
И разорвал тетрадь.*

И уже совсем мало кто помнит, что в действительности «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог... Всё чрез него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нём была жизнь, и жизнь была свет человеков» (От Иоанна Святое благовествование).

Свет во тьме.

Тьма не объяла его.

Ученые диалектики назовут это единством и борьбой противоположностей, теоретик Буало разделит на «высокое» и «низкое», но в жизни всё перемешается, как в хороших щах. Кто из гурманов станет делить их вкус на листик капусты, хвостик морковки и шварку сала, прилипшую к стебельку грибной ножки?

Кулинария стиха и поэтика кухни чем-то схожи: ни повар, ни поэт не любят, когда наблюдают за их творческими муками.

Можно только догадываться, что они в действительности думают, когда творят.

И если поэт всегда вторичен (потому что «в начале было Слово»), то участь читателя имеет постоянство в том, чтобы догонять стихотворца, повинувшись звуку его лиры, и — счастлив тот, кто в лабиринтах строф, между строчек, за буквами и сеткой запятых увидит мелькнувший силуэт автора, чтобы сказать себе: я иду за поэтом, я не сбился с пути.

«Путь» — это слово нам ещё пригодится.

...Прошло 55 лет. А пять лет назад, в день счастливого 50-летия Анатолия Кобенкова, газета опубликовала мой небольшой очерк о поэте. «Отнесите дерево под дождь...», назывался он. Теперь я понял, что это была лишь первая глава. За ней (как будто «на первый-второй рассчитайсь!» — не жизнь, а сплошная армейская дисциплина) идет вторая. Ведь я не могу написать сразу третью, прыгнув через ступеньку бытия. Итак...

Прошло пять лет. Я листаю новую книгу стихов поэта, которая называется «Строка, уставшая от странствий...» (Анатолий Кобенков, «Строка, уставшая от странствий...». Иркутск, издатель Г. Сапронов, 2003 г.). И вижу картину со странными вещами. Разве могут они пригодиться прямолинейности окружающего пейзажа, где «семь квадратов жилых», «на стене двадцать восемь балконов», «четыре зеленых заколки», «два сержанта, один старшина», «сто миллионов комаров... и хриплый хор простывших псов». Ей-ей, художник начинал примитивистом...

Я понял: надо рисовать! —

Путь, утомившийся от странника.

Дорогу, разбуженную со сна стуком ободьев колесных маленького тарантаса (на правом шальном ветром выдуло одну спицу).

Пространства, которые боятся горизонта.

Большие круги небесных сфер, плоскость которых перпендикулярна к отвесной линии в месте наблюдения.
Гори, зонт, синей молнией!
Ведь листопад (пришел) босиком, а «зяблики у нас хорошо прижились».

Моя дочка Маша, когда была маленькой, очень любила стихотворение поэта Кобенкова, которое называется длинно и оканчивается музыкальным звуком, коим милует свой слух медведь, балуя со щепками елового пня: «Стихи о зябликах, композиторе Бахе, Муслиме Магомаеве, враче И. Л. Малышевой и др.».

Мне кажется, что это «др-рр-р» веселило её очень. Под такую музыку «бабочки расцветали», «мячики прыгали», «ягоды высохали», «табуреты скрипели»...

Но сегодня уже мало кто сможет заглянуть во второй — главный — смысл этого весёлого бытия. Разве что его свидетели. Они-то знают, как иссяк романтизм юности, но зрелость (та, что по-другому еще называют практичностью) не проснулась: «Александр Сергеич в столицах не советовал мне жить...».

И еще о том, что бесконечное Время имеет свои четки — четко очерченные границами:

*Я хожу по земле,
помню:
юность моя улетела,
а в газетах об этом
до сих пор
ни единой строки...*

Что ж, про ЭТО все знают: зеленая трава растет и увядает. И мнется, ежели на ней лежать. И всходит вновь. И время пропадает.

Нет, конечно, не навсегда.

Оно перетекает... в бытие; закаты и восходы; заморозки и оттепели; сушь и дожди.

А вечный недостаток денег сменяется обилием любви. Кастрюли. Вилки-ложки. Простынки.

Общежитий шум. Тома домов.

Багул весной.

Бухгалтер Земнухов: сверчки, цикады, мухи, звезды...
Рефрен, строка, повтор — глядь, тема родилась и
затвердилась: «Мне полюбился быт провинциальный...»
Отсюда и такие «Подробности».

*Луч, туча, фонари, садовые ограды...
И мы спешим туда,
куда спешить не надо...*

Что ж, про это все всё знают. Но почему-то не пишут. Не умеют, наверное, складывать буквы и требовательно рифмовать слоги, наполняя не мысли подробностями, а подробности — мыслями.

Было время, когда меня от поэта Кобенкова отделяло две двери, всегда открытые, и ширина коридора.

Мы сидели в кабинетах той «Молодежки», которую будем вспоминать вечно (пока сами живы). Той самой, о которой уже даже не подозревают молодые читатели газет. Их вкус, увы, безнадежно испорчен «Пятницами», «Копейками» и прочими грошиками, на которые разменяла себя современная журналистика. Слово «Привал» напомнит им, в лучшем случае, картину художника В. Перова «Охотники на привале». А «Привал» был литературно-публицистическим альманахом, журналом в газете. И хозяйничал в нем некоторое время поэт Анатолий Кобенков.

А я был молод. Стихи любил, но не читал. Зато знал твердо: лишь двое в той «Молодежке» умеют писать превосходные, вкусные, как простой горячий хлеб из русской печи, очерки — Володя Карнаухов и Толя Кобенков. Писатель и Поэт.

Анатолия Ивановича я потом все склонял к очеркам (в другие времена, в других газетах).

Покуда мое приставание, совершенно неожиданно для меня не закончилось посвящением:

*Я бы, конечно, писал о другом,
но день случился таков,
что в одночасье да через дом
хоронят двух мужиков...*

То было пронзительное стихотворение о простой житейской ситуации на деревенской улице. И, кажется, именно оно доказало мне верховенство стиха над публицистичной прозой. И даже над художественной.

(Оно же было свидетелем полной неудачи Поэта во владении земельным участком в благословенном местными литераторами Култуке. То есть владеть-то он им владел. Но долгими зимними вечерами те самые люди, о которых он позже написал в стихе, разобрали на дрова сначала забор, а потом и самую небольшую избушку. Пару лет назад я проходил мимо и узнал это воочию: даже печной трубы не осталось).

Будь мы по-прежнему в «Молодежке», я бы, наверное, вышел в дверь своего кабинета и зашел к нему, чтобы сказать: «Анатолий Иванович, будешь? Я — сбегаю в лавчонку за углом...». Однажды, когда я дежурил, коротая вечерние часы в скушном одиночестве, я так и сделал. Но Кобенков разбирая какой-то текст с неким поэтом или подающим надежды прозаиком и ответил на предложение выпить вежливым отказом. А теперь я и сам не хочу, и ему не предложу.

Господи, как давно это было!

*«Поедем, друг мой, а верней, пойдем
куда-нибудь...»*

*«и всё дорога нам: тропинка ли, нора, —
всё топаем».*

*«Вы скажете: пора, —
и не пойдете дальше».*

Слава, слава Захаряну! Слава Сергею Амбарцумовичу, которого Кобенков не зря и даже не случайно назвал «Амбразуровичем». Слава Захаряну! За то, что, будучи литературоведом и театралом, он по-матросовски отчаянно кидается на зияющую амбразуру критики литературного процесса, закрывая её своим телом. Для того надо обладать недюжинным мужеством, я полагаю. (Он и на театральные вопросы так же кидался, пока главные театралы Иркутска

ему не объяснили, что их очень устраивают собственные творческие прорехи. Ну, что же, подумал, наверное, Захарян: хотите жить так — я не волен вам запретить).

Я дважды наблюдал, как он это делает.

Один раз в писательском Доме на улице Дзержинского, при «областных попечителях культуры» на мероприятии, подводящем итоги литературного года (а, значит, ответственном событии), Сергей Амбарцумович вдруг стал критиковать то, что все хвалили.

(Следует сказать, что с критикой его я был полностью согласен, но меня не спросили. А что думали все остальные, вслух несогласные, я не знаю).

Его критика ставила поэта Кобенкова (по совместительству — председателя Иркутского отделения Союза российских писателей) в неловкое положение. Потому что Анатолий Иванович знал, что Сергей Амбарцумович зря не скажет. Поэт раскуривал трубку, погружая лицо в клубы синего дыма, и думал: как сгладить конфуз... Это было положено «официальной школой политеса». Конфуз он сгладил с изящной ловкостью: владеет и таким слогом.

А позже, когда мы обсуждали с ним случившееся, признал: «Сережа был во многом прав, но...». Вот это самое «но» я постарался не заметить. Ибо в вопросах искусства критики Захарян не позволяет лгать ни себе, ни людям.

Второй раз Захарян на глазах многих (было это в минувшее воскресенье, на презентации новой книги Кобенкова), мужественно преодолевая гул, возникающий во время его взволнованной речи, сказал о вещах, про которые в нашем городе еще никто не упоминал. Он говорил о поэтике кобенковского стиха и о его месте в современной литературе. Он читал стихи поэта как музыку. Он говорил о чувствах стиха: любви к Родине, любви к Жизни. Он просто и доступно прочитал раздвоенность, владеющую поэтом на пространствах от Биробиджана до Иерусалима. Одним словом, он рассказал всю жизнь Кобенкова в маленьком литературном эссе, напоминающем добротный русский роман.

*Всё уже было, а слово найдешь и — жарко,
всё уже знаешь, а пишется, как во сне,
русский роман...*

*...связанный из тумана
узел сюжета, петелька, узелок
из твоего обмана — рычаг романа,
что при желании складывается в венок...*

Чтобы стать таким поэтом, как Кобенков, надо родиться в Биробиджане.

Бросить школу после восьмого класса.

Поработать рабочим в геологоразведочной партии.

Побывать учеником токаря и слесаря, и даже «дослужиться» до второго разряда (не его это дело, он и кран в кухне не может поменять, «железо» только выиграло от того, что Анатолий Иванович ушел в поэты).

Надо все-таки экстерном окончить среднюю школу и поступить в Литинститут, из которого вылететь на втором курсе.

После этого надо было попасть в руки Евгения Григорьевича Раппопорта (уже в Иркутске), познакомиться с Вампиловым, Распутиным, Машкиным, Гурулевым, Марком Сергеевым. Следовало заново поступить в Литературный институт и окончить его.

Не мешает поработать грузчиком.

И внять на первом своем поэтическом юбилее (который широко отмечался в Ангарске — свидетели помнят), внять после многочисленных возлияний и восхищений «недюжинным талантом молодого юбиляра» простым словам Сергея Иоффе: «Толя, я надеюсь, что ты понимаешь, что всё это — неправда».

Естественно, что сегодня нельзя повторить путь поэта Кобенкова потому уже, что нет газеты «Советская молодежь».

Чтобы стать поэтом Анатолием Ивановичем Кобенковым, надо было пройти и через псевдосмерть (не хотелось вспоминать, но слова из песни не выкинешь), которую устроила ему в отместку за литературную статью в журнале «Знамя» одна убогая иркутская газетка, не стоящая и римского грошика (gazzetta, если вспомнить итальянский, самая мелкая венецианская монетка).

Чтобы стать — надо быть. Яснее не скажешь.

2002

3. Роман с трубками

- Ты знаешь, что курить вредно?
- Кто-то мне говорил...
- Тогда мы можем начать разговор. Сколько у тебя трубок?
- Штук тридцать.
- А самую первую ты помнишь?
- Самая первая сохранилась...

Первая

— Она появилась, естественно, из пижонства. Мне было двадцать пять лет. В Москве я купил явскую трубку, из вереска. Там были трубки за два пятьдесят и за два рубля. Я, естественно, купил за два рубля.

Купив ее, я в возбуждении позвонил своему старшему другу и одному из учителей Александру Михайловичу Ревичу, трубочнику с огромным стажем — он начал курить трубку еще на войне. У него богатейшая коллекция трубок, я с ней знаком.

Ревич сразу спросил: «Явскую»? — «Явскую, естественно». (От него-то я и услышал это определение.) — «Немедленно ко мне».

Я приехал, и он преподавал мне первые уроки: как курить трубку — не спеша, чтобы не горела чаша, как ее обкуривать. Начал он с того, что достал наждачок и первым делом снял фабричный лак, объяснив: это для того, чтобы трубка «дышала».

И еще сказал, что хорошо бы втереть при первой раскурке в чашу — с внешней ее стороны, разумеется, — ландотонное масло или какой-нибудь цветочный крем — для запаха на будущее.

Я иногда пользуюсь, беру у жены какой-нибудь крем, когда трубку обкуриваю, и обмазываю. Трубка сразу это впитывает, и запах остается, иногда он пропадает, иногда возникает вновь.

Так я вошел в коллекцию Александра Михайловича, что называется, «как трубочник». Пусть неопытный трубочник, но я получил право войти.

Я попробовал трубки всевозможные, в том числе бриары, и которые из пенки, и трубки из кукурузных початков, и трубки, которые принадлежали окружению Берии, и которые принадлежали Симонову и Эренбургу...

В его коллекции было около двух сотен трубок, которые в то время курили. Он сейчас их не курит после того, как его здоровье резко пошатнулось в очередной раз. Ему сделали стеллажик, и он попросил наглухо закрыть полочки с трубками стеклом, чтобы не иметь к ним доступа.

Но последний раз его жена Мария Исааковна мне по секрету сказала, что он уже несколько раз туда подбирался и кому-то пытался дарить эти трубки, и она очень хотела, чтобы он мне подарил. Но он на это еще как-то не отважился. А я, конечно, хотел бы иметь трубку из коллекции моего учителя — прекрасного поэта и крупнейшей личности нашей культуры, одного из замечательнейших переводчиков поэзии Европы и Америки.

— А как прирастала твоя трубочная коллекция? Ты попал к прилавку какого-нибудь художественного салона?

— Да. Ты тоже помнишь то время, когда в художественные салоны стали завозить трубки, которые делал мастер Федоров из Питера.

Федоровские трубки

— Они были подороже явских. Но очень хороши своим дизайном, легкостью. Стоили от 12 до 28 рублей. В те времена это были большие деньги. У меня жили пять федоровских трубок.

Как-то сюда приезжал Андрей Дятлов из «Комсомолки», он — трубочник. Когда нас представили друг другу, он первым делом спросил: «У вас есть федоровские трубки»? И посмотрел на меня, как на счастливца.

Федоров умер, лет 18 как его нет. А федоровские трубки — в цене и пользуются уважением среди коллекционеров. У меня осталось четыре трубки его работы, пятаю где-то затерял.

— Единственной проблемой у федоровских трубок был материал. Трубки он ваял из клена.

— Да, тогда я еще не знал, как обкуривать клен, а федоровские трубки все были из кленышка. Поэтому из Ангарска, где я тогда жил, я позвонил Ревичу. Он мне дал совет, сказав: «Ты ее продуби». Я тут же переспросил: «Чем?» — «Ну, хорошо бы коньячком...»

Я с радостью отправился в магазин, купил бутылку коньяка, влил в чаши трубок, а оставшееся — и немало — в себя. Ночью меня разбудил дикий треск. Трещали трубки. Они, в отличие от меня, не вынесли коньячной силы и треснули!

Я к Александру Михайловичу: чему же вы меня научили? От него я узнал, что я — полный болван, потому что надо было тряпочку смочить и положить в чашу, и достаточно было бы... Трещинки затянулись, я трубки эти курю, но очень редко — когда наступает минута тоски, ностальгии. Я больше ими люблюсь. Их приятно держать в руках. Поскольку они старые и хорошо обкурены, они еще и вкусны.

Потом мне привез старую английскую трубку Витя Воронков. Сейчас он директор Института социологии в Санкт-Петербурге, демограф, некоторое время преподавал в нашем университете... В Иркутске он, кстати, прославился тем, что был «диссидентом-книжником» — он должен был пострадать за Платонова, за Булгакова, за Солженицына...

А трубка, кроме того, что это бриар, хороша тем, что у нее костяной мундштук. Таких не делают давным-давно.

— В СССР было непросто купить хорошую трубку...

— А очень хорошую просто невозможно!

Мефистофель и другие

— Постоянно случались какие-то «провалы», и лет по пять у меня не появлялось ни одной новой трубки. Исчезли из магазинов и федоровские. А явские шли по одному лекалу, их

просто множили, и не всегда шли удачные трубки. Я купил тогда одну, уже за три рубля. Но мне не повезло: в чаше случился какой-то неудобный сучок, и она до сих пор горькая. Это была такая советская неудача. Если первая трубка до сих пор вкусна, то эта...

Но я с тех пор перестал брать явские трубки, а их можно было в Москве купить чуть ли не в каждом втором киоске, они среди махорок лежали. Я сейчас жалею, что не покупал, потому что трубки все же были хорошие. Пусть по дизайну однообразные — гнутые и прямые, и чаши практически везде одинаковые. Единственное разнообразие, что явская трубка позволяла себе этакую эстетику советского лагеря, ты, наверное, помнишь Мефистофеля?

— У меня есть явская трубка с головой льва.

— А у меня была «мефистофельская» трубка, я на нее разорился, но потом кому-то подарил. Потому что культуры трубочной в наших палестинах ноль, и кто приходил ко мне «рюмку выпивать», почему-то реагировали именно на нее — самую плохую трубку. Я, в общем-то, без особого сожаления с ней расстался.

К трубкам, естественно, привыкаешь, но однажды я расстался с двумя трубками без сожаления. Я отпустил их от себя к Гене Базюку — он собирал трубки художников, артистов, поэтов, журналистов. Взамен получил вон ту огромную под кальян. И у меня осталась память о Гене.

— Я тоже отдал ему одну трубку, самодельную.

— Гена любил трубки и знал, как их лечить. Он даже радовался, когда с трубкой какое-то несчастье, откладывал свои дела, забрасывал все рисовальные перышки и брался за трубку. Лечил ее скрупулезно, долго и получал от этого огромное удовольствие.

— Где теперь находят тебя трубки?

— Как ни странно, несколько хороших трубок я купил в разные свои поездки в Красноярске. Я нашел там хороший киоск, где очень качественные трубки «Peterson», «Big Ben» и

прочих фирм. Если учесть, что нормальная трубка — по нашим возможностям — начинается с 1000 рублей, то вот эту французскую я купил там просто за копейки — за 700 рублей. Там же приобрел и немецкую с прозрачным мундштуком: основательную, уютную, с круглой чашей — стабильную по-немецки.

– Как ты помнишь, у нас всегда была проблема с табаком.

– Конечно. Тогда у нас делали хороший табак в Питере: «Капитанский», «Золотое руно»...

– Похуже — «Моряк», «Любительский»...

– Потом появился болгарский «Нептун»...

– Неожиданно появился и так же неожиданно пропал...

Дело — табак

— Однажды в Усть-Илимске в каком-то заштатном магазине я увидел «Золотое руно» и просто онемел. Я потратил все деньги на табак.

Поначалу я курил отдельно, а потом стал смешивать. «Капитанский» — покрепче, «Руно» — послабее, но в их смеси возникал такой аромат, при котором все сразу чувствовали, что трубка — дело серьезное. Одно время табак совсем пропал, а курить лишь бы что я не мог себе позволить. Но случилась перестройка, и стали появляться табаки. А потом и трубки.

Появилась возможность бывать за границей. И ты уже можешь представить мое состояние: главный поход — в табачный магазин. При моем владении языком это всегда проблематично. Кстати, за границей относятся к трубке, как к сигарете. Они купили ее на ходу и курят ordinarily, откурив, выбрасывают, потому что там это доступно. Потеряв трубку, человек не кричит караул, идет и покупает такую же или лучше. А мое состояние иное. Потому что купить такую

трубку, которую хочется — ты чувствуешь, что она — твоя, невозможно по причине материальной.

Я помню, первая моя поездка была в Германию, там я выбрал трубочку поизящней, но и подешевле. Она оказалась из кленышка и не набрала той силы, которую мог бы набрать бриар. Но эту трубку я очень любил, и сейчас отношусь к ней с нежностью.

Зато из Германии на все деньги, какие у меня были, я привез табак. И этот табак дарил в Москве, тому же Александру Михайловичу, другим знакомым, которые курили трубки. Удалось все же несколько пачек довести до Ангарска. Это было счастье. Во-первых, вкус. Ты понимаешь, что такое вкус настоящего табака. Во-вторых, они были ароматизированные почти все, а для нас это было тогда большой редкостью. Семья просила: «Папа, сделай нам полянку». Я садился в кресло и закуривал трубку.

Много позже я позволил себе купить две трубки на Канарах, и табак прихватил, но это было уже не так важно, потому что у нас теперь появились трубки и табаки.

Сейчас Оля мне подарила две пачки итальянского. Все-таки итальянцы понимают в этом толк.

Из того, что есть на табачном рынке, я обычно склоняюсь к «Mac Vagen». Он крепкий, трубочку выкуришь — и надо остановиться.

В Москве есть несколько магазинов, в которых я бываю. В одном, возле Киевского вокзала, даже считаюсь постоянным клиентом, для меня там есть скидка. И на Карла Маркса, в том месте, где когда-то был ресторан ВТО, там я «живьем» видел Владимира Семеновича, когда встретился с Высоцким в одной многолюдной компании... Сейчас там в подвале трубочный магазин-клуб, там можно выпить чашку кофе, рюмку коньяку, испробовать новые табаки.

Новые табаки, как ты знаешь, всегда смесь. Там проходят постоянно табачные конкурсы, куда съезжаются трубочники со всего мира. Каждый представляет свою страну. Последний раз я там пробовал чудные английские смеси... Не всегда есть деньги, чтобы купить, они меньше 100 граммов не пакуют, а это — 500 рублей. Для приезжего человека накладно. Зато я бесплатно сажу и покуриваю. Это очень приятно — посреди сумасшедшего дня московского, перед вечером, когда у тебя что-то назначено — встреча или

концерт, — сделать такой перерыв. Да поучаствовать в спектакле покупки трубки. Обязательно ведь кто-то придет выбирать себе трубку, а умные люди приходят непременно вдвоем, и начинают рассматривать, обсуждать, придираться. Выбор трубок там сумасшедший. Представлены все фирмы мира. Есть трубки, которые нам с тобой не курить: «A. Dunhill», «Parker», «Stanwell» — по 20-30 тысяч, и по 70 тысяч рублей — на них есть свои покупатели. Это отборнейшие трубки, эксклюзив. Там очень уютно и приятно посидеть, подымить, посмотреть. Я пару трубок там купил, не смог удержаться.

– Что у тебя есть из последних приобретений?

– Это две трубки: «Savinelli» и «Олина». «Олина» будет называться так всегда, несмотря на то, что у этой хорошей английской трубки есть прямой английский родитель...

– Я догадываюсь, что с ними, как с любой трубкой, связаны какие-то истории?

– Тебе не откажешь в знании психологии трубочника...

Савинелли

— Эта трубка — событие. Я дважды был во Франции. В первый раз, как ни уговаривала меня моя жена Оля, я решил, что лучше куплю ей десяточек лишних чашечек кофе, куда-нибудь свожу и откажусь от приобретения трубки. Хотя мы с ней ходили в один магазинчик, смотрели трубки, и она предлагала: давай эту, давай ту купим, я не решился. Мы ведь с ней приехали в Париж, сначала объехав всю Францию, мы просто были «на нуле», ели раз в день и то, что подешевле. Спасали дома, в которые нас приглашали, мы там вкусно ели.

Второй раз я был с дочерью Варей на фестивале, который устраивал уже в 14-й раз наш друг поэт Анри Делюи, а он это делает с большим размахом. Это единственный фестиваль из всех, на которых мне довелось побывать, где выступление оплачивается. И я заработал приличные деньги. Анри мне объяснил, где можно выбрать лучшие курительные приборы

(он и сам трубочник, хотя сейчас не курит по причине возраста и всяких болячек).

Оказалось, что рядом с Лувром есть целая вереница табачных лавочек. Мы их с Варюшкой прошли, и она ныла: «Папа, я тебе не позволю купить, такие деньги!». И тут мы набрали на лавчушку — всю в трубках, кальянах, табаках, причем, табак был в мешках, в пачках... Не лавочка, а щель какая-то, там с трудом помещались два человека — хозяин и продавщица. Варя была переводчицей, говорила с ними на английском. Нам выложили трубки Петерсона. Я сморщился и сказал, что я все это видел и у меня дома есть уже четыре Петерсона. И тут меня заусило, говорю: «Савинелли». Мне достали десяток трубок этой фирмы, цена у них очень большая, мне стало жалко денег. Но когда Варя увидела одну трубку, она взмолилась: «Я знаю, ты не сможешь спать, если не купишь эту». А я уже решил, что не буду, и все! Но она настояла, сбила цену.

— Она торговалась?

— Да. Нам дали еще фильтры и еще что-то, все это было в красивой упаковке. Эта трубка, которая сразу вкусна, ее, по сути, не надо обкуривать. Она изящная, легкая, янтарный мундштук и янтарный набалдашник. Произведение искусства.

— А вторая история?

— Она душещипательная, даже трагическая. Оля купила мне здесь, в Иркутске, на пятидесятилетие биг-беновскую трубку. Это единственная трубка, которую она мне подарила (и вряд ли еще подарит). Оля на нее выложила всю свою зарплату. Как ты понимаешь, если мы с тобой пойдем выбирать нашим женам белье, мы сойдем с ума, потому как ничего не понимаем. Вот и Оля переживала, понравится мне или нет. За несколько дней до юбилея она не выдержала и показала трубку мне. Добавила: не понравится, можно обменять. Я сказал: менять не буду, ведь это ты подарила. (Она мне действительно понравилась). В тот вечер у жены случился криз, приехала скорая, поставила уколы, и когда Оля стала немного улыбаться, я предположил: «Это, наверное, из-за

трубки...». Она не стала утверждать, но и не исключила такой возможности. Для нее это было большим напряжением.

– Курение трубки – целая философия...

– Можно и по-другому: жизнь с трубкой протекает иначе, чем без нее.

– Это не все поймут, и не все, кто поймет, поверят.

– Тогда пусть почитают роман Ильи Эренбурга «Тринадцать трубок».

Искусство жить с трубкой

— Трубка вообще не может быть «быстрой». Ее нельзя купить за 15 минут. Нельзя целый день курить одну трубку. Я просто гибну, когда рядом со мной курят одну трубку в течение дня.

Нынче был в Румынии, и Андрей Грицман — русско-американский поэт, который был у нас в Иркутске на фестивале поэзии (мы с ним встретились в Румынии), все время ходил с одной и той же трубкой. Я ему истерику закатил. Он мне потом сказал спасибо за то, что я его просветил, и он пересмотрит свое отношение к трубкам.

С одной трубкой поехать в командировку — это бессовестно. Я недавно позволил себе разорение. Вот перед тобой лежит кошель на три трубки. Сюда можно положить пачку табака, есть место для записной книжки. Для командировок, собственно, и взял. Почему на три трубки? Сегодня покурил одну, завтра другую, послезавтра третью, первая отдыхает. Возвращаясь из командировки, я чувствую, как устали мои трубки. К ним нужно относиться по-человечески.

Бывает, трубки от тебя прячутся, как грибы, бывает, идут навстречу.

Бывает, увидишь трубку и понимаешь: она для тебя создана. Представляешь, где-то в Италии в мастерской Савинелли сидят тридцать мастеров и один из них делает трубку для тебя — который живет в Сибири.

Случается, трубка дешевая бывает вкуснее дорогой, и это — обычное дело. Может быть, действует настроение, с каким ты

проснулся. Однако же важно и с кем ты куришь трубку. Зря ли индейцы выдумали «трубку мира»? Не бывает «трубки войны».

...Так мы говорили и говорили, вдыхая ароматы хорошо обкуренного бриара. А закончили беседу своеобразным тестом для любителей трубок. Хотите поучаствовать? Как в России называлась самая дешевая и самая распространенная трубка?

Загадка или нет, но почему-то курение трубок мы с Анатолием Ивановичем Кобенковым начали с одной народной марки, хорошо известной на Руси, наверное, с незапамятных времен. Вспомнили и поусмехались: в XXI веке молодые курильщики вряд ли пробовали такую прелесть. А между тем эту простейшую трубку сделать каждому по силам. Надо взять газетный лист (желательно, с одним текстом, без картинок и фотографий, перегнуть газетную четвертушку в несколько раз, оторвать полосочку подходящего размера и свернуть очень длинный кулек (не широкий, а длинный). Перегнуть его в одной трети от широкого края под углом в 90 градусов. Всыпать в раструб табачок (раньше, в прошлом веке, сыпали махорку или рублинный самосад), поджечь, и «козья ножка» готова к употреблению.

Только помните, с чего мы начали разговор: «Вы, конечно же, знаете, что курить вредно?»

2005

4. Первый сентябрь на небесах

Я не считаю это воспоминаниями. Это — дань памяти: 5 (6) сентября исполнился год со дня смерти поэта Анатолия Кобенкова — нынче его первый сентябрь на небесах. Это — запоздалые признания (почему всегда мы не успеваем сказать всех слов, что хотим произнести, при жизни? — торопитесь, люди! не откладывайте на завтра). Это — наша жизнь, еще не остывшая. Не судите строго, и не судимы будете.

Так говорят: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Я ступил на эту подозрительную дорожку (естественно, не подозревая о её скользком коварстве, даже не сознавая, что уже встал на неё) несколько лет назад. Если быть точным: в 1997-м, когда родилась книга стихотворений в семи частях «Круг» [1]. Её написал Анатолий Кобенков.

А вскоре я накропал про то, как читал эту книгу. Так вышло, что моя заметка («Вынесите дерево под дождь» — заголовок я позаимствовал у поэта), после книги задержавшаяся, а все-таки выскочившая на свет зимой, до марта, почти совпала с 50-летием Анатолия Ивановича.

...Так я его называл давным-давно, в прошлом веке, на пятом этаже, где жила редакция газеты «Советская молодежь». Дверь в его кабинет, если войти в редакционный коридор, открывалась справа, в наш — слева.

Он глядел в окно на буйную зелень тополей, зарешеченных оградой авиационного училища, я — на винный магазинчик возле 23-й школы. Сейчас можно без опасений внезапного стыда признаться, что это время вспоминается не свершениями социализма, а верой в справедливость, которой, кажется, можно было добиться с помощью печатного слова. Маленькие праздники газетных буден частенько украшал дешевый портвейн или чернильный вермут, заплесневевшие по краям сырки «Дружба» и мятные пряники, засохшие в мятные сухари, — любая деталь и частность лишь уточняют картину, не испортив обаяния бывшей молодости.

В начале 80-х Толя лежал на зеленой траве, сочинял послания друзьям, вглядывался в подробности [2], снабдив всё это трогательными посвящениями дарственных надписей на титулах тоненьких книжек. Много позже он уже предупреждал (а я еще не понимал, не дорос): Не торопись — воспоминанья / на поле смерти отложи...

В 2003-ем совпали «Строка, уставшая от странствий...» [3] и 55-летие поэта. И я опять исписал чистый лист: про то, как читал его новую книгу. А заметку, тоже опубликованную в газете, назвал «Вторая глава», подумав, что первая вышла пять лет назад. Тогда я посчитал, что время (не обнаружив нашего к себе внимания, не найдя поклонения, не разглядев трепета) уходит в себя и тратится по пустякам на собственные звуки:

*...и тикали часы,
и табуреты
скрипели, как осенние качели,
и булькало в надтреснутой бутылке
дешевое вино...*

Так оно, время, оставаясь бытием, но прикинувшись бытом, и проходит.

Задумав, чтобы стало по-другому, я решил: впереди еще пять лет. В 2008-ом обязательно выйдет Толина новая книга, и я непременно напишу, как буду ее читать, угадав, может быть, прямо к 60-летию Кобенкова. Чем не повод, чтобы целых пять лет всматриваться, вчитываться, вслушиваться в человека, которого любишь. Я не собирался торопиться, а лишь хотел получить удовольствие от созерцания, превратив его в познание. Мало мне было прежней четверти века, чтобы понять, как и почему «звук без оглядки на дыхание / и тьма без выхода на свет / никак не сложат мирозданье, / с которым свыкся бы поэт». Благими намерениями сыт не будешь.

6-е сентября 2006 года взорвалось рассветным звонком из Москвы и дрожащий от слез голос Людвиги Сенотрусовой заметался в телефонной трубке неземным эхом:

— Анатолий Иванович... умер...
— Как! Когда?
— Сегодня ночью...

Тот трагический вечер в столице был помечен пятым числом... А в Иркутске давно пробила полночь и я, как все

иркутяне, считаю, что Анатолий Иванович Кобенков умер 6-го сентября. Во тьме Москвы, на иркутском рассвете...

*Но всё, что рвется вон из грядок,
чтоб духом в нас произрасти,
слагается в миропорядок,
подстать поэтовой персти.*

Если чуть переиначить, то на то и выйдет: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

О том времени сегодня уже не принято вспоминать: преданья старины глубокой... Однако это кусок нашей жизни, — может быть, чуть побитый молью прошедших дней и лет, но вполне осязаемый, грубый и возвышенный одновременно.

Мы жили в том мире новоявленного НЭПа: ваучеров, приватизации и бешеной спекуляции; денег — вдруг подешевевших до тысяч — вскоре — и до миллионов в каждом кармане; свободы слова, хлынувшей на страницы газет, которые начинали множиться, как грибы после дождя; разброда и шатания в обществе — одинокие свечи партбилетов, сгоревших на площадях 1991 года, уже не освещали пути: это сейчас те поджигатели обрели новое партийное прибежище.

Нас окружали и дразнили ларьки и киоски с первыми жвачками, чупа-чупсами и чоко-паями, дешевой водкой в пластиковых стаканчиках с крышечкой — 100 граммов для похмелья; витрины магазинов, враз наполнившиеся — изобилие ломилось наружу, не помещаясь на прилавках...

А в наши двери уже стучалась нищета: мы перешивали женину шубу на детские шубки, а демисезонные курточки девочкам жена шила сама — из своих и моих старых плащей и нового ватина...

*Но зато всё то, что накопилось,
всё, что между пальцев протекло,*

*как рубец
и как необходимость,
не спросившись,
на сердце легло...*

Толя с Олей и маленькой Варей тогда жили еще на первом этаже «хрущевки», и однажды вечером я постучал в его дверь, чтобы на тесной кухоньке открыть ему свой план, как разбогатеть. План был прост и почти гениален.

Иркутск тогда прославился на всю страну тем, что в городе заработал первый в России коммерческий банк — Русско-Азиатский. Его президент — Флер Бабтракинов — прекрасно понимал важность и необходимость рекламы в финансовом деле, оттого, наверное, хорошо относился к журналистам и смело давал им интервью: Коле Евтюхову, Олегу Харитонову и мне. Он же — одним из первых в Иркутске — задумался над фирменным логотипом, куда переключал всем известный у нас силуэт здания 2-ой поликлиники — когда-то оригинальный Русско-Азиатский Банк.

...Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись, примерно так писал Р. Киплинг в одном из стихотворений. А Бабтракинов в финансовых делах поглядывал как раз на восток.

На этом мы и решили сыграть, красочно рассказав ему, что можно под эгидой Русско-Азиатского банка выпустить шикарный (естественно!) настенный календарь, в котором бы присутствовали литературные и живописные реминисценции — переключка России с Востоком, а также — логотип банка, адреса, телефоны и прочее, за что банк заплатит с удовольствием. (Это сегодня любая конторка клепают такие календари, а в то время мысль и идея казались нам сногшибательными). Президент выслушал, подумал и согласился, выдал мне карт-бланш на творческое осмысление и решение. Надо было искать тех, кто сможет эти «реминисценции» создать и наполнить смыслом. Ни минуты не сомневаясь в успехе, я прибежал к Кобенкову.

— Возьмешься?

— Запросто, это интересно! — ответил Толя. — А кто будет рисовать?

— А кого ты бы посоветовал?

— Сашу Шпирко.

— Вот и договорились! Толя, скоро мы разбогатеем, а у тебя будет огромная настенная книжка стихов с рисунками...

Месяца три ушло на подбор авторов, создание стихов, рисунков, макета... Но когда я пришел показывать его Президенту Русско-Азиатского банка, то понял: попутный ветер сменился на встречный. В пресс-службе появились новые люди, которым идея про культурную смычку Запада и Востока была глубоко чуждой, потому что они уже забацали гляцевый гламурный и абсолютно пустой — но почти плакатных размеров — календарище с корейскими пейзажами. Наши идеи и нашу работу вышвырнули за дверь. Так мы не только не разбогатели, но и потерпели некоторые убытки (хотя наше агентство, выпускающее тогда прообраз сегодняшней газеты «Труд-Байкал» — оно называлось Региональное приложение «Восточная Сибирь», сумело расплатиться с поэтом и художником сполна).

Зато мне остались стихи Поэта и картины Художника. Январь, например, открывал Иван Тургенев, сидящий в кресле, окруженном роем пляшущих снежинок, на фоне мчащего сквозь годы и пространства паровоза. Картинка была вызвана стихами Такубоку (Япония, 1885-1912):

*Летел навстречу мокрый снег,
И на равнине Исикари
Наш поезд мчался сквозь метель.
Я в этом северном просторе
Роман Тургенев читал.*

Ему отвечал Анатолий Кобенков (Россия):

*Ветер ставит снежные заплаты
На тоску полей...
Маленький журавлик Кавабаты
В горнице моей...*

Март философствовал древним китайцем (Ван Вэй, 701-761), июнь расцветал корейцем Хон Сомом (XVI-XVII вв.), август печалился с Харумити Цураки (Япония, XIII в.), ноябрь сетовал словами Су Дон По (Китай, 1037-1101).

Особенно я люблю в этом календаре декабрь: предновогодье, предрождество, предвосхищение и черта, подводящая итог:

*Луна или утренний снег...
Любуясь прекрасным, я жил как хотел.
Вот так и кончаю год.*

Толя переговаривался с любимым им Басё (Япония, XVII век):

*И минул год — как утро деревенское,
Как городская полночь... Вот и всё!
Он был большим, как книги Достоевского,
Коротким, как дыхание Басё.*

...Вскоре погиб Саша Шпирко, талантливейший художник, смело смешивавший на своей палитре живопись, театр, книжную графику, гравюру. Толя переживал страшно. Несмотря на жуткий холод, поехал на кладбище: в унтах, меховой шапке, полушубке. Промерз до костей. Сашина смерть не отпускала его долго:

*Луч, туча, фонари, садовые ограды...
И мы спешим туда,
куда спешить не надо...*

Любое из этих имен — Павел Варварин, Андрей Ольгин, Иван Жуков, Андрей Завалишин, Игорь Стерх, Андрей Дор — хорошо знакомы читателям нашего регионального приложения в газете «Труд» 1994-95 годов. Только изредка для них могла наступить путаница: когда Анатолий Иванович, отказываясь от любого из названных своих псевдонимов, подписывался инициалами: А. К. Я тоже время от времени

подписываюсь инициалами. Но пронизательный читатель, думаю, никогда нас не путал.

В эти годы, оставив «Молодёжку», которая закрутила роман с бульварной газетёнкой «№1», окончившийся «неравным браком» и неожиданным ребёнком («СМ-№1»), Анатолий Иванович активно писал в «Труд».

Обычно он приносил свои странички, аккуратно отпечатанные на миниатюрной машинке «Колибри» (компьютера у него тогда еще не было), с утра — потому, что писал их рано утром, точнее — до рассвета.

Он приходил ненадолго, раз в неделю, но это был свет в окошке.

Кобенков писал о книгах, о театрах, о художниках...

О нищете и богатстве, о домах престарелых и школьных проблемах...

О Биробиджане (где рос и вырослел), о Москве (где учился), об Ангарске (где до этого жил).

О фильме «Список Шиндлера» (реж. Стивен Спилберг) — свидетеле нечеловеческого падения и человеческой высоты, — только что получившем семь Оскаров.

Он составлял «Новую антологию сибирской поэзии» и начал её стихами Марка Сергеева.

Учительствовал (сначала в литературной студии экспериментальной школы № 47, потом — в лицее ИГУ, потом — на восточном факультете политеха).

Изо всех сил он зарабатывал на жизнь (трех, четырех, пяти работ одновременно как раз хватало), и, честно говоря, я не представляю, когда он склонялся над стихами. Лишь однажды Толя проговорился: «Встал в четыре утра и так славно поработал»...

В его стихах жили дворник Бондарь, дядя Ваня, шкиперша со шкипером, хозяйка у окна, врач Инна Львовна Малышева, золотая буфетчица Рая, сопливый первоклассник, фронтовик Иванов, управдом Ковалева Мария Петровна, граф Чепуха, графиня Ерунда и дочь его величества Кокетство, тетя Маруся и дядя Сережа, а также Константин Иванович Земнухов... причислял себя к энтомологам (как любил Кобенков писать о кузнечиках!).

Конечно, это далеко не все его герои или собеседники, его дети или его образы, его мира жители.

Пройдет еще несколько лет, и в Толины стихи водопадом вольется мудрость зрелого возраста, голос земли и небес станет явным, но не назойливо поучающим, а тихо советующим тем, кто способен услышать:

*Но далее, но дале —
из Вифлеемской тьмы —
идут за далью дали,
а за тщетою — умы;
и давит на педали
точильщик кутерьмы...*

Героями его газетных заметок и зарисовок были люди известные, но отмеченные печатью избранного одиночества, а потому — «смешные»: артист Олег Мокшанов, поэты Александр Сокольников и Борис Архипкин, режиссеры Сергей Болдырев и Вячеслав Кокорин. Их окружали тени Христа, Франциска Ассизского, Велимира Хлебникова, Осипа Мандельштама, Федора Достоевского, а действие происходило на Байкале, в Москве, Улан-Удэ, Германии, Дании, на сцене иркутского Театра кукол...

И Кобенков просил этот город о снисхождении, о милостыне для «ворованного воздуха» (так определял поэзию Мандельштам), о внимании к театрам: «Здания ждут не дождутся ремонта, актеры голодны и все чаще от нас уходят... Про поэтов и прозаиков горько говорить: книгу издать не на что и практически некому...».

Он писал о том, как проходили в Иркутске конференции, посвященные памяти отца Александра Меня (участвовал в их организации), и, кстати, надеялся, что одна из иркутских улиц — может быть! — будет носить имя Меня. Конференция ходатайствовала об этом перед городскими властями небезосновательно: приверженец экуменизма учился в Иркутском сельскохозяйственном институте вместе с «упрямцем» Глебом Якуниным.

Павел Варварин делился с читателями «Труда» счастьем и горем: как купил он в Култуке дом (домишко, по правде сказать): «чуть выше полуразбитой уборной, комнатеха на девять квадратов, недостроенная баня, заброшенный

огород», зато — «горное кольцо, байкальское дыхание, травяной настой!». Однако «здесь мужик до того извел свою жену, что она повесилась в подполье, там баба довела мужа до того, что он не выходит из больницы; в этом доме — зарубили топором старуху, приторговывавшую водкой; из того дома ушла в мир иной молодуха, допилась до того, что ее, бедную, парализовало». И все — воруют, тянут, что плохо лежит (да и то, что хорошо лежит — тоже тянут). И у всех почти — руки золотые: «Они в равной степени и безобразны, и очаровательны».

Он рассказывал про себя, а выходило, что — про нас, его заметки были зеркалом, в которое надо смотреться.

Я думаю, что одна из вершин его публицистики — «Письма из деревни» (опубликованные в лето 1995 г.) в газете «Труд»: «Жестяная звездочка», «Валера-бизнесмен», «Молитва», «Люся», «Вкруг инобытия», «Дерево», «Баба Катя», «Байкальские сны», «Ниоткуда — с любовью», «Ощупью, в потемках» (из этой главы родилось стихотворение, в газете названное «Один осенний день», а в книге — «Очерк» с трогательным посвящением)...

Толин роман с деревней окончился печально: «...Забор мой разобран подчистую и уже подобрались к бане. Мои мечты о скрипучих половицах, о капающем рукомойнике и неспешном сочинительстве плакали горячими слезами».

Годы наши...— всякие-разные, шумные, яркие, бледные, горько-сладкие, кисло-соленые, путано-грешные, ясно-прозрачные, тихие-громкие, незаметные, спорные, однозначные, кривые-косые, полные — наши годы в Иркутске — все они кончились для меня неожиданно серым, колючим от пронизывающего ветра перроном Иркутского вокзала. В вагоне спрятались Иден, Варя и Оля — они уже подомашнему обживали купе, в котором им предстояло ехать трое суток, а Толя стоял рядом с нами и — странное дело — мы молчали. Все было понятно без слов.

Я вообще самым последним узнал о его отъезде в Москву. Он сказал мне об этом в середине января, когда в его квартире уже начались приготовления к отъезду, которых не скроешь.

«Выбери себе — на память», — сказал Анатолий Иванович и показал мне на кипу грампластинок. Я взял несколько скрипачей, Стравинского, Баха и Бетховена — подбор композиторов и исполнителей у Толи был изумительный.

— Значит, так... — вздохнул я.

— Выходит, что так... — выдохнул Толя.

Он оставлял Иркутску альманахи «Иркутское время» и «Зеленая лампа», ежегодную премию Сергея Иоффе, фестиваль поэзии на Байкале и — «Сердце навывлет» [4].

...Я подержал, прощаясь, протянутую из вагонного тамбура лапу Идена, притронулся к Варваре и поцеловал Ольгу. С Толей мы обнялись неловко, первый раз в жизни.

Колеса заскрипели, сцепки громыхнули, поезд пошел.

В Москву-уу-у...

На перроне уже давно остались только мы с Мариной Акимовой, и стояли так, раненные февральским ветром, и глядели на запад, пока был виден последний вагон поезда.

*Кому из вас подпеть — кому из вас темнее
без песенки моей? объединившись с кем,
жизнь, книги не слышной
и жизни не смешнее —
кому мотивчик мой, кому его повем?..*

Иркутск, 6 сентября 2007 г.

Примечания:

[1] А. Кобенков. «Круг», книга стихотворений в семи частях. Иркутск. 1997.

[2] А. Кобенков. «Я однажды лежал на зеленой траве». Иркутск, 1981; «Послания друзьям». Иркутск, 1986; «Подробности». Иркутск. 1997.

[3] А. Кобенков. «Строка, уставшая от странствий...»,
стихи разных лет. Иркутск, 2003.

[4] А. Кобенков, «Сердце навывлет», Восточно-Сибирская
правда, 10 февраля 2005 г.



Комаров Алексей Викторович (род. в 1954 г.) — журналист (окончил
Иркутский гос. университет). Лауреат Премии Союза журналистов СССР
(1988). Живёт в Иркутске.

Арнольд Харитонов

СПАСИБО, ЧТО ЖИЛ...

Анатолий Кобенков: портрет на фоне времени

Пространство вокруг меня стремительно пустеет. Всё меньше людей, с которыми можно поговорить душевно, а то и помолчать... Всё меньше адресов и телефонов, которые помнишь не слабеющей памятью даже, а душой...

Иркутский поэт Пётр Реутский написал две строки, которые я часто повторяю: «Умереть не страшно, страшно не родиться...» Не примеряю их на себя – если бы я не родился, кто бы об этом знал? Но если бы не родились, каждый в своё время, мои ушедшие и ныне здравствующие знакомые, приятели, друзья – Саша Вампилов, Толя Кобенков, Гена Сапронов, Тэофил Коржановский, Виля Венгер, Серёжа Захарян, Женя Корзун, Валера Кирюнин, Игорь Альтер, ещё великое множество – насколько беднее была бы моя жизнь!

Поэты рождаются в провинции...

Но сегодня – о Толе... Об Анатолии Ивановиче Кобенкове... Его называли первым среди сибирских поэтов, а Евгений Евтушенко однажды сказал: в Иркутске живёт первый поэт России. Конечно, не все это мнение разделяли, завистников и даже ненавидящих его хватало – большой и свободный от предрассудков и чиновничества талант всегда вызывает злобу и даже ненависть у посредственностей, которым нет числа в родном отечестве.

Когда мне сказали, что в Москве скончался Толя, я не сразу понял, о ком это... Хотя знал, что у него плохо с сердцем.

Было дело, мы лежали с ним в одной больничной палате, и тогда доктор, прочитав кардиограмму, сказал Толе: «А ведь у вас был инфаркт, очевидно, вы перенесли его на ногах». Потом, кажется, был ещё один... Я уговаривал его: «Прежде чем уехать в Москву, сделай хотя бы коронарографию, а ещё лучше – решишь на операцию, в столице ты этого никогда не сделаешь». Но он меня не слушал – в Москву, в Москву, в Москву!

Не раз отмечал в памяти фразу из записных книжек Сани Вампилова: «Поэты рождаются в провинции, в столице поэты умирают». Но тогда она меня не задевала... Не сразу в эти дни вспомнил о ней, но когда вспомнил, то горестно изумился: как мой давно ушедший университетский приятель смог предсказать судьбу Кобенкова?

Позже, когда пришёл в себя от оглушившей вести, ещё раз перечитав два последних сборника стихов Анатолия Кобенкова, неожиданно для себя обнаружил, что он много и безбоязненно писал о смерти. Думаю, что хорошие поэты, писатели, художники и вообще творцы не боятся смерти – они оставили на земле заметный след, их будут помнить долго, некоторых вечно. А Толя даже оставил «Автоэпитафию» и в ней отважно и пронизательно описал место, где ему уготован вечный покой.

Так вот, я не поверил, не захотел поверить чёрной вести. Кинулся звонить по его московскому номеру. И услышал спокойный Толин баритон. Эту фразу я запомнил навсегда, не только слова, но и интонацию. Он говорил: «Вы умничка, вы знаете, что делать дальше!»...

Почему-то сразу я сообразил, что это говорит – автоответчик. И заставил себя согласиться – да, Толи больше нет.

Растерялся – что делать дальше, я совершенно не знал – то ли садиться писать некролог (в последние годы это чуть ли не главный мой жанр), то ли звонить Ольге, то ли лететь в Москву, что было совершенно невыполнимо.

Не только я, многие в Иркутске пережили этот уход очень тяжело. Но не все. Были и такие, что тихо радовались. Спасибо, что хоть тихо.

«Ну что, оставим Толю?»

Совершенно забылось, где, как и когда мы встретились. Помню только, что он приехал в наши края в том же 1968 году, в котором и я вернулся в Иркутск, правда, из недалёка – шесть лет провёл в Усолье-Сибирском, в разнообразных занятиях, которые теперь, с высоты прожитых лет, кажутся мне странными: из зоны, потерпев фиаско в попытке перевоспитать уголовников и несколько подрастеряв в этом окружении веру в светлое будущее, – вдруг оказался лидером местного комсомола. В тесном общении с партийными вождями ещё больше растеряв эту веру, наконец, вернулся в столицу области и приземлился в кресло заместителя редактора газеты «Советская молодёжь».

Вот здесь-то наша встреча стала неизбежной – разве может молодой поэт не открыть двери молодёжной газеты, к тому же фрондирующей, частенько доставляющей головные боли партийным руководителям?

Как вообще он, рождённый в Хабаровске, выросший в Биробиджане, оказался в Иркутске? Как именно, точно не знаю. Там был какой-то затянувшийся сюжет с Литинститутом, что-то помню про командировку, но от кого и зачем – забыл. Да это и неважно, какой бы случай ни привёл Анатолия в наш город, для нас, иркутян, он был счастливым. По-моему, и для него тоже. А вот как остался здесь, и надолго, он рассказал сам в одном интервью.

«Здесь [в Иркутске] жил замечательный литературный критик Евгений Григорьевич Раппопорт, он меня давно сюда звал. В первый же вечер Раппопорт привел меня в Союз писателей, где я сразу со всеми познакомился, там были и Вампилов, и Распутин, и Машкин, и Гурулев. Марк Сергеев предложил: «Давайте послушаем Толю». Я прочитал какие-то стихи. «Ну что, оставляем Толю?» – спросил Марк Давидович. – «Оставляем...». Вот, просто, без официоза, формальностей и громких слов решилась судьба.»

Женя Раппопорт был другом «Молодёжки», и он не мог не привести Толю к нам.

И мы, конечно, встретились. И познакомились. Обрести приятельские, а потом дружеские отношения смогли только после того, как он пришёл из армии. Ещё и потому, что сначала он жил в Ангарске, где успел обзавестись семьёй (жена и двое детей) и задушевными друзьями, с которыми делил и дело, и застолье.

И первыми из них были два замечательных человека, которые пахали культурную ниву во дворце культуры «Нефтехимик» – Леонид Владимирович Беспрозванный в качестве главного чудака в народном театре «Чудак», Михаил Филиппович Бачин – в качестве главного над всеми, директора этого замечательного дворца.

Была в Ангарске одна семья, которая заняла в судьбе Анатолия Кобенкова особое место. Это супруги Лейдерман – Лев Иосифович и Инна Львовна, больше известная под девичьей фамилией – Фруг.

Супруги познакомились на фронте, на войне (Инна оказалась там добровольцем, семнадцатилетней девушкой), которую они прошли насквозь, она наделила их нелёгкой солдатской судьбой связистов – я не единожды слышал от бывалых

фронтовиков, что именно связисты были самыми уязвимыми в этой многолетней кровавой войне.

Но они уцелели. После войны выбрали самую мирную профессию – выучились на врачей. Окончили Первый московский мединститут и отправились в Сибирь, в молодой город Ангарск. Лев Иосифович стал хирургом-урологом, одним из лучших в городе, а Инна Львовна... она была не только отличным терапевтом, но и парапсихологом, и... Впрочем, приведу лучше слова Анатолия, которые он сказал о своей старшей подруге: «... гуру для рвущихся к правде, истерзанных бытовухой медсестричек, заклинительница зеленого змия для сибирских бедолаг, писатель, не похожий на писателя».

Ей мало было лечить брненное тело, она научилась врачевать души. Это поле её работы было поистине удивительным по широте интересов – она писала стихи и прозу (остались две замечательных книги – «Запах гари» и «Кубик Рубика»), живо интересовалась театром, вела многолетнюю переписку с интереснейшим человеком, жителем Новосибирска доктором биологических наук Сергеем Владимировичем Сперанским, который тоже не замыкался в рамках своей профессии, в круг его интересов входили и литература, и живопись, и театр, которые он знал глубоко, практически профессионально. Эти переключки родственных душ впоследствии сложилась в замечательный эпистолярный роман (почти исчезающий в наше время жанр), он называется «Свеча, зажжённая с двух сторон». За то, что эта книга вместе с «Кубиком «Рубика» пришла к нам, мы должны благодарить одну из дочерей супругов Лейдерман Людмилу Животовскую.

Итак, произнесено слово – СВЕЧА... Этот знак вечного света и горения возник в названии книги не случайно. **«Главное – это сгореть. И, сгорая, не сокрушаться о том» – таков был символ веры поколения, на чью долю выпали**

суровые времена, в которых человеческие судьбы сгорали тысячами, миллионами.

У Инны Львовны было любимое детище – клуб медицинских сестёр «Свеча». Мы так привыкли к названию этой категории младшего медицинского персонала, что не стали замечать в нём слово тёплое, родное – «сёстры». Когда-то они звались ещё проникновенней – сёстры милосердия. В наши дни это замотанные бытом и нелёгкой работой женщины.

Инна Львовна делала чрезвычайно много для того, чтобы вернуть уважение к этой профессии. Но главное, чтобы сестрички научились уважать своё дело и самих себя. Этой цели служил созданный ею клуб медсестер «Свеча», на заседаниях которого шёл разговор не только и не столько о профессии, медицинской этике.

Главная цель была – чтобы сестрички увидели, что мир не замкнулся в стенах больничных палат с их инъекциями, капельницами и «утками», он гораздо шире. Если человек обретёт себя в этом широком мире, он и на себя, и на своё дело будет смотреть по-другому. «Свеча» освещала этот широкий мир, в котором есть живопись, музыка, классическая литература, библия... Да, и Священное писание, и это вовсе не «опиум для народа», а прекрасная, мудрая книга, которую нам оставили праотцы. К «Свече» приходили известные писатели, мудрые люди, философы, и разговор шел о ценностях вечных.

Ясно, что в молодом промышленном городе, где культурная среда только зарождалась, эта семья настоящих интеллигентов не могла не стать близкой, почти родной для Анатолия Кобенкова, чья душа была настроена на такую же высокую волну, как души супругов Лейдерман. Он врачевал тут не только душу – «заклинательницей зеленого змия» Толя назвал Инну Львовну не ради красного словца.

Время шло, Толя становился старше, полнее осознал своё призвание...

При всех замечательных друзьях, которых он обрёл в Ангарске, ему не хватало профессионального общения. Да и семья распалась, Ангарск стал тесен, и центростремительная сила затянула его в Иркутск (а через много лет и в Москву) – уже с новой женой Ольгой, и этом союзе вскоре появилась маленькая Варя. Эта семья оказалась прочной...

И вот когда Толя прочно осел в Иркутске, мы как бы заново познакомились, и не сразу, постепенно – подружались. Несмотря на то, что разница в возрасте между нами была значительная, и не в мою пользу – одиннадцать лет. К тому же он был поэт – по самой своей сути, по взгляду на мир, по таланту...

А я, подобно Чехову, писал всё, кроме стихов и доносов. Ну, «все» в те годы было в рамках газеты, и не более того...

Это мы, жидомасоны

Но было еще нечто, что нас объединяло – это наше «жидомасонство». Этим термином пользовались урапатриоты, обозначая им всё, что имело хоть какое-то «отношение» к евреям.

Впрочем, вовсе необязательно было иметь отношение – эти ребята отыскивали зловредную примесь в крови любого человека, который им почему-то не нравился. Например, они сочинили, что настоящая фамилия Бориса Ельцина –Эльцер. А ещё так толковали: «Ель в еврейском языке «бог» или «дух», Цин – «пустыня», то есть **Дух пустыни**. Что бы ни делал, за что бы ни брался, за ним получалась пустыня». А что эта фамилия может происходить от названия самой демократичной рыбы наших водоёмов «елец» – от этого они досадливо отмахивались. Как обычно в смутное время (а

когда оно у нас было не смутное?), искали виновных во всех российских бедах на стороне – и находили. Кого – да конечно, инородцев. А кто у нас инородцы? Прежде всего, евреи! А они, зловердные, всячески прячутся, и даже за русскими посконными фамилиями, сами «полтинники» или «четвертаки»...

А мы с Толей и есть самые что ни на есть «полтинники – рождённые от русских отцов и еврейских матерей, потому и фамилии у нас русские. Мы, в отличие от некоторых, своё еврейство никогда не скрывали, но и не гордились им. И ему, и мне были смешны восклицания типа: «Горжусь, что я русский!» Можно ли гордиться тем, что тебе дано от рождения? Тогда надо гордиться тем, что родился брюнетом или блондином, тем, что высок ростом или левша, словом, всем, что тебе дано от рождения и никакой твоей заслуги в этом нет.

Достаточно ли было нашего еврейства для того, чтобы сойтись душевно? А именно так мы сошлись гораздо позже, в конце 80-ых, в 90-ые годы и в начале нулевых вплоть до его отъезда в Москву. Холодным, неприятным февральским днём 2005 года на перроне Иркутского вокзала с тяжёлым сердцем я провожал семью Кобенковых в Москву...

Но я отвлёкся. Так вот, о нашем общем еврействе. Конечно, это обстоятельство нас сближало, но не было единственным и даже определяющим. Что в нас обоих было от еврейских матерей, так это несколько иронический и снисходительный взгляд на мир вокруг нас (у него более грустный, чем у меня), который каждый из нас выражал в меру своих способностей, и это сравнение опять не в мою пользу.

В стихах на еврейскую тему Толя умел сочетать своеобычный юмор с трагизмом существования... Впрочем, человеческая жизнь трагична по сути: редкому человеку

удаётся смириться с мыслью, что он смертен, для этого надо помудреть, но это не каждому удаётся, даже в старости.

Дальше я эту тему – почему мы, такие разные, сблизилась – развивать не хочу. Наверное, это никому не интересно. Может быть, по ходу моих размышлений о том, чем в моей жизни был Анатолий Кобенков, это станет понятно само собой.

Тогда же, при первом знакомстве, остался в памяти молодой, даже юный парень, по Дмитрию Кедрину, «красногубый и чубатый».

Не могу вспомнить, тогда или позже пришли ко мне школьные стихи, написанные отнюдь не учеником, про школьника, читающего Блока, про соседскую девочку Таню, про две двойки в дневнике... И другое – про то, как пахнет первая верба, про грача, который приходил смотреть скворечники, опять про эти несчастные двойки и про девочку, которую поцеловал этот мальчик, сам поцелованный Богом. От них так отчётливо потянуло запахами далёкой юности, школы, и сладостно защемило сердце.

И сейчас, через полвека, когда я читаю эти стихи, во мне оживает не только память, но и чувства – и я возвращаюсь в школу, которая с такого расстояния казалась еле видной, и она вновь оживает – с чернильницами-непроливайками, со стриженными под ноль затылками одноклассников (где они теперь?), с девочками, среди которых была одна, на которую хотелось смотреть и смотреть, но... встречаясь с ней глазами, я смущался, краснел и поспешно отводил взгляд. А уж поцеловать... Видно, мальчик Толя был куда смелее меня.

Обретения и потери

Что осталось в памяти довольно отчётливо, так это наша встреча после его дембеля. Помню, что мы сидели в

ресторане «Ангара», видимо, это был обеденный перерыв, потому что никаких возлияний не было, даже пива (впрочем, именно пиво тогда было далеко не всегда и не везде). Это безалкогольное сидение запомнилось смачными рассказами про боевые будни Н-ской воинской части, в которой служил рядовой Кобенков.

Детали за прошедшие десятилетия забылись, помнится только, что эти свежие воспоминания были смачными, населёнными живыми людьми, которые совершали поступки, не всегда подобающие воину Советской Армии. Припоминаю, что было там что-то, связанное не столько с библиотекой, сколько с библиотекаршей; старшины и сержанты, как правило изображались добродушно, но забавно; не вспомнить, почему довольно большое место в этих устных рассказах занимал солдатский духовой оркестр и причём тут Толя. Музыкантом он не был, впрочем, чем чёрт не шутит – говорят же, что талантливый человек талантлив во всём. Но вот что довольно отчётливо, в деталях запомнил – это эпизод с пьяным солдатом, который ввалился на танцплощадку с гранатой в руках и уложил на не очень чистый настил танцпола всех – и девушек в нарядных платьях, и их бравых кавалеров, и музыкантов вместе с их трубами. Чем это всё кончилось, помню не очень, кажется, пришёл патруль, повязал агрессора вместе с его оружием массового уничтожения.

От этих боевых воспоминаний в памяти осталось мажорное настроение молодого, раскованного рассказчика, только что оставившего казарму с её мрачным, часто бессмысленным, а то и унижительным бытом. Поэт и казарма, поэт и армейская муштра – есть ли вещи более несовместные? Тем радостнее ощущение вновь обрётённой свободы, которой Толя щедро делился с нами.

Но это всё были эпизоды в нашей пестрой молодой жизни, богатой на знакомства и общение, на вольный трép и серьёзную работу, на многие открытия и первые горькие потери.

Самая страшная из этих потерь обрушилась на наши склонённые головы, когда мы все вместе, как одна семья, пережили гибель Сани Вампилова.

В серый дождливый августовский день Иркутск провожал в последний путь своего любимого сына, и взрослые мужики плакали, не стесняясь слёз, а женщины просто рыдали. Несколько позже туда же, на радищевское кладбище, отправился и крестный отец Толи в купели иркутской литературы Женя Раппопорт, который надолго, почти навсегда подарил его Иркутску...

Едва ли Толя был близко знаком с Сашей Вампиловым. Но он хорошо понимал масштаб его таланта, широту и глубину его личности. Потому на уход Сани Анатолий откликнулся печальным, трогательным и мудрым стихотворением.

*И отмеривши шагами
краешек земли,
мы однажды вместе с вами
полночь перешли.
Александр Валентиныч,
Саня – на часок...
Август спелой паутиной
холодит висок,
чтобы виделось не боле,
чем тому окну,
что глазами – на поле,
а зрачком – в страну,
чтоб стакан вина сухого
и полночный час
через песенку Рубцова
рассмешили нас...
И смеёмся мы, и плачем,*

*зная наперёд:
будет смерть, потом – удача,
не наоборот...*

В те годы, в молодёжкинскую эпоху на Киевской №1, я мало, почти не помню Толю – мы существовали вместе, но порознь. Вспоминается эпизод, связанный не с Толей даже, а с его стихотворением, которое называлось, кажется, «Лошадь» (сколько не искал его сейчас по сборникам, в интернете – не нашёл).

К тревожным звонкам из типографии мы привыкли. Они, как правило, начинались одинаково: «Лито снимает...»

Что такое лито – многие подзабыли, а молодёжь, слава Богу, не знает. Это чудище, которое было «обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», имело, как подобает любому уголовнику, несколько кликух – оно называлось не только «лито», но и «обллит», кроме того, имело ещё и родовое имя, длинное, неуклюжее и лукавое – «Управление по охране государственных и военных тайн в печати». На самом деле все, кто от этого зверя страдал, знали, что, по сути, оно должно называться одним коротким и всем понятным словом – «цензура».

Так вот, однажды в редакции раздался звонок, и дежурный по номеру сообщил: «Лито снимает стихотворение Кобенкова. Дежурный цензор говорит: ничего не знаю, решайте с Козыдло». Козыдло – такую замысловатую фамилию носил главный в области хранитель всех тайн, которые мы в каждом номере норовили разгласить. Звали его Николай Григорьевич. Он был пышноволок, белоснежно сед, черноглаз, страшно обходителен и лукав.

Я отправился в его очень секретные чертоги, благо они были рядом, только улицу перейти.

«Голубчик, – заворковал он в ответ на моё недоумение, мол, какие тайны мы разгласили в стихах, – вообще-то я могу вам

и не объяснять, есть у меня такое право... но так как я к вам и к вашей газете хорошо отношусь, извольте... Ну, как же вы сами не видите? Вот эта строка: «Лошадь как памятник павшим»... Ведь это кощунство – сравнивать какую-то клячу с памятником павшим советским воинам». – «Позвольте, – попытался возразить я, – а где тут написано про советских воинов?» – «А каким павшим, если не советским воинам, у нас ставят памятники?» – парировал мой выпад главный цензор. – «А почему вы решили, что это – у нас? – дебри, в которые я сам себя загонял, становились непроходимыми. – Может, автор имел в виду погребения римских легионеров или солдат Наполеона?»... Я, в общем-то, понимал, что горожу несусветную чушь, но остановиться уже не мог. С волками жить...

Словом, это была игра в одни ворота, причем, в мои. Главный цензор постепенно включил всё своё обаяние, усыпил меня, убаюкал, и я вышел за дверь даже умиротворённым. И только там, за дверью, сообразил – так ведь я ничего не добился!

Когда Толя спросил, почему его стихотворение не пошло, я ответил одним словом: «Козыдло...» Толя понял: в советской действительности все мы помнили поговорку про плетёшь и про обух. Но плетёшь-то никакой не было, а вот обух был, да не один.

«Позови меня, родина»

Довольно долгое время наши с Толей дороги или совсем не пересекались, или пересекались пунктиром. Но наступило время, когда они пошли рядом, и больше мы не расставались до его ставшего роковым отъезда в Москву.

Я уезжал в Среднюю Азию, вернулся... Работал в телевизионном кино... Толя тем временем опять оказался в «Молодёжке», где собралась хорошая молодая компания, от тех, с кем я успел поработать, остались, пожалуй, лишь

Борис Ротенфельд, Олег Желтовский и Люба Сухаревская. Вот тогда и я, поскитавшись по стране и разнообразным конторам, сделал попытку снова вступить в ту же реку. Правда, «река» стала несколько другой – газета лишилась клейма «Орган Обкома ВЛКСМ», а заодно – возрастного ценза для сотрудников, потому моё возвращение стало возможным.

Я вернулся в свой кабинет заместителя редактора, который не без сожаления покинул двенадцать лет назад.

А напротив, через коридор, за дверью с табличкой «Отдел пропаганды и агитации, литературы и искусства», работали два человека, быстро ставшие мне родными, близкими сначала по интересам, а потом, до самого их скорбного ухода – и по душе. Это были Люба Сухаревская и Толя Кобенков.

Девяностые годы обзавелись стойким эпитетом «лихие». Сейчас многие во всех бедах винят демократов, а также Горбачёва и Ельцина... Их клеймят за многое – за развал экономики, системы образования, здравоохранения и так далее. У меня на это есть другая точка зрения, я уверен – то, что с нами произошло, суть последствие господства тоталитарного строя, которое мы и сейчас не преодолели. Ведь хрестоматийных моисеевых сорока лет ещё не прошло, к тому же многомиллионный народ в пустыню не уведешь, никакой пустыни не хватит.

Но вот что в девяностых несомненно было, так это свобода слова и печати. Клятая цензура приказала долго жить, партийные надзиратели тоже исчезли, а про грядущий диктат тугих кошельков мы пока не догадывались, да и «красным пиджакам» было не до нас – до поры, до времени. Правда, я, например, ещё долго изживал в себе внутреннего цензора, он порой хватал меня за руку – это нельзя, то рискованно... Но более молодые коллеги купались в этой свободе, как в прохладном оазисе после жаркого дня.

Толя, несомненно, был одним из самых бесстрашных пловцов в этих водах. Ещё и потому, что он и раньше, особенно в стихах, не очень оглядывался на власть. Разве что с иронической усмешкой, а то и с улыбкой посылая её, власть, на три буквы. Однако это вовсе не значит, что власть не оглядывалась на него – смотри выше эпизод о Козыдло.

Снова и снова листаю страницы его поэтических книг, нахожу в них что угодно – вёсны и осени, смешных и мудрых евреев, тихие улочки местечек, сотню дятлов и одного сверчка, непридуманного кузнечика, любимого пса, множество женщин... Но ни одного кивка, взгляда в сторону идеологии, ни одного намека на тех, кто столько лет правил нами... И никакого пафоса – он чужд его почти интимным интонациям, адресованным не столько холодному рассудку, сколько душе. Может быть, кому-то захочется усмотреть некую выпренность в строках, которыми кончается одно из его ранних стихотворений: «Позови меня, родина, если что – позови...». Но чтобы понять, о чем эти слова, надо прочесть его целиком.

Вот оно:

*Лист легко и торжественно
превращается в дым...
Верю птицам и женщинам,
и поэтам своим.
Верю детскому лепету,
я над ним не смеюсь,
я когда-нибудь к этому
непрерывно вернусь.
На смешном пароходике
на осенней реке
я проснусь возле родины
с сединой на виске.
Обниму её, тихую,*

*и душой и строкой
с некрасивыми птицами,
с неизвестной рекой,
с тишиной огородною
и ромашкой в пыли...
Позови меня, родина.
Если что - позови...*

И где тут пафос? Он растворился в дыме от сгоревшего листа, его расклевали некрасивые птицы, заглушил детский лепет и огородная тишина, он отстал от смешного пароходика, утонул в осенней реке... Это место, где родился Поэт и к которому он хочет вернуться с сединой на виске. Место, к которому все мы стремимся прийти, но не всем выпадает это тихое счастье.

Родина, которую теперь называют малой... А какая ещё? Ясно, что это не та Родина, которую мы пишем с большой буквы, которой посвящены торжественные гимны и парадные марши... Та, другая Родина – что-то неоглядное, неохватное, что если и можно любить, то только встав по стойке смирно, пытаясь не слушать дважды перелицованный гимн. А вот место, единственное для каждого из нас, требует внимательного, любящего взгляда и памяти, которая более всего присуща хорошим поэтам. Таким, как Толя.

*...Там кот любил любоваться мышкой.
Там уж вылакивал молоко.
И было грустно с хорошей книжкой
проститься враз, а с плохой – легко.
Там говорили, что жизнь – «что дышло»,
а вместо «срам» говорили «страм»,
и в каждом доме был коврик вышит:
над речкой храм, да и в речке храм.
Там пели мало, грустили множко,
случались смерти, гудела пьянь.*

*Там на окошках сидели кошки
и голубая цвела герань.
А девки там ну не то чтоб крали,
но все в них было – и там, и тут;
мы их хотели – с собою звали,
сперва откажут, потом придут...
Там я в учительницу влюбился
и написал ей: «Ай лав Вас эм».
Зачем я жил там? А так – родился.
Зачем уехал? А ни за чем.*

Пространство Кобенкова

Но вернёмся в девяностые...

Вновь обретенная мною «Молодёжка», которая ещё при мне переехала с Киевской №1 на куда более уважаемый пятый этаж Дома печати на Первой Советской, почти полностью изменила облик как издания, так и сотрудников. Кроме того, долго копившаяся энергия, как пар, посрывала заглушки и вырвалась наружу.

Позиция издания была чётко определённой, её можно выразить словами из песни кумира молодёжи Виктора Цоя: «Перемен, мы ждём перемен!»

Перемены творились кругом, но всего этого было мало, мало, мало! Газета выражала интересы и ожидания своих единомышленников, а их оказалось множество, и потому это был пик существования «Молодёжки» – тираж зашкаливал за сто тысяч и даже оставил далеко позади партийную газету, которая по инерции считалась главной в Иркутской области.

Иркутская «Советская молодёжь», ни минуты не сомневаясь, во время августовского путча 1991 года встала на сторону противников ГКЧП, что было отважным поступком – никто не знал, куда качнётся чаша весов, тем более что среди

путчистов были руководители всех силовых ведомств. Слава богу, всё пошло не по их сценарию...

В эти серые, дождливые тревожные дни мы почти не уходили из редакции, ели что придётся, спали где падали, много курили – натянутые нервы требовали хоть какой-то компенсации. Не все, конечно, в основном, несколько человек, кто должен был брать на себя ответственность – редактор, заместители, ответсек.

Толя не входил в этот круг, но он всё время был с нами, готовый делать любую, самую малую газетную работу. Не знаю, как другие, но я всегда ощущал его рядом, и от этого становилось легче... Я был в редакции старше всех по возрасту, и в эти дни постоянно думалось – если что случится, что будет с женой, детьми, внуками? Наверное, об этом же, о близких людях, думал и Толя.

Но эту тучу пронесло мороком. И мы оказались в другой стране, где можно было жить по-другому и дышать по-другому. Наконец-то каждый из нас мог определить себя в пространстве профессии самостоятельно, конечно, в рамках общей концепции газеты, но рамки эти были достаточно широки.

Я, к примеру, поначалу несколько растерялся, не сразу понял, что мне делать в этом новом для меня пространстве кроме обязанностей, которые диктовались должностью. Пока не заработало воображение и не подсказало несколько новых рубрик, в которых я, правда, исполнителем не был, скорее, «организатором и вдохновителем». А исполнителями были молодые коллеги, в основном девушки – Ирина Леншина, Елена Смирнова, Евгения Матапова, Ольга Куклина... Они резвились от души! Очень популярными стали розыгрыши – девчата мыли бюст Ленина, ловили на улице около ЗАГСа молодых людей и умоляли каждого заменить сбежавшего жениха, чтобы спасти невесту от позора...

Поддавшись моде, объявили конкурс двойников, и к нам явилась Маргарет Тэтчер из Шелехова, помолодевший Юрий Ножилов из Ангарска. Бориса Ельцина Лариса Ланкина обнаружила на соседней даче. «Дорогой Леонид Ильич» явился сам – это был в прошлом гражданский лётчик Борис Макарович Макаров, ставший на долгие годы нашим приятелем и моим персонально.

Но мы не только развлекались и развлекали читателя, серьёзные темы, в том числе и политика, газете были не чужды. На наши «Прямые линии» охотно приходили не только руководители области – Ножилов, Яковенко, Говорин, но и политики российского масштаба. Первый из них – вы не поверите! – бывший генсек КПСС и президент Российской Федерации Михаил Горбачёв, затем генерал Лебедь и Григорий Явлинский, офтальмолог Станислав Фёдоров, главная женщина России Екатерина Лахова, забытый нынче Николай Травкин...

Я писал словесные портреты местных лидеров... Леонид Гунин придумал и осуществил «Политический ринг», на котором сходились областные и заезжие представители разных партий и взглядов...

А что же Толя? У него было своё пространство – это просторы Библии: благодатный уголок Эдема, а также древних территорий Египта, Иудеи, Иордании, Сирии – практически всего Ближнего Востока. Он брёл за Моисеем по Синайской пустыне с надеждой обрести землю обетованную... Вместе с рыбаками Андреем (которого потом назовут Первозванным) и Петром тянул тяжёлые сети из глубин Генисаретского озера... Окунался в животворные воды реки Иордан... Стоял в толпе встречающих Иисуса Христа при входе в Иерусалим. Словом, он, человек православный, искренне верующий, давно и внимательно читающий Священное Писание, получил возможность на

страницах газеты, которая ещё недавно была комсомольской, поделиться своей верой и знанием, изложить её символы и сюжеты в доступной форме для тех, кто только задумывался над тем, что есть Бог. Рубрика «Дни лета Господня» жила довольно долго. А потом воплотилась в книгу, замечательно оформленную Толиным другом художником Александром Шпирко.

Но даже эта тема, которая кажется всеобъемлющей, была для Толи тесновата. При всей истинности веры, он не был религиозным фанатиком, просто не мог им стать по уровню интеллекта и таланта. Библейские персонажи – Моисей, Иов, Иосиф и Мария, Иисус Христос, Андрей, Пётр, Матфей и другие апостолы – были для него не застывшими ликами с икон, а живыми людьми. Он жил среди них, и они жили – в его стихах.

Да, он был человеком верующим, воцерквлённым, знал Священное Писание получше иных клириков. При этом вовсе не замыкался на догматах одной только православной церкви.

Католический пастор отец Игнаций, весёлый человек с внешностью бравого солдата Швейка, был его добрым приятелем и частым гостем в Доме литераторов на улице Дзержинского.

По просьбе сибирского католичества Анатолий Кобенков написал текст драматической мистерии «Благодарение Заступнице» (в театральной версии она называлась «Аве Мария»). Музыка была написана Владимиром Соколовым, сценическую постановку в новом католическом храме создал друг Толи режиссер Вячеслав Кокорин. Я был свидетелем этого события. Костёл был забит до отказа, и отнюдь не только католиками, многие известные деятели иркутской культуры были там. Не буду давать никаких оценок, скажу только – для меня это событие стало самым глубоким

эстетическим впечатлением начала нового века. После Иркутска мистерию увидели зрители Томска и Москвы, она вышла отдельным печатным изданием, её благосклонно оценил папский нунций.

Да, мир Кобенкова, при всей его вере, был намного шире и глубже даже Священного Писания. Толя знал не только столбовые дороги, но и просёлки, тропинки и закоулки поэзии. Народные песни, частушки, в том числе и озорные, тоже были ему не чужие. Хороший анекдот, забористая байка – и это он, человек весёлый, любящий хорошую компанию, застолье, красивых женщин – тоже способен был оценить – и ценил.

Было дело, я соорудил в «Молодёжке» весёлую «Завалинку» и надолго присел на неё. Тут же ко мне со всех волостей стали сходить любители и знатоки народных песен, частушек и анекдотов. Столько писем я не получал никогда – от этого моего занятия осталось четыре толстенных папки, тесёмки на них невозможно было завязать. Наступило время, когда мне показалась, что я себя в качестве хозяина «Завалинки» исчерпал и решил уступить место на ней Толе. Он это место принял охотно. И эти посиделки сразу стали другими. Если я ограничивался на каждой встрече одним жанром – песней, частушками или анекдотами, то Кобенков затеял весёлую кутерьму – перемешал всё, что было у меня и добавил пословицы, поговорки, байки, брошенные мимоходом шутки, цитаты из речей наших вождей, которые, сами не желая, подчас смешили народ так, что все юмористы могли отдыхать. И народ на нашей «Завалинке» задышал совсем по-другому. Не мне судить, лучше, хуже ли, но что – по-другому – точно.

То, что Толя знал не только общедоступные апартаменты поэзии, но её тёмные, до поры наглухо закрытые чуланы, подтвердилось тем, что тогда же, в начале нового века он

был одним из составителей сборника «Русская эротическая литература XVI–XIX вв.», в который вошла закрытая, но в тоже время широко известная практически всем, от школьника до партийного руководителя, поэма Ивана Баркова «Лука Мудищев». Она ходила в отрывках, в вольных переложениях, искажённая, её относили к устному народному творчеству, приписывали многим поэтам, в том числе Пушкину, но имя истинного автора было известно немногим.

Открытое её издание было не только сенсацией, но и поводом для попыток (безуспешных, к счастью) ущутить составителей, прежде всего Кобенкова. При ГУВД Иркутска тогда существовал комитет по защите нравственности, единственное, между прочим, такое подразделение в России. В народе его тут же называли «полицией нравов» (какая полиция в состоянии укротить непредсказуемые российские нравы?) Вела иркутян к сияющим нравственным высотам дама с серьёзными погонами полковника милиции, но с несколько легкомысленной фамилией Черноусикова («где вы теперь, кто вам целует пальцы?»), которая в поэзии, по некоторым наблюдениям, выше обожания виршей Эдуарда Асадова не поднялась. Предпринятое дамой-полковником нападение на Кобенкова окончилось, кажется, боевой ничьей. А вскоре исчезли сами блюстители иркутской нравственности во главе с предводительницей.

Дорогой длинною...

А в 1998 году не стало и нашей любимой «Молодёжки» – она слилась с «Номером один» и растворилась в нём. Мне, как и Толе, стало там нечем дышать, и мы ушли.

Меня надолго приютило агентство «Комсомольская правда-Байкал», а судьба распорядилась так, что под этим гостеприимным кровом мы снова объединились с Толей одним делом. Не скажу, что это была высокая журналистика

и тем более литература, скорее ремесло и зарабатывание средств к существованию: мы писали заказные книги о делах и людях тех предприятий и территорий, которые способны были эти негодии оплатить. Разумеется, это было не творчество, скорее применение ремесла (которое, как известно, не пропьёшь). За эту работу мне, как минимум, не стыдно – она ничем не хуже газетной подёнки, которой я занимался более полувека. Толя – поменьше, иначе как бы он написал свои двенадцать книжек, по Бабелю – двенадцать «петард, начиненных жалостью, гением, страстью...» (Если кому-то оценка «гений» покажется завышенной, пусть заменит её на «талант». По мне – в самый раз...)

Мы писали очерки о свинарках и птичниках, о людях, которые производят майонез и маргарин, о работниках нефтебаз, о жителях Слюдянки и Байкальска, о тружениках почты. О представителях этой старинной профессии, воспетой во многих песнях, писать было интересно. К тому же эта работа свела нас с Толей в длинной поездке, которая осталась в памяти не столько событиями, сколько впечатлениями от общения.

Начиналась эта поездка хотя и буднично, но тревожно. Рано утром мы с Толей пришли в областное управление почтовой связи. Нам представили шофера, с которым предстояло одолеть расстояние от Иркутска до Тайшета, дальше – от Тайшета до Братска и оттуда до Иркутска (только что подсчитал, сколько мы тогда проехали – получилось 1500 километров. Точно такое же расстояние отделяет, например, Москву от Бухареста).

Транспортное средство, которое было предоставлено нам, доверия не внушало – это был видавший виды «Жигулёнок» отнюдь не последней модели. Уж лучше бы мы ехали тройкой почтовой. Но особенно огорошил разговор с водителем, довольно молодым мрачноватым мужиком. Кто-

то из нас спросил: «Ну как, подготовили машину к дальней дороге?» – «Когда? – ответил парень, не глядя на нас. – Меня только вчера на работу приняли». Мы переглянулись, но ничего не сказали, мечта о почтовой тройке стала ещё привлекательней. Поняли – другого транспортного средства нам не подадут. Когда нет гербовой... ну, дальше вы сами знаете.

В общем, поехали. Вырвались из тесноты иркутских предместий, миновали Ангарск, Усолье, взяли курс на Черемхово. За ним Кутулик, посёлок, в котором навсегда поселилась память о Саше Вампилове. Странно, что в моей памяти эти два таких разных образа – Сани и Толи – иногда путаются и даже меняются местами. Что-то их всё-таки роднит, может быть, открытость для дружеского общения или мера таланта...

Нас встречали печальные, но празднично-яркокрасочные, пейзажи умиравшего лета. Впереди предстояли свидания с несколькими Чулимсками – маленькими притрассовыми городками и поселками, похожих на большие деревни – околицы их убегали в грибную и ягодную тайгу, в палисадниках доцветали астры, георгины, золотые шары, на скамейках сидели старики и старушки, катая в беззубых ртах заграничное слово «дефолт» – вступала в свои права тревожная осень 1998 года.

Залари, Зима, Нижнеудинск, Куйтун, Тулун, Тайшет... названия, родные для жителей Иркутской области, но такие непривычные для слуха приезжего. Городки и посёлки, так похожие друг на друга, но каждый со своей особенностью, а для кого-то, как Кутулик для Вампилова, единственные в судьбе... Их пересекали реки, они казались медлительными, забывшими весенние паводки... Этим рекам предстоял долгий зимний сон. Укрывшись от свирепой стужи надежными одеялами из ледяного панциря и пухлых сугробов, они будут

спать и видеть сны о весенних разливах и добром солнышке, которое прогреет их воды, чтобы ребятишки могли в них купаться весело и озорно. Их имена складываются не то в сюжеты, не то в предчувствие стихов... Сначала они как междометия, их названиям хватает двух-трёх букв: Ия, Ока, Уда... Потом они тѣзки стоящих на них городов и посѣлков: Зима, Залари... И, наконец, загадочные: Муксут, Бирюса... Впрочем, последнее название когда-то знала вся страна – песню «Там где речка, речка Бирюса» пели молодой Иосиф Кобзон и Майя Кристалинская...

Все эти посѣлки и городки слились в памяти, перепутались. Так получилось, что встречались мы в основном с ветеранами, для которых беспокойная почтовая работа ушла в далѣкое прошлое, тяготы – длинные дороги почтальонов, ночные бдения телеграфистов у ненадёжных аппаратов Бодо, муторные соединения междугородних телефонных разговоров – народ нервничает, телефонисты охрипли, пытаюсь докричаться до какого-нибудь Каширина...

Эти подробности приходилось вытягивать из слабеющей памяти собеседников (преимущественно собеседниц), но им вспоминались какие-то парадные события – праздники, вручения наград от почѣтных грамот районного начальства до медалей и орденов от родного советского правительства. Но что-то, какие-то интересные сведения для будущих очерков добывать удавалось. Все эти беседы, как правило, заканчивались вольными застольями – стол накрывался на дворе, благо погода всё время шептала сами знаете что, старушки скромно хвалились соленьями и вареньями («Ешьте, ребята, вдоволь, чай, не магазинское, не покупное, всё со своего огорода, вот этими руками выращенное»); старички – домашними настойками и наливками («Это вам не заводская химия, всё чистое, натуральное, с ног не валит и голова наутро как стекло»).

Но у нас с Толей было ещё время для общения – дорога и длинные вечера, чтобы говорить обо всём, от стихов Бродского, Лены Шерстобоевой и от песен Высоцкого до реформ Ельцина и приватизации Чубайса...

Слово «дефолт», тяжёлое, как удар большого колокола, сопровождало нас, но если мы о чём и тревожились, то о всеобщей российской судьбе, о новом испытании, которое выпало людям. Наши личные судьбы не очень беспокоили, мы уже повидали всякое – и пережили. Это, во-первых, а во-вторых, терять нам было нечего, мы не накопили ничего. Были прогулки по тихим, почти безлюдным улочкам, вдоль домов и домишек, они молчали, затаившись, даже окна далеко не везде светились.

В каждом посёлке и городке мы находили церкви, старые и недавно восстановленные. В этих тихих, как и места их обитания, храмах, было также малоллюдно, даже безлюдно, как на улочках. За стенами церквей молчали даже деревья, на их стенах говорили иконы, самыми говорящими были глаза святых.

Я почти всегда останавливался на пороге, разве что делал два-три шага, чтобы рассмотреть эти иконы и стены. Толя проходил внутрь, с поклоном, перекрестившись.

Мне врезался в память, как кадр из фильма, один его разговор с молодым священником. Я, как всегда, остановился поодаль от них. Однако наблюдал, как они встретились, трижды облобызались, а потом долго тихо беседовали. Этот разговор, который я видел с отдаления, показался мне похожим на иллюстрацию из Священного Писания – скупой освещенный храм, хотя свечи ещё догорают, святые строго смотрят с икон, в центре этой композиции священник беседует с путником, пришедшим издалека.

Последняя точка этого отрезка пути – Тайшет. Здесь уже – никакой благодати и тишины, которые мы оставили в маленьких городах и посёлках. Тишина, впрочем, была, но

она вызывала тревогу. Это было молчание разбойничьей ночи. Такое впечатление усилилось ещё и тем, что работники почты успели сообщить нам, что прошлой ночью лихие люди начисто собрали обильный урожай с дачного огорода... думаете, чей это был огород? Да всего-навсего районного прокурора.

В большой гостинице, где мы заняли два номера, царила гулкая пустота. Когда мы вышли на привокзальную площадь (она освещалась одним-единственным фонарём) и оглянулись на место нашего временного пристанища, в нём на все четыре этажа светилось, кроме наших, только одно окно.

Перрон тоже был скудно освещён – только светом из киосков. А в них, в этих киосках, среди прочей мелочи поражало изобилие ножей, больших и маленьких. Это были, наверное, кухонные и перочинные ножи, но они вполне могли стать орудием преступления. «А что, всё логично, – мрачно пошутил Толя, – покупай ножики, а потом встречай пассажиров очередного поезда и – гоп стоп не вертуйхайся!»
Ночь, слава богу, прошла спокойно.

Солнечное утро все наши страхи и фобии сделало смешными. К тому же пришли несколько симпатичных женщин с местной почты, которые принесли нам не только нужные для работы сведения, но и довольно много домашней снеди и овощей, чтобы мы не голодали по дороге до Братска. Это примирило нас с городом Тайшет, который вовсе не виноват в том, что мы посетили его в тревожное лето 1998 года, в эпоху перемен, которые, впрочем, в России никогда не кончаются.

От Братска до Покосного

Дорога до Братска ничем особенным не запомнилась, разве что завтраком на берегу речки, названия которой мы не знали. Да ещё тем, что природа вдоль дороги менялась почти на глазах, как меняются кадры в кино – краски становились

всё роскошней. Нам повезло, мы застали тот краткий миг, который Пушкин определил, как «пышное природы увядание». Это пиршество красок впитывали всё под ту же музыку – Моцарт и Вивальди очень монтировались с печальным буйством осени.

Братск я пропущу почти так же, как и дорогу к нему, уж больно урбанистические и индустриальные пейзажи не связывались с осенним лесным пиршеством красок. Мы сразу оказались в здании главпочтамта, где нас ждали персонажи будущих опусов. Оттуда в гостиницу на ночлег, рано утром – в обжитые нами сидения «Жигулей». Взяли курс на Иркутск. Желательно – без остановок. Признаться, изрядно устали – и от дальней дороги, и от довольно однообразных рассказов.

Без остановок не получилось. Наш конёк, который выдержал такую длинную дорогу (не всегда ровную, кстати), вдруг зауросил: лопнула какая-то тяга. Судьбе понадобилось распорядиться так, что встали мы не где-нибудь, а у столба с табличкой «Село Покосное», а этот скромный населённый пункт когда-то был известен чуть ли не всей России благодаря песне Пахмутовой и Добронравова «ЛЭП-500»: «По ночам у села Покосного хороводят берёзки с соснами...» Но было не до песен – 500 километров до дома мы только разменяли.

До села кое-как дотянули... Был выходной, но наш молчаливый водитель где-то нашёл смотровую яму, а также сварщика, который, на удивление, оказался трезвым. Спецы принялись за работу, а мы с Толей пошли бродить по селу. Оно оказалось довольно чистым, старинные дома не несли печати разрухи, дворики, в которые мы совали любопытные носы, были аккуратно прибранными. На лавочках сидели привычные старушки, стариков почему-то не было.

Но одного мы всё же обнаружили – на лавочке около добротных ворот, украшенных резьбой и свежеекрашенных

зелёной краской, сидел старичок, малый ростом, но широкий в плечах и в животе. Его большое лицо было ничем не примечательно, разве что здоровым загаром и роскошной черной с проседью бородой. Внимательные, с хитроватым прищуром глаза мы заметили позже.

Он заметил нас сразу. Мы его тоже. Поздоровались первыми. Он вскинул на нас глаза, как будто прицелился.

– Здорово, здорово, – откликнулся старичок, показалось, что в свою роскошную бороду он спрятал усмешку. – Ну, садитесь, рассказывайте, кто такие, чьи будете.

– Да вот, ехали мимо, – ответил Толя, – да машина сломалась. Но для вас это не должно быть в диковинку, на тракте живете...

– На тракту, это верно, – охотно откликнулся старик, – да только сейчас редко кто останавливается, эти иностранные машины несутся, глазом за ними не уследишь. А уж остановиться, словом перекинуться – куда там!

– А чего это, отец, – спросил я, – вроде выходной, а село как вымерло? Молодёжи не видно. На лавочках одни старушки... Из мужчин только вас одного и встретили.

– Да откуда им, молодым, взяться, – охотно, как будто ждал этого вопроса, ответил старик, – чего им тут делать? Был леспромхоз, да сплыл – банкротом стал, раньше мы такого слова не слышали. Мужики все по городам разбежались, кто в Братск, кто в Тулун, кто и до Иркутска добрался. А мои ровесники, почти все, за околицей на погосте. Почему-то на нашего брата мужика мор нашёл. С чего бы это, может, вы, городские, знаете? Девки, известное дело, кто в города за парнями, а какие и сами по себе подолами метут. Остальные парни – кто спился, кто по тюрьмам... Некоторые тут допивают. Этим на улице неинтересно, разве что до лавки за

бутылкой. А так дома квасят. Да их всех по пальцам можно пересчитать... У Решетниковых, третий дом отсюда, двое, одному, поди-ка, за тридцать, второму поменьше... У них в основном и пьют, все туда тянутся, как гуси. Вот через дорогу Санька Чертовских, на шее у матери сидит, здоровый балбес. Чуть подальше – Витька Колмаков, такой же бездельник. Да ещё пара-тройка... И где только деньги берут – не работает ведь никто. Решетниковы, те материну пенсию пропивают – она уже с ними от греха пропала. Кто в Братске, бывает, приезжают на выходные родителей навестить. А так... В армию уйдут – никто не возвращается. И то – чего имя тут делать?

– Но ведь была же тут жизнь, – в голосе Толи я почувствовал волнение, – вон и леспромхоз работал, и лэповцы стояли. Песню-то вся Россия знала – «По ночам у села Покосного хороводят берёзки с соснами». И вы, наверное, слышали...

– Слышали, как не слышать, – взволновался и старик, – да ладно бы только берёзки с соснами хороводили... А то ведь эти лэповцы тут такие хороводы водили... Молодые, шустрые... Всех девок, почитай, у нас перепортили, редко кого с собой увезли, в основном тут бросили, какие исчезли невесть куда. Дрались мы с ними, да разве нам, деревенским, с ними совладать? Да и больше их... Да ладно, вообще-то хорошее время было, – неожиданно разулыбался он, – это я уж так, по стариковскому делу разворчался. Девки – что девки? Они для того и приспособлены... Если у какой голова на плечах, та себя соблюдёт. Если вертихвостки – чего об них зря язык трепать? Подраться парням – кто не дрался? Это уж совсем какой-нибудь мамкин сын... А так – каждый выходной в клубе танцы, песни, когда и какой концерт приедет... В общем, жизнь была... жизнь...

– А сейчас как живёте? – спросил я.

– Да как, нормально живём, – успокоился он, – войдите во двор, посмотрите – всё чисто, подметено, прибрано, огород содержим, курей, борова откармливаем, по осени заколем. Старуха вон что-то прихворнула, а так мы ещё в силе. Пенсию получаем, когда овощей с огорода на тракт вынесем, продадим... Какая-никакая, а денежка. Сын в Братске инженером, не забывает, приезжает с семьёй, с невесткой, с двумя мальчишками, большие уже. Когда деньгами помогут, когда по хозяйству...

– Один сын? Чего так мало родили? – улыбнулся Толя.

– Был ещё один – да сплыл, – старик помрачнел.

– Не хочется – не говорите...

– Да чего уж там... С кем и поговорить, как не с проезжими – вы сейчас здесь, а машину наладят, ваш и след простынет... А я душу выговорю... В общем, так... Коля у нас был парень хороший, учился получше Андрея, старшего. Школу кончил, почитай, на одни пятерки. Поступил в Иркутске в институт, на геолога учился. Сначала летом на каникулы приезжал, потом перестал – практика у них была, в экспедицию ездил. Но зимой бывал... Попивать стал. Мы с матерью друг друга успокаивали: какой мужик не пьёт, да ещё геолог. Потом всё реже приезжал, а потом... И письма перестали приходиться. Мы уже все жданки съели, на дорогу устали смотреть... Собрался я, поехал. Не ближний свет... нашёл общежитие, нет его там. Ребята глаза прячут, говорят, на квартиру переехал... В институте дошёл до начальства, а они мне – как обухом в лоб: не учится здесь ваш сын, давно отчислили. Пошёл я не знамо куда, да на крыльце догнал меня парень из общежития, говорит – мы вас расстраивать не хотели... спился ваш Коля, учиться бросил, из общаги выгнали. Видели его с бичами то на вокзале, то на рынке. Поехал я на вокзал, на рынок... Да разве там кого найдешь, народу полно, тех же бичей... Так и уехал ни с чем. Ехал, всё голову ломал – как матери скажу? А куда деваться – сказал... Поревела она, как по покойнику, свалилась, болела долго... Однако надо дальше жить. Поначалу в розыск подавали, да разве они,

милиция, искать станут? Походил к ним, поездил, а они только и твердят: где искать, страна большая... И вот скажите вы мне, где наш Коля, какая корова его языком слизнула, какая беда извела – не война ведь, не голодуха? Лучше был умер, на могилку бы пришли, помянули. Да что там... пойдём-ка, лучше, мужики, во двор, там у меня стол на воздухе, а самогонка чистая, как слеза...

Я, грешным делом, испугался соблазна – всю дорогу без этого обходились, лучше бы не начинать. Но тут кстати наш синий жигулёнок на дороге замаячил...

– Извини, отец, – сказал я, – ехать надо. Дорога длинная, надо бы дотемна домой добраться.

– Ну что делать, вольному воля, спасённому рай. А то, может, зайдёте на полчаса?

– Извини...

Дорога домой получилась грустной. Всё дольше молчали да дремали – поднялись рано. Только однажды Толя сказал: «Что же за страна у нас такая? Куда ни ткни, везде болит...»

Кругом всё так же роскошно догорало лето, всё так же светило солнышко, скатываясь в вечер, но поехала вместе с нами до дому грусть, от которой не так просто избавиться.

Вот такая получилась у нас длинная командировка, как будто пол-России проехали. Потом я нашёл у Толи стихотворение, в котором мне откликнулись эти дни на закате лета. Хотя вряд ли оно было написано под влиянием этой поездки – реалии другие. Но разве к настоящей поэзии можно примерять реалии? В Толиных стихах множество загадок, только отгадывать их не стоит, начнёшь этим заниматься, примерять стихи к законам формальной логики – вся магия поэтического слова пропадёт, рассыплется в прах.

*Станции, посёлки, города,
я ещё люблю вас иногда...*

*Мужичок, который с ноготок,
пятачок, который из-под липы
выглянет, и вот уж городок
запропал – ни закусить, ни выпить.
Свешусь с полки – спутаюсь с рекой,
спрыгну с полки – спутаюсь с другою,
поле овсяное под щекой,
поле аржаное под рукою...
Промеж тучек – вёдра "журавлей",
на заборах – вёдра под посолы...
Станция: по рюмочке налей,
наливай по краешек: поселок.
Грудь раскрою – прыгайте сюда,
улицы, поселки, города.
Жить бы так, как этот, чтобы – с той,
думать так, как эта, чтоб – как эти:
с огурцами в – драповом пальто,
скараулив поезд на рассвете,
торговаться, выручку считать,
жмуриться, томиться недостатчей,
жулить Приму и передыхать –
по макушку в радости собачьей.*

Как горела и погасла «Зелёная лампа»

Настало время вспомнить о том, как мы жили в доме литераторов имени Марка Сергеева по улице Дзержинского. Приступаю к этому с трепетом – это был один из самых гармоничных, счастливых периодов моей долгой жизни. Жаль, что он так быстро, так трагично закончился.

Когда иркутскому отделению Союза российских писателей отдали этот солидный снаружи кирпичный особняк, внутри он был обшарпанным, холодным и неудобным. Если там до писателей жили какие-то живые существа, так разве что крысы, но и те, наверное, сбежали в поисках корма.

Тут, в этом безжизненном пространстве, неожиданно для всех выяснилось, что Толя, тонкая поэтическая натура, обладает ещё и организаторскими способностями. Вскоре дом преобразился, стал уютным, щеголял современной отделкой, приличной мебелью, кажется, даже фортепиано появилось. К хорошему быстро привыкаешь, скоро все привыкли к уюту в доме.

Ухоженный дом, удобная мебель – всё это хорошо, но, согласитесь, не главное – разве мало мы нынче видим книг, под яркой глянцевой обложкой которых – торричеллиева пустота? В том-то и дело, что эти стены ожили, наполнились содержанием.

Сюда хотелось идти. Тут всегда было интересно. Неважно, был ли ты членом писательского союза или нет, в этом доме всем были рады, и каждый шёл сюда с радостью, в предвкушении новых встреч, содержательного общения, ярких впечатлений. И всегда их находил. Гостеприимный дом задолго до знаменитых нынче Фестивалей поэзии на Байкале (организатором который был опять-таки Кобенков) встречал поэтов Евгения Евтушенко и Юрия Кублановского, прозаиков Павла Крусанова и Михаила Кураева, кинорежиссера Евгения Цимбала...

Проходили чтения имени отца Александра Меня, собирались редакторы литературных журналов Сибири и Дальнего Востока, шёл серьёзный разговор о работе поэтов и прозаиков. Это были гостевые встречи, которые создали известность Иркутскому отделению Союза российских писателей как организации серьёзной, как сейчас говорят, креативной – не только в нашей области, но и за её пределами.

Это были, так сказать, события парадные, гостевые. Но, может быть, даже больше грело душу постоянное

задушевное общение, когда собирались люди свои, близкие...

Вот это были вечера, на которых царил, как выразился первый и последний президент СССР, пир духа, когда ноги сами несли сюда, а расходиться не хотелось.

Приходили наши любимые артисты Виталий Венгер и Виктор Егунов, и начинался весёлый театральный трёп – байки, анекдоты, вспоминались сценические накладки, курьёзные случаи, которых так много в памяти каждого актёра. Замечательный режиссёр Вячеслав Кокорин являлся в окружении толпы молодёжи – это был руководимый им курс театрального училища, и на маленькой площадке нашего дома затевалась такая кутерьма – творилась опера «Тараканище» на стихи Корнея Чуковского – то-то было весело, то-то хорошо! Артистичный, изящный композитор и музыкант Лёня Гефан предъявлял свои песни на слова Кобенкова, Хармса и даже древних китайцев – как же это было здорово, как много всего в них было всего – и мысли, и озорства, и грусти! Католический священник отец Игнаций, небольшой, круглый, вылитый Швейк, только в сутане, заглядывал к нам на рождество и пел замечательные польские частушки, понятные без перевода. И художники, как же без них – выставки живописи и графики менялись каждый месяц, и было весело и легко открывать этот пёстрый мир, да тут же сидели его создатели, а мудрые искусствоведы растолковывали, что к чему...

И за всем этим стоял Толя Кобенков, не один, конечно, вместе с основательным Борисом Ротенфельдом, деловитой Людой Сенотрусовой... в общем, команда была дружная.

В этом же доме родилось дело, которое на несколько лет захватило и меня – газета «Зелёная лампа». Этот светильник должен был освещать культурную жизнь области, это тебе не хухры-мухры!

Начало было непростым, подозреваю, что простых начал вообще не бывает, разве что у каких-нибудь пустячных затей. Первое – никто из нас не хотел быть редактором, своей головной боли хватало. Но эта беда вскоре отпала, нашли топор под лавкой – вспомнили, что рядом с нами живёт Геннадий Сапронов, занимается бизнесом и наверняка скучает по газете. Второе – буквально с первого номера нас стали учить жить и работать, как учил нас великий ... не знаю, кто, потому что величие Ленина к тому времени как-то померкло, а нового кумира не успели создать. Потому щучили как умели. А умели не хуже почившего в бозе обкома партии.

Начиная с первого номера, другого такого события не припомню – нам сразу устроили коллективное обсуждение, точнее сказать – распинание. Нас обвиняли во всех смертных грехах (и как только они поместились на страницах небольшой газеты?) Причём большинство обвинителей газету не успели увидеть, не то что прочитать. Наиболее совестливые из них в этом признавались, что не мешало им пылать к нам праведным гневом. Сейчас даже не помню суть этих обвинений, но мне что-то кажется, что за ними незримо стояло одно, но ужасное: «Не слишком ли много среди вас евреев?» Чистокровных евреев среди нас не было, преобладали «полтинники», но это, может быть, для наших родных антисемитов ещё хуже. Меня же больше всего задела речь товарища по университету Андрея Р., который сказал: «Такое впечатление, что эту газету собралась делать компашка». На что я возразил: «Тебе ли, опытному газетчику, не знать, что лучше всего делать газету именно компанией единомышленников?» Но он мне даже не возразил, не посчитал нужным...

Так мы жили – под пристальным оком недоброжелателей (среди них были и руководители областной культуры, те нас всё перевоспитывали, как малолетних преступников) и

гораздо более многочисленной группы людей, которым мы (наша газета, разумеется) нравились. А нам нравилась наша работа, «компашка» – тоже.

Пришло время назвать её, нашу «компашку». Ядро её составили четыре человека – уже названный мной Геннадий Сапронов, Анатолий Кобенков, великий знаток литературы, драматургии и театра профессор Сергей Захарян и, как говорили и писали в куртуазные былые века, ваш покорный слуга.

Сферы интересов поделили без споров: Сапронов отвечает за всё (он же фотограф и мой личный водитель, где вы видели таких редакторов?), я – заместитель редактора, слава богу, номинальный, без каких-либо административных функций, но главное моё дело – «Территория творчества» – разговоры о культуре городов и районов области, о библиотеках и музеях, далеких от областного центра, о народных театрах, живущих в глубинке (например, в Голумети). А ещё – очерки о людях, которые создают новую действительность и красоту средствами искусства. Кобенков – разумеется, поэзия и замечательные эссе о поэтах и художниках. Они были глубоки, освещены любовью – многие герои были его друзьями или хорошими приятелями. Живопись и графику он знал так же глубоко и разносторонне, как и поэзию. И театр (впрочем, это была наша общая любовь и боль). Захарян – опять же и главным образом – театр, литература в самом широком смысле этого слова, но и в очень узком тоже – Сергей придумал и вёл рубрику «Только одно стихотворение». Кстати, это была своеобразная лакмусовая бумажка – Сергей находил одно достойное стихотворение даже у довольно средних поэтов, но у иных – при многих книжках и регалиях – не находил и этого одного.

Мы делали свою работу с удовольствием, а это такая редкость, когда занимаешься «литературой на бегу» (так

назвал журналистику ещё в позапрошлом веке английский поэт и культуролог Мэтью Арнолд). Нам было хорошо вместе, мы не знали конфликтов и ссор, хотя, бывало, спорили, и довольно горячо.

Но был и ближний круг, и это тоже были наши друзья, близкие люди – Тэофиль Коржановский, Борис Ротенфельд, Виталий Нарожный, Любовь Сухаревская, Арнольд Беркович, Виталий Науменко и другие – много хороших людей было с нами.

Хочу пояснить, почему редактор Сапронов был ещё и фотографом, и моим личным водителем. Мы с ним садились в его автомобиль и ехали – в Ангарск, Усолье, Кутулик, Залари, Куйтун, Тулун... Качуг, Жигалово, Усть-Кут (туда, правда, самолётом) ... Выходя из машины, Гена брал фотоаппарат и снимал людей, о которых я писал. В Братск и Усть-Илимск высадились большим десантом – кроме нашей четвёрки, еще Науменко и Людмила Сенотрусова. Результатом этой поездки было два целевых номера, посвящённых каждому из городов.

В какую только глушь мы ни забирались! Куда не ступала нога журналиста, а уж чиновника от культуры – тем более... В каждой таёжной деревне, в каждом посёлке и городке находились люди, творившие рукотворную красоту... Были женщины, в основном пожилые, которые собирались в холодных, брошенных клубах и пели хорошие старинные песни. А народные театры! В той же Голумети отплясали такую «Прибайкальскую кадрили», что хохотать устал.

И как же было обидно, когда главная начальница над всей областной культурой заявила на пресс-конференции по поводу нашего закрытия (а они нас таки закрыли!), что мы ходим только по асфальту и что «газета стала местечковой».

Итак, они нас закрыли. Их можно понять – мы были у них как кость в горле. А кто же будет это терпеть, да ещё и деньги платить этой «кости» !? Нас закрыли, но мы не расстались. Виделись часто. Собирались вместе, говорили, спорили. Появились какие-никакие традиции. Ехали к Сапроновым на дачу, где Геннадий жарил свои замечательные шашлыки. К Захарянам обязательно приходили второго января на прекрасные пельмени, которые делала мама Серёжи Дора Зеликовна. К нам собирались на мой плов, секрет приготовления которого я привёз из Узбекистана вместе с двумя казанами.

...Предстоящий отъезд семьи Кобенковых в Москву я воспринял как личную трагедию. К тому же очень опасался за сердце Толи. К сожалению, опасения оправдались.

О своём решении он сообщил мне буднично, как бы между прочим. Не помню, о чём был разговор, кажется, я его о чём-то просил, скорее всего, что-то написать. Он ответил: «Это придется делать уже в Москве». – «Ты в Москву едешь? Надолго?» – «Навсегда», – услышал в ответ. Навсегда – какое страшное, тупиковое слово! Слово, лишшающее надежды...

Знаю, что ему было нелегко расставаться с Иркутском, с его людьми, улицами, птицами, деревьями.... Не тогда ли написалось это отчаянное стихотворение? Оно названо просто – «Иркутску».

Не докричать – хотя бы домолчать...

*Отныне нам и ласточка не сводня –
прощай, мой брат, ты волен убивать –
убей меня на Тихвинской сегодня:*

*ударь вподдых, швырни меня в фонтан –
пойдешь гулять и, в воробьином гвалте*

*гася свою тоску – пока не пьян,
узришь меня сквозь трещинку в асфальте...*

*Не домолчать – хотя бы докурить,
табачный дым не застит нам дороги...
Прости, мой друг, ты в силах хоронить –
я в силах умереть у синагоги –*

*шумну ступенькой, вышумнусь травой,
и ты, не медля, жизнь свою отладишь,
когда к Ерусалиму головой
я развернусь, приладив к сердцу кадиш...*

*Не докурить – хотя бы додышать
до двух берез четвертой остановки,
до... жизнь моя, ты мастер отпевать –
отпой меня на холмике Крестовки –*

*сыпь в ладанку, держа меня в персти,
и, отлучив мой бранный дух от песни,
свой дух переведа, оповести
сестру и брата: двери мне отверсты...*

Эти печальные стихи очень монтируются с пронзительно холодным февральским днём, когда мы провожали его на Иркутском вокзале. Было нервно... Нервничала Варя – никак не приходила провожать её лучшая подружка. Это состояние передалось Ольге, от неё – Толе... Наконец, сели в вагон, но поезд всё не трогался. Все слова были сказаны, одно только слово звенело в мозгу – НАВСЕГДА.

Наконец, поезд прокричал пронзительно, медленно двинулся ... Я шел за вагоном какое-то время, потом долго стоял на пронизывающем ветру. Поплёлся на остановку. Город для меня опустел. На одного человека. На Толю... А это гораздо больше, чем один человек...

Пришёл домой. Было пусто и невыразимо грустно. Взял книжку стихов Толи. Почти сразу нашёл стихотворение, посвящённое мне. Полное загадок. Прекрасных загадок, которые не надо разгадывать разумом. Только сердцем...

*...и длинных свиданий густая и вязкая тина,
и встреч сквознячок, и заставы застолий – не тема
для старой гитары, скорее – для бедного тела,
которому – ночь на дворе! – а вина не хватило.*

*Возлюбим друг друга за рифмы, связавшие строки,
за жадные строфы, не знавшие ночи и страха,
за то, что для них начинаются новые сроки –
наточен топор и ни малой пушинки на плахе.*

*Возлюбим друг друга за реки, любимые нами,
за синее небо, любимое нами и ими,
за имя, к которому можно губами,
как будто к воде прикоснуться: «Во имя...»*

А потом был этот сентябрьский день. Полный солнца. Оно померкло, как только телефон принёс чёрную весть. Не стало Толи. Как к этому привыкнуть? Он БЫЛ всегда. Даже когда мы подолгу не виделись, я знал, что он – ЕСТЬ. Мы никогда не говорили: «Ты мой друг» или «Я твой друг». Не говорили... Потому что мы мужики. Немолодые. Я – просто стар. В тот сентябрьский день я постарел сразу на десять лет.

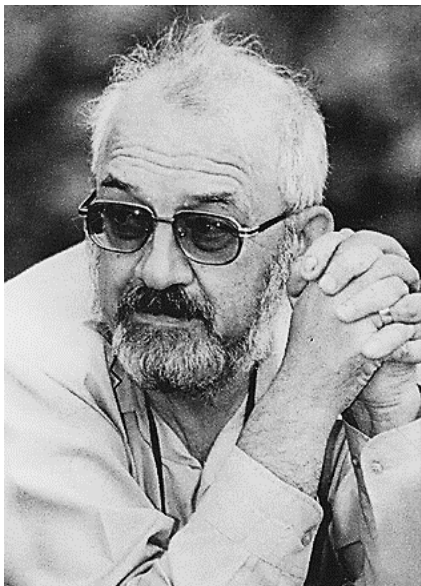
Но надо как-то жить. Несмотря на потери, которые множатся... Может ли что-то утешить? Вряд ли... Разве что Толины строки, которые звучат, как далёкий голос флейты.

*Разве дело в печали, которой я жив,
или даже в мотиве, которым я стар,
или в том, что я песенке сердцем служил,
а она убежала, от сердца устав...*

*И не в том эта боль, что прибилась ко мне,
и не в том, что могла бы прибиться к тебе,*

*а, наверное, в том, что в иной стороне
и с иной стороны я не стал бы иным...*

Анатолий Кобенков... Толя... Ты немало оставил после себя на земле. Главное, что ты сам был, Толя. Спасибо, что ты был. Что ты есть.



Арнольд Иннокентьевич Харитонов (род. в 1937 г.) Член Союза Российских писателей. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живёт в Иркутске.

Светлана Михеева

ЗВУК, С ОГЛЯДКОЙ НА ДЫХАНЬЕ...

Каждому городку есть в чем себя упрекнуть. Наш Иркутск, который, в общем, не мал, но слишком тесен, распространяет, например, неловкий обычай: переносить личные приязни к художникам на их искусство – не разделять, не отстраняться и, как следствие, не уметь ценить.

Дремучее чувство это превращает любую провинцию и любую столицу в действительный край медведей – тех, которые наступают на уши неповоротливому обывателю. Эстетический фон снижен, безопасен для управления общим средним, комфортен для его обитания, обилен для его простой физиологии – трубочка, проглядываемая насквозь. Чугунный патриотизм брякает в свой дряхлый, но все еще громкий колокол – и заскучавшая публика, услышав его, просыпается, от безысходности аплодирует стоя... Впрочем, это стало местным анекдотом, так что и продолжать неловко. И коснись это свойство нашего (общего?) места кого-нибудь другого – и горя, в общем-то, мало, и пускай, и даже не заметим.

Но в отношении Анатолия Кобенкова такой обычай (оборотная сторона которого – всемерное почитание, искажение до глянцевого неузнаваемости, не дай же Бог) оборачивается волнующим фактом судьбы чуть горькой, чуть сладкой. Обычай срабатывает как микроскоп, увеличивая текст, строку, слово, настаивая на главной теме и обозначая ее в развитии: *genius loci*.

Как и всякий бродяга, не желающий возвращаться туда, откуда пришел, Кобенков, человек востока и человек запада, забрел в наши места из места своего. Там по времени (памяти) – пыльно, желто, жарко. Там по географии (в

недалеком прошлом, почти настоящем) – заросшие лесом сопки и городок в семидесяти километрах от Китая, снег. Здесь (в почти настоящем настоящем, твердо успокоенным на неподвижных ногах) – сильная река тащит северную воду, трется о плоские пустые берега. Город сбегает с холма и поднимается на холм. Здесь – не то чтобы временно, но и не так, чтобы постоянно: «небесное (в силу возраста) притягательнее земного» – как он сам и сказал в крошечном предисловии к десятой своей книге.

В родном Биробиджане Кобенкова любили. Ребенок с безошибочным горлышком опевал свои весны, зимы, все своё переводил на райский птичий язычок, нигде не фальшивя. Он так и остался навечно там – «мальчиком, пишущим стихи», с легкой руки Ольги Ермолаевой (давно москвички, давно сотрудницы столичного «Знамени»). «Необыкновенным пацаном» остался в теплых воспоминаниях Нины Филипкиной, редактора, печатавшей отрока Кобенкова в местной газете. Там сразу поняли, с кем имеют дело – сказала, как отрезала, Римма Лавочкина, ныне петербурженка, певшая в пионерлагерях песни на стихи мальчика Толи (об авторстве мало кто знал). Подростка Кобенкова привел в тамошнюю редакцию старший товарищ Леонид Школьник, ныне израильтянин.... Но сколько лет с тех пор прошло? Всё уже – не то.

Особенность таланта юноши Кобенкова была отмечена сразу – пишет только о том, что сам пережил. Он пережил так же и наш Иркутск, где остановился, пройдя «общежития и пристрастия», и о здешней провинциальной моде складывал стихи. О моде позапрошлых лет, деревянной, кучерявой, избывающей свою красоту. «Служитель плача и сожитель стужи», обыватель запомнил бородатого поэта, баящего из телевизора, запомнил его из газет. И так, немножечко, запомнил живого, мимоидущего. И прилепил ярлычок: иркутский поэт. Для места и о месте. Как будто бы.

Но, хоть это и сущая ерунда, почтенный обыватель был прав, приписав Кобенкова к этим улочкам («Не улочка – скорее рана, шрам...»). Да, в общем, каждый поэт – в некотором роде крепостной. И барин его, в меру безжалостный – а иногда и не в меру – тычет собственность живую, истязает по своей воле и согласно расположению духа. Непокорные

протестуют, бегут. Но убегают – хоть и убегают – недалеко: небесное притягательнее земного. Да и что бегство? В бегстве мало поэзии.

Однажды стихи юного Кобенкова попали в руки Александра Жарова, поэта двадцатых, воинственного песенника тридцатых-пятидесятых. Комсомольский вожак, он, по иронии веселого советского ангела, некогда брал уроки литмастерства у Брюсова. Впрочем, от Брюсова ему ничего не досталось. «Молодость советской страны, озаренная солнечным светом коммунизма, была и остается главной темой моего поэтического творчества. Хорошо, что эта тема неисчерпаема» – вот это поэт Жаров автобиографировал так же незамысловато, как и сочинял.

В те годы – и еще долго после – он преподавал в Литературном институте, куда и пришел восемнадцатилетний Кобенков. Багаж мальчик притащил за собою основательный – одну (самую первую) книжку, вышедшую накануне в Хабаровске, и рукопись второй, предполагаемой к изданию в Иркутске (книга вышла под названием «Улицы» в 1968-ом). Жаровская рецензия разбила в пух всю «местечковую историю» Кобенкова, все его будущие «Улицы» и прочие книги вплоть до последней. Став отличным документом эпохи, она размазала по стенке всё кобенковское внимание к частной, обыденной жизни, к часам, табуреткам, к личному переживанию момента – к единственной настоящей правде частного высказывания. «Как все это пошло, книжно, мелко», – тряс кулачками Жаров.

В Биробиджане и по сей день цитируют: «В провинцию входила темнота...». Но Жаров писал: «Не чувствую идеи вашей «Провинции». Какая это провинция, каких времен, какого народа? Судя по наличию маленького еврея-барабанщика, влюбленного в большую женщину-еврейку Нехаму, речь идет о какой-то местечковой истории. Но ведь история такого рода изложена в знаменитой поэме моего соратника Иосифа Уткина. Там провинция – такая, какая была до Революции, подлинная, реальная. Ее опозэтизировал и весьма остроумно высмеял поэт. А что у вас за провинция, я так и не понял. Каковы проблемы вашей сегодняшней, а может и не сегодняшней провинции, – я не знаю. Я вижу

только тени двух покойников (барабанщика и Нехамы), описанные скучно серо-белым стихом. Я в недоумении...».

Недоумение Жарова, упомянувшего в рецензии давнюю «Повесть о рыжем Мотэле» Уткина, закономерно, вполне объяснимо.

Кобенков любил обитателей «местечек» любовью, не допускающей осложнений, безоговорочной и пристальной – он вглядывался в многолюдность своего поэтического пространства, как астроном в небо над собой. Его творческое зрение, устроенное иначе, нежели зрение талантливого Уткина или черно-белое плоское зрение пролетарского поэта Жарова, позволяло проживать поэтическую ситуацию, не отклоняясь в сторону упрощения и риторики.

Еврейские местечки, или, позже, иркутские улочки, или московские Сретенка и Хитровка (провинциальность самой провинциальной провинциальностью – их нежно и внимательно любят коренные москвичи), или сам Ерусалим – все было прожито и нанесено на карту, которую ему, бродяге, выдали еще до рождения. На этой карте есть две оси координат: быт – как доказательство бытия и смерть – как доказательство жизни.

«Мир поэзии и предмет поэзии – действительность, а не лохматый вымысел», – упрекал Жаров и советовал отряхнуть с лирики «моль литературщины».

Жаровы с тех самых пор не перевелись, они подвизались и водятся еще в изобилии везде, хотя теперь тема их риторического высказывания поменялась, как меняется направление стяга в зависимости от направления ветра, хоть бы и политического.

С той поры, как Жаров выдал рецензию, у Кобенкова состоялось достаточно книг, чтобы сейчас мы могли сказать: юношеская его поэзия не изменила своим лучшим качествам, а вскрыла ими как инструментами всю драгоценную гору. Философское высказывание стало прочней, быт слепился с бытием в существо правильное и неуязвимое: зрение этого существа способно охватить целое. Ничего, что мы могли бы увидеть: ни детскости, ни провинциальных корней, ни внутреннего русско-еврейского конфликта – ничего этого не существует в ясности целого взгляда. Как не существует

«раннего» и «позднего» Кобенкова: есть память, которая открывается нами как книга и читается целиком.

Поразительное обилие вещей и уменьшительных суффиксов не однажды захватывало меня в этой поэзии, которую от скрытой сложности не спасали ни сентиментальные отступления, ни щебетание, ни быт. С самого начала не могли спасти. Говорили: он такой светлый поэт. А казалось, он чего-то недоговаривает, скрывает, боясь ранить, разбить, обидеть. Мучительные вопросы угадывались, мучительные очевидности реяли легкими тенями – но до поры оставались непроизносимы, неразбужены, хотя уже были – и были много раньше, притаившись под кожей барабана покойного барабанщика, маскируясь под дворников Михайловского. Они словно блуждали за сценой его книг, ожидая, пока автор осмелится их назвать.

Кажется, что становясь старше, Кобенков перестал опускать занавес в своем театре и теперь весь стал сценой, где развернулось последнее представление: «Ты был в нем Гамлетом, и он мертвел».

Он крестился в православной церкви зрелым человеком, по собственному основательному желанию – так вспоминают знавшие. Все, что крутилось в трагическом круговороте путешествующих дней, всякая деталь отсылала к свету через страдание души. Вечное воскресение – утомительное счастье.

И сказать обо всем этом «светлая поэзия» – значит, не сказать ничего. Значит – обмануться.

Нагромождение бытовых мелочей, заполнение лирического пространства, где, по большому счету, может работать один дождь, или один снег, плотное заселение бумажного листа (рецензенты отмечали многолюдность поэтического мира Кобенкова) – и, наконец, выход из окружения: ожидание, оглядка, или завещание, или вопрос. Так устроены многие его стихотворения девяностых. Пожалуй, тогда я не умела как следует, в развитии, оценить поэта: как не умеет – и к счастью – юность ценить зрелость, отмечая в ней лишь морщины и шрамы.

Как-то, собрав новорожденные стихи, я понесла их показать в Дом литераторов – а куда ж еще, это было мое первое приближение к действующему литературному миру. Тамошняя поэтесса, хрупкая и белокурая, прищурила на буквы красивый глаз и брезгливо вернула, указав категорически другое направление: пойдите, говорит, в еврейский союз, может там вас и возьмут. (Над городом к этому времени сгустились ядовитые тучи. Журнал «Сибирь» знакомил читателей с «Протоколами сионских мудрецов»). Ну, в еврейский, так в еврейский. Я подумала о Пастернаке с Мандельштамом и, погасив огонек недоумения, поскакала вниз по крутой лестнице.

В «еврейском» мягко царил Кобенков. Его поэзия казалась мне непозволительно, преступно спокойной. Вальяжная, довольная, как он сам, своим местом в этом возмутительно маленьком (о да!) городе, неамбициозная – и именно поэтому неяркая – муза Кобенкова цвела как деревянный цветок на удивительных резных ставнях Иркутска.

И меж этих ставень громоздилось заплеванным окошком тяжелое и сложное время. Зрели настроения, которые, наверное, развернулись так широко лишь в одной сибирской провинции, накануне двадцать первого века удивившей общественность ксенофобским демаршем. Но дело было, как можно догадываться, не только в политике. Дело было и в личных отношениях, которые до поры гудели, как провода под током, не имея легитимного выхода. Политика развязала руки и языки. Разделение писателей на два лагеря позволило некоторым из них, с облегчением вздохнув, закрыть глаза на критику, исходившую теперь от представителей другой – а значит, вражеской и только поэтому необъективной – стороны.

Литературные рецензии Кобенкова, человека доброго, но обремененного отличным литературным вкусом, никогда не льстили. Были те, кому мягко, но крепко доставалось. Были те, кому доставалось чаще других. «С одной стороны, писать об этой книге легко: достаточно забросить в нее банальный невод дежурной рецензии, чтобы зацепить привычное: вот про любовь к родине, вот сыновья благодарность к тем, кто насытил твоё детство героикой, а вот и милые реалии детства. В последние десятилетия

многие писали об этом – писали так же, может быть, чуть лучше, может – чуть хуже...» А вот – и о самом стихотворце, который «больше риторик, чем поэт: он воспринимает слова и сочетания, как готовые орудия, и расставляет их с профессиональным мастерством проповедника». Если бы в Иркутске было принято отделять частное от искусства, то любой стихотворец нашел бы в этих рецензиях большую практическую пользу, а не обиду. Но обычно, так же и сейчас, находят обиду – непрощаемую, густую, как неочищенное мутное масло.

А, между тем, с городом Кобенков сошелся накрепко. «Ты был в нем Гамлетом, и он мертвел».

Какие тени бродили здесь? Тени прошлой (точнее, – книжной, романтической) Сибири, тени его собственных переживаний, набравших поэтическую силу и выходящих за привычные пределы. Обыкновение держаться за славные мелочи покидает его – для Гамлета их не существует. Ничто земное не послужит ему спасением. *Звук без оглядки на дыханье \ и тьма без выхода на свет \ никак не сложат мирозданье, \ с которым свыкся бы поэт...* В тех без-пределах, где он раньше летал вместе с ласточкой, пришло время летать одному.

Иркутск был для него, бродячего объекта особой одинокости, – космической капсулой, инкубатором, кузевом. «С ним просыпался, с ним засыпал, из-за него думал: помру – унесу в могилу». Был испытательной площадкой: «Этот город читал еще и тебя, пусть редко дочитывал, пускай нередко кривил губы, зато и жалел – подхлестывал: не останавливайся, луди далее...». И, наконец, – полигоном, с которого его муза была запущена в неопределенные дали. «Этот город тебя хоронил: ты жил, смеялся, мчал в сочинительство, а при этом «группа товарищей» сообщала читателям своей газетки про то, что тебя уже нет...». Уже нет – там, где был. Уже вышло на сцену скрытое, обнаружив, что прежнее многолюдство кобенковских стихов – лишь добрая первая строка, а за ней еще – много, много чего.

Старые герои, попав под невыносимый рентген, обрели, наконец, плотность тела и воспоминания. Как раз то, что

многих читателей огорчило или же напугало – стихи Кобенкова как бы усложнились, потемнели. На самом же деле – прояснились. Свет обрел свою непроявленную дотопле часть – тьму. *Так и утешимся, смерти назло, \ с близкими – страшно, с миром – светло.*

Для самого Кобенкова, судя по некоторым документам начала двухтысячных (конкретнее – по воспоминаниям участника четвертого Съезда писателей Сибири Станислава Золотцева, где выступал и Кобенков), трансформация была подобна провалу.

Кобенков обнаружил, что кризис, который был им замечен двадцать лет назад, ничем не разрешился.

В 1980-ом в рецензии на книжки поэтической серии «Бригада», выпускавшейся Восточно-Сибирским книжным издательством, он, тридцатидвухлетний, писал следующее: «И критики, и социологи, и сами поэты – каждый по-своему, со своих позиций – рассматривают и объясняют причины равнодушия, с коим сегодняшний читатель встречает нынешнюю поэтическую продукцию. Кажется, совсем недавно любая из поэтических новинок немедленно находила своего читателя. Наше издательство не скупилось на большие тиражи как для поэтов уже завоевавших признание, так и для молодых стихотворцев. Однако, все это в прошлом: ныне поэтические сборники годами ждут своего читателя, пылясь на полках книжных магазинов...».

В 2002 году, имея за плечами опыт в пять с лишним жизненных десятилетий, он говорит: «Лет тридцать назад я не умел писать стихи, они были беспомощными, но в них звучала моя живая боль, звучала моя радость – звучала! Вот главное. Музыка в них жила!.. Сейчас, как ни страдаем, как ни стараемся, получается больше литература, а не музыка. Слова, слова... Меня уже раздражает умение, и свое, и чужое. Мы пишем прежним языком, а он уже не годится для того, чтобы выразить себя нынешних. А нового языка найти не можем. И потому нас не слышат, нет у нас читателя. Хотя состояние – полная свобода от всех. Только ненадолго, а что будет завтра? послезавтра? так и будем без языка, без музыки и без читателя?».

... а меня утянуло куда дальше в прошлое. «Воздуха современной жизни я в нем не учуял», – рецензировал юного Кобенкова вечный комсомолец Жаров. На тот момент Жарову было ровно столько, сколько Кобенкову, потерявшему музыку. В том самом году пожилой Жаров выпустил книгу «Страна юности» – отказывая в современности как раз юности, оставляя «воздух современной жизни» за собою раз и навсегда...

...«Мы пишем прежним языком, а он уже не годится для того, чтобы выразить себя нынешних».

Нет музыки – нет читателя. Прямой, нелукавый и, все же, слишком легкий вывод. (В Иркутске Кобенкову было тяжело, он хотел говорить о поэзии, а его пытались втянуть в политику).

Метания. Горькие, прямые стихи («Сначала – сладкая игра, потом – единственное средство спастись...»).

Обращения к славной традиции, знавшей рискованные полеты в полной темноте, особенно настойчиво – к Мандельштаму, олицетворившему в русской поэзии музыку, в последней книге: с вопросом, с вопрошанием. Чем уловить бедную музыку, которая потерялась будто бы где-то? А потеряшка («Так мерцает счастье в моей беде...»), ухмыляясь, бродила за сценой. Она счастлива, когда свободна и от наблюдателя, от слушателя, от автора – тоже. Для кого вы пишете? – спросят автора, а музыка рассмеётся. Полная свобода ото всех – и воля автора переменить место, послать осточертевшего гения места подальше и переменить. Вопрос лишь в том, что свой театр ты таскаешь с собой и всякое перемещение – путешествие с фургоном, набитым под завязку форточками, ласточками, картинками любви. Единственная свобода – отказаться от всех, и от музыки тоже. А нужна ли поэту такая свобода?

И – «...нового языка найти не можем».

И – «...нету у нас читателя».

Но кто должен был «их» читать?

Анонимные стадионы?

Я ваш читатель, Анатолий Иванович. Мы ваши читатели. Нас не много, мы из тех, кто (как и вы некогда) хранит в памяти

одну единственную, свою, книгу, которую воспроизводим полностью лишь к концу жизни. Да, это слегка напоминает знаменитую антиутопию пятидесятых. Но о каком – лучшем – читателе можно еще помыслить? К какому еще читателю музыка будет снисходительна – и одарит, вернувшись обратно, миром бессмертных земных мелочей? Звучит с оглядкой на дыхание, тьмой, льнущей к свету – космосом внутри нас и космосом вокруг нас. Стихотворением. Городом. Гением своего места.

2016



Михеева Светлана Анатольевна (род. в 1975 г.) Закончила Литературный институт им. Горького. Автор шести книг стихов и прозы. Председатель Иркутского регионального представительства Союза российских писателей.



«Остановиться, оглянуться...»

Эссеистика: 2003 – 2005

(Составитель В.А.Диксон)

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ОТ БЫВШЕГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ПРАВДА»

Я и в самом деле не помню, как мы решили с Анатолием Ивановичем Кобенковым, что он будет писать еженедельные колонки для «Восточно-Сибирской правды». Это было в 2004 году, он был к этому времени несчастным автором нашей газеты, потому что его биография была связана с иркутской «Молодёжкой», а «Восточка» была ему, скорее, не родственницей, а почтенной знакомой. И, тем не менее, колонка «Остановиться, оглянуться» поэта Кобенкова стала почти первой новацией, которая появилась в газете в самом начале моего редакторства.

Почему Анатолий сделал названием рубрики строки Александра Аронова, а не, к примеру, свои, мне неизвестно. Думаю, это было проходное решение, в чём-то адаптация авторского стиля для читателей «Востсибправды». А может быть, скрытая ассоциация с самим Ароновым – журналистом-поэтом, или поэтом-журналистом.

Сегодня, перечитывая эти эссе, понимаешь, что большому поэту Кобенкову хотелось говорить с читателем и приземлённой прозой, потому что его гражданский темперамент требовал от него диалога с людьми о вещах, возможно, более мизерных, чем темы его стихов. Но плакатной публицистики не случилось, и это большое счастье, потому что мы знаем примеры, когда большой писатель и незаурядный поэт говорит о политике так много, что очень хочется, чтобы он замолчал. Не стоит, наверное, мне разбирать его колонки. Литературоведы сделают это лучше, а каждый читатель – ещё лучше. Скажу только, что уход автора из жизни, тем более такой ранний, делает любой его текст другим. У Анатолия эти газетные тексты превратились из разговора с читателем в разговор со временем. Причём, как оказалось, не со своим, а с любым настоящим временем.

Возможно, если бы рубрика не закончилась в связи с его отъездом в Москву, не было бы рождено его прощальное эссе «Сердце навылет». Быть может, ради этого крещендо всё и случилось. Это не просто лучшее стихотворение в прозе об Иркутске. Мне кажется, это вообще – лучшее стихотворение об Иркутске.

Александр ГИМЕЛЬШТЕЙН, 13 февраля 2015 г.

Старомодный писатель

Борису Ротенфельду – 65

Он старомоден: при виде рассыпающихся газетных подшивок испытывает головокружение; всякий раз, когда вчитывается в хроники Нита Романова, температурит; он, как и тридцать-сорок лет назад, верен Твардовскому, уважая его и как редактора, и как поэта; он любит старых русских историков и не устает цитировать кумира своей юности, некогда загадочного Хэма: «Чертовски трудно писать простую честную прозу»...

Он рос в Киеве, набирался ума-разума в Туле, начинался – как журналист и писатель – в Сибири: первые рассказы сложил в Нижнеудинске, потом – в Усолье, первые сказки – в Иркутске.

В сказках – они выходили и книжками – он свободнее: их герои живут в вымышленных государствах, запросто меняют жизнь земную на жизнь небесную; в рассказах он держится быта, пишет его с дотошностью хроникера, не гнушается цифрами: «молоко стоит столько-то, кефир – столько-то»...

Язык его прозы старомоден: всякая фраза выверена на звук и на цвет, всякий портрет прописан на фоне социальном, всякий пейзаж держится реалий: городской – рассыпающихся «хрущевок», деревенский – грязи или травы, которые всегда по колена...

Иногда он ровен старательно, но чаще – естественно: даже в лучшем своем рассказе – в «Пироге с черемухой», где бушуют нешуточные, прямо-таки шекспировские страсти, – рука его не дрогнула, дописав злоумышленную смерть так, как будто она и не конец его писательским печалям, а лишь их начало.

Один из обозревателей «Литературной газеты», оценивая такую его старомодность, разом припомнил и Лескова, и Мопассана.

Что ж, может быть, может быть...

Откуда московскому критику знать-ведать о его вечной поденке – о вкусе той корочки, на которую он не устает зарабатывать рутинным редакторством в журнале, преподавательством в вузе и пером публициста там и сям...

Он начинал в районках, потом, практически на всю жизнь, связал себя с «Молодежкой»: писал такие очерки и такую публицистику, из-за коих его то «уходили», то возвращали...

Ко всем его печалям у него еще и странно звучащая для российского уха фамилия – Ротенфельд (можно бы апеллировать к Пушкину, к его «Сценам из рыцарских времен», где один из героев носит именно такую фамилию, но кто это помнит), и непривычное для наших палестин отчество – Соломонович...

Что ж, это судьба – если хотите, «маленькая трагедия» русского интеллигента.

Между тем он никогда не пытался выдать себя за «сына юриста», если и жалуется, то скрепляет свою жалобу ироническим смешком.

Он никогда не спешил – ни в юности, ни в зрелости, ни, тем более, сегодня, когда ему шестьдесят пять.

Все, что он ни делает, о чем бы ни говорил или писал – все вырастает из его романтически упрямой и по-русски неизбежной тоски по совершенному человеку, в каждом своем герое он упрямо отыскивает нечто старомодное: доброту, привязанность к избранному делу, верность ближним...

Поэтому и читать его надо старомодно: не спеша, при свете морали, с желанием оглянуться на то хорошее, что в нас было и, возможно, несмотря ни на что, останется...

Останутся его герои, его повести, его рассказы, его книжки, количество коих вот-вот увеличится: готовится к печати затеянное им преподробное исследование о культуре нашей области за все минувшее столетие.

Снимая шляпу пред его упрямством в день его шестидесятипятилетия – заодно со всеми, ценящими его мудрость и терпеливость, я тыкаюсь щекою в его

старомодность, ибо, прежде всего, благодарен ему за самое редчайшее на сегодняшний день качество.

25 февраля 2003

Один из немногих

100 лет Иосифу Уткину

Странно, но он старше Евтушенко и Вознесенского лишь на тридцать, Марка Сергеева – на двадцать три, Левитанского – и того меньше, а вот Елена Викторовна Жилкина догадалась Иосифа Павловича опередить: мы отметили ее столетие еще в прошлом году.

Первые – и Евгений Александрович, и Андрей Андреевич, и Марк Давидович – разве что родились при нем: не пообщались, зато Юрий Давидович и Елена Викторовна да еще Марк Андреевич Соболев, то есть те поэты, с которыми я или дружил, или прятельствовал, и видели Уткина, и внимали ему...

Выходит, для меня – по времени – он совсем рядом.

Рядом он еще и стихами – ясными по письму, заразительными по звуку, настоящими на светлой печали, заикающейся разлуке, упрямой любви...

В двух шагах от моего дома, в районе нашего иркутского рынка, около восьмидесяти лет назад он сложил строки той поэмы, которая сделала его знаменитым и вынудила перебраться в Москву.

Поэма не о нас – о кишиневском погроме.

Но и о нас – через много лет, не без помощи литераторов, пришедших – вроде бы по возрасту, – ему на смену, воссоздавших такую погромную газету, как «Русский Восток».

Мне не надо заглядывать в книжку, дабы – в сотый или тысячный раз – повторить некоторые ее строки и строфы:

*По-разному счастье курится,
По-разному у разных мест.
Вот Мотэле мечтает о курице,
А инспектор курицу ест.*

Или:

*И под самой маленькой крышей,
Как она ни слаба,
Свое счастье, свои мыши,
Своя судьба.*

Или...

– нет, лучше перебею себя, чтобы вспомнить, как и где повторяли при мне эти самые строки моя мама, мой учитель, поэт Виктор Иванович Соломатов, мой приятель, тоже поэт, Боря Архипкин; а еще – и Евгений Александрович, и Марк Давидович, и Елена Викторовна...

Выходит, Уткин – один из немногих, чьи строки по душе сразу многим.

Выходит, он один из немногих, чьи стихи непременно включаются в малые и большие наши антологии, причем ясно, что делается это не по законам исторической справедливости (как в случае с теми, кого к нему вечно пристегивали, – Жаровым или Безыменским), а по настоянию самого стиха – из-за настойчивости его хмеля, воздуха, тепла, живого дыхания.

Уткин один из немногих, кто уцелел для сегодняшнего читателя еще и в завидном объеме: его книжки множилось вчера – множатся и сегодня; даже те, кто к поэзии не имеет никакой склонности, и то слышали его стихи, к примеру,

распеваемые нашими бардами «Ты плохая, я плохой...» или «Мальчишку хлопнули в Иркутске»...

Все это при том, что – как издавна повелось – только ленивый не упрекнет его в излишней легкости, почти дамской мягкости или даже в пошлости.

Я и сам бывал таким: ах, Уткин, говорил я, это не более приятного щекотания, сю-сю-мусю, «люби меня, как я тебя»... Господи, как же мне неловко из-за этого – зачем, какого рожна стеснялся я той сентиментальности, которую он будил во мне, отчего упрямо и глупо сопротивлялся той естественной реакции на то вечно простое, о котором у него выходило и выговориться, и выпеться – и просто, и высоко разом!

Я ведь – и вчера, и сегодня – не открывая уткинской книжки, могу прочесть:

*Вы уедете, я знаю,
За ночь снег опять пройдет.
Лыжня синяя, лесная
Постепенно пропадет...
Или так и надо ближним,
Так и надо – без следа,
Как идущим накрест лыжням,
Расставаться навсегда?*

Или:

*Нет, что-то есть такое выше
Разлук
И холода в руке!
Вы снились мне,
И я вас слышал
На лазаретном тюфяке.*

Или:

*И он погиб, судьбу приемля,
Как подобает молодым:
Лицом вперед. Обнявши землю,
Которой мы не отдадим!*

Тем более, что, читая последнее, я вижу при этом еще и гибель Иосифа Павловича в авиакатастрофе под Москвой, уже возвращаясь с фронта, – при его сорокаоднолетнем возрасте и библейской красоте – гибель, абсолютно нелепую, подобно всем тем обвинениям, что сыпались на него в течение всей его жизни, причем исключительно со стороны тех, чьи имена мы уже – даже если очень захотим – вряд ли вспомним: поэты живут много дольше их хулителей.

28 мая 2003

Мой эпос, моя газета

...Я думал, что «Со мною вот что происходит» – это про меня и обидевшуюся на меня Таню, что «Идут белые снега...» – про дедушку и бабушку, смерти которых я боялся, что «...есть мальчишка где-то и очень я завидую ему» – только про меня...

Поэт еще как бы и не присутствовал в моей жизни, но уже шел на меня разнокалиберным гулом из далекого далека – то ли со стороны столицы, то ли из страны сибирской, а скорее всего, отовсюду сразу: уже тогда, в начале шестидесятых, Евтушенко было много – и, правда, много больше, нежели просто поэта (к примеру, Пушкина или Лермонтова, а уж Грибачева или Софронова – и подавно).

Я помню еще и первый его рассказ – про любовь, про улицу Мещанскую, напечатанный в «Юности», и – уже не первые – статьи в центральных газетах, в которых выдавалось ему и за его «Биографию», и за что-то еще.

Чем более – я слышал – его ругали, тем более он был моим, а иногда – почти мной: и ему пеняли за его проступки, и мне, и от него ждали покаяний, и от меня, и он – я чувствовал это – желал своего исправления, и я – того же.

Я еще не видел его, но почему-то знал: худой, длинный, нескладный, «целе- и нецелесообразный», «застенчивый и наглый», «злой и добрый».

По сути, это было моим портретом, еще – портретами моих друзей, как ровесников, так и тех, что старшинствовали: Вити Соломатова, сосланного из Хабаровска в Биробиджан за пьяную наглость, Рода Добровенского, отлученного от хабаровского телевидения за «нецелесообразность», Боба Сухих, то и дело бежавшего из «злого» города в «добрую» тайгу...

В те поры почти для всех нас окружающий мир мнился черно-белым, непременно молодым или обязательно старым, только глупым или только умным: черным при Сталине и белым после его смерти, молодым в стихах Евтушенко и древним – нам казалось, уже навсегда отжившим – в новых строчках Симонова и Щипачева, Суркова и даже Ахматовой.

Евтушенко – и его голос, и его поведение – настаивали именно на таком нашем отношении к тому или иному литератору, живописцу или общественному деятелю, но при этом он же сам, причем, без конца и ежедневно, еще и путал нас: над одним из своих стихотворений он ставил посвящение вроде бы уже давно «мертвому» Щипачеву, над другим – старому, но еще «живому» (а значит, и молодому) Леониду Мартынову; с одной стороны мы подписывались под каждой строкой из его «Наследников Сталина», с другой – не знали, что делать с его заявлением «Считайте меня коммунистом!».

Точно так же мы не ведали – не знали, что делать еще и с собою – с привязанностью к родителям и их явной замшелостью, с дежурной любовью (так учили) к Павлику Морозову и равнодушием (так не учили, но вынуждали) к Пушкину. Он, Евг. Евтушенко, маялся всем этим, подобно

нам: «Наградили меня талантом – не сказали, что делать с ним...».

Нас наградили Евтушенко, позабыв объяснить, что с ним делать – как спорить или соглашаться, любить или не любить.

Правда, последнее – про то, как не любить его, – нам, помнится, объясняли, однако делали это столь же нелепо, как в случае с Пушкиным, любви к которому, наоборот, беспрестанно требовали.

Между тем сам Евтушенко – любвеобильный как никто другой во все времена русской поэзии, наивно благодарный всякому, что-либо и когда-либо подсказавшему ему, – бесстрашно и, как оказалось, назло самому себе, влюблял нас в тех, кого любил сам: в Луконина и Слуцкого, в Межирова и Твардовского, в Бокова и Юрия Казакова, Джона Апдайка и Юрия Любимова, Игоря Квашу и, само собой, в Беллу Ахмадулину.

Эти имена мы вычитали сначала в его многочисленных посвящениях, коими он щедро (опять же щедрее многих) оперял многие свои сочинения, затем в строках его новых, идущих бесперебойно, подобно «белым снегам», стихотворений и поэм, поначалу в их прямых обращениях: то к одному (к тому же Пушкину, что существеннейшим образом меняло дело), то к другому (к примеру, к вождю кубинцев Фиделю), а чуть погодя – уже и в бесконечно меняющихся интонациях, и в алогичности поведения, которое лишней раз пленительно напоминало нам: поэт нешуточно и явно круглосуточно в кого-то (если не во всех сразу) влюблен, у него, действительно, ни при каких условиях неустрашимый «пожар сердца».

Я и Слуцкого полюбил через него, и из-за него же простил нравоучительскую скуку Щипачеву, и песенную гладкопись – Бокову, и тяжесть строки при почти полном отсутствии мысли – Луконину; из-за него же я полюбил и Апдайка, которого еще

не прочел, и Любимова, который для меня в те поры был занят неведомо чем.

(Если кто из нас и отошел от Евтушенко, предпочтя его словоохотливости прозаическую скупость Слуцкого или строго выверенную яростность строк Межирова, то пусть не позабудут о его, по сей день не иссякающей щедрости и некогда верно указующем персте – пусть, хотя бы сегодня, скажут ему за это спасибо или поблагодарят молча: он не только поэта подарил – брата отдал. В конце концов, берите пример с самого Евтушенко, который не так давно – опять же единственный во всей русской поэзии – сказал свое благородное (ибо хорошими стихами) спасибо всем своим зоилам – от Барласа до Сидорова).

Что касается меня, то – благодарю: благодарю Евтушенко и за привитую им любовь к стиху, и за непроходящую привязанность к этому стиху со стороны тех немногих, что сорвали на общении с ним свое сердце и смутили мой разум, еще благодарю и за дружбу тех, кои пришли ко мне через него, Евтушенко, с наивной верой в сверхизобильную целебность его жарких монологов, всегда предполагающих наш общий и немедленный ответ...

По правде говоря, я был болен им настолько, что всякий раз, когда находил его имя под переводами стихотворений бурята или грузина, абхазца или латыша, я уже навеки и бесповоротно проникался уважением к Дондоку Улзытуеву или Хута Берулаве, Наби Хазри или Янису Петерсу; это его друзья, его братья, думал я, выискивая и находя в их стихах не столько их самих, сколько переведшего их Евтушенко: его ритм, его рифму, его паузы, которые он расставлял не столько для легкости моего чтения, сколько для легкости своей декламации...

Я услышал его впервые по радио – это было нечто такое, чему хотелось немедленно следовать, безоглядно и – один в один – подражая!

Долгие годы и десятилетия я слышал и слышу, как подражали и продолжают подражать ему в сонном Биробиджане или в редко просыпающемся Хабаровске, в теряющем поэтический слух Ангарске или в почти отладившем его Иркутске, в мечущейся от одного имени к другому Москве и в полном астафьевской смуты Красноярске, в играющем в литературную столицу Сибири Новосибирске или в согласном на звание второй столицы Питере: в малых и больших залах, на малых и больших строках поэтов настоящих и поэтов нукудышных – то тень его интонации, то просверк его жеста...

Он создал завораживающе беспрекословный образ поэта, выходящего на многотысячную толпу со всем сразу: с рассказом о сокровенном или исповедью о сверхинтимном, с лозунгом, вычитанным из воздуха или призывом, подсмотренным в дне завтрашнем. Если Вознесенский был для тех, кто более прочего ценил в стихе сторону формальную, если Ахмадулина шла по разряду изящных кружевниц, а Рождественский – по линии почти официальной (тем самым как бы еще и прикрывая всех своих сотоварищей), то Евтушенко был для всех сразу – он ведь, и правда, буквально с первых своих шагов, всех сразу в виду и имел: всех видел, каждого слышал – для всех писал и всех, казалось бы, не учитывая, учитывал.

Если я стану выписывать имена и фамилии, профессии и место жительства тех людей, которых он запустил в свои стихи и поэмы, в романы и статьи, то наверняка превышу объем, позволенный мне для сегодняшних, чуть припоздалых признаний – достаточно мысленным взором приподнять подшивки больших и малых наших газет последних пяти десятилетий, дабы обнаружить, что один Евтушенко равен целой армии столичных и провинциальных журналистов, полагавших своей обязанностью поведать читателю и про колхозника, и про интеллигента, и про тех, кто нас унижает, и про тех, кто возвышает. Иное дело, что не в газетных строках, а именно в стихах Евтушенко все эти люди –

человеки, то есть, высоки и даже высоки и прекрасны, даже в своей обыденности, иное дело, что созданное Евтушенко – не газетная сухомятка, а живая вода, может быть, ничто иное как эпос, то есть, то, что некогда было для наших праотцов и радио, и газетой, и театром, и телевидением. Пусть вам не покажется это странным, однако, не отвернувшись ни от одного из возможных газетных жанров – ни от репортажа, ни от очерка, ни от аналитической статьи, ни даже от передовой – он создал для нас свою газету, новый вариант эпоса, покрывший своим причудливым светом не только одну шестую часть суши (с ее Печорой и Ангарой, Балтикой и Окой), но и прочие части мира, к примеру, те, что называются Кубой или Чили, Японией или США.

Его и глотали, как газету, причем, газету, им же самим и озвученную – огомеренную в больших и малых залах страны и мира, вечно и до отказа забитых как глотателями информации, так и пожирателями поэзии (разве не пошел по его стопам преднамеренно публично отшатывающийся от него Бродский – согласно свидетелям его юности, по уши в него влюбленный – придумав для Америки «Поэзию в пути»: наклеивая, по его разумению, лучшие стихотворные тексты на прыгающие стены ее подземки?).

Что касаясь таких газетных колонок, как «Заметки фенолога» или «О братьях наших меньших», «Поговорим о сокровенном» или тому подобном, то одной его «Сережки ольховой», одной-единственной «Баллады о браконьерстве» или одного-единственного «Со мною вот что происходит...» достаточно для того, чтобы авторы сих газетных столбиков сменили работу.

Начавший свою читательскую жизнь с зиминской газеты «Саянские зори», пришедший шестнадцатилетним в советский «Советский спорт», напечатавший в «Известиях» свой «Бабий Яр», он заткнул за пояс все поколения авторских коллективов сих славных изданий, намеренно или случайно создав свою собственную газету – ту самую, которая позарез была необходима и запутавшейся в бесконечных вопросах

сельской учительке шестидесятых, и вынужденному отмалчиваться провинциальному лектору семидесятых, и разошедшимся со своими надеждами на возможное славное будущее рядовому москвичу или публичному питерцу. И его стих, и голос, и всякий из поступков (даже такой, который мог родить нелепый слух о его мнимой смерти в начале семидесятых) был нужен нам, как витаминная прибавка к тому воздуху, который денно и ночью редактировался «румяными вождями» от комсомола или полуживыми старцами от партии.

Кто спорит, он писал свой эпос – свою газету, как пишут эпос и как делают газету – глядя во все концы разом, желая поспеть и туда, и сюда, тем самым лишая себя малейшей передышки, но не отказывая в единственном – быть до доньшка открытым, до конца – для всех и каждого в отдельности – своим в доску.

Мы и читали его, как эпос – пропуская места общие, слишком подробные (они сгодятся для историков), мы и читали его, как газету – торопясь поймать главное, дабы, немедленно примерив на себя – на свое настроение и свои соображения – немедля ответить ему.

Последнее – немедленность ответа – предполагает поэзия, именно то, на что рассчитывает истинный лирик, отважившийся взвалить на себя махину эпики. А то, что Евтушенко поэт именно такой масти, имеющий уши да слышит...

12 июля 2003

Предсвет Федора Боровского

Странный писатель, странная судьба, странная книга Иркутскому писателю Федору Боровскому исполнилось 70 лет. Он награжден грамотой губернатора Иркутской области. К знаменательной дате вышла в свет новая книга юбиляра – повесть «Учитель немецкого». Она подготовлена к печати

Иркутским отделением Союза российских писателей при поддержке комитета по культуре при областной администрации и выпущена издателем Г. Сапроновым.

Ровесник Евтушенко, почти ровесник (разница в четыре года не в счет) Распутина и Битова, Машкина и покойного Вампилова, Федор Боровский, отдавший литературе не менее сорока лет, только сегодня – когда, казалось бы, все места распределены и навсегда заняты – заявляет о себе более чем убедительно накануне своего семидесятилетия: приходит к читателю повестью, точка в которой поставлена буквально вчера, уже в новом, двадцать первом веке.

При том что дух этой мастерски сделанной вещи настоян на дрожжах былого времени, он тревожен и заразителен той самой правдой, которая не декларируется, а высекается верно найденным словом, разумно выстроенным сюжетом, умело писанным портретом и четко используемой деталью.

Боровский отважен: всю свою жизнь он пишет ту пору человеческой жизни, которая извечно бежит слова, – его интересует безъязыкость отрочества, тот отрезок нашего бытия, когда и наш поступок, и наша мечта, и всякая наша привязанность упрямо алогичны. Если детство залито вечным светом, таинственно держащим в непреходящем равновесии весь Божий мир, если юность, играя мышцами, вынужденная мчаться в сторону неясно мерцающих идеалов, волей-неволей мутит этот свет, то отрочество – это потемки меж светом незыблемым и светом потревоженным – послесвет и предсвет.

В этих потемках терялись наши классики («Отрочество» Толстого уступает его «Детству» и «Юности», Егорушка из чеховской «Степи» много лучше его «Злого мальчика»), из этих потемок, едва побывав в них, бежали и Битов («Бабушкина чашка»), и Распутин («Уроки французского»), и Вампилов, чей Васечка, бесконечно светло влюбленный в зрелую женщину, уже, вероятно, вырос – в Зилова или же в терзающего его Официанта; к этим потемкам и близко не

подошел наш Машкин, одаривший нас чудной повестью о детской влюбленности.

Практически все вещи Федора Боровского (и неоднократно переиздававшийся «Рыжий», и – лишь по одному разу – «Бунт в королевстве» и «Здравствуй, эй!», и не потерявшаяся в сибирских журнале и альманахе его «Цицинателла») – это упрямое, сверхпристальное вглядывание и бесконечное вслушивание в отроческую душу, в те осколки, что остались в ней от миновавшего детства, в тот гул, который идет на нее со стороны неведомого будущего.

Самое замечательное в случае с Боровским – это то, что он пишет своих отроков и отроковиц на пределе серьезности, ничуть и никогда не противопоставляя неустойчивость их отроческого мира устойчивости мира взрослых, а стыкая, вернее, примиряя один с другим.

Между прочим, в книгах Боровского нередко взрослые ведут себя так, как отроки, и наоборот, отчего по их прочтении мы некоторое время живем с чувством разумного равновесия.

Это при том, что рассказы и повести писателя никогда не обходятся без конфликта – без горечи, печали и – пусть редко – растерянности...

Здесь будет к месту припомнить тех писателей – уже не наших – которые, как и Боровский, упорно стучались в потемки отрочества: многожды перечитываемый Сэлинджер, плохо прочитанный Фолкнер, почти не читаемый Трумен Капоте, – а, припомнив, сравнить их с нашим Боровским, разумеется, в пользу последнего, ибо если англо-американский подросток всегда воинствен, то наш – по Боровскому – всегда открыт. Это не из той оперы, в которой «советское – значит отличное»; это из той области, где нам впору талдычить о менталитете...

Что касаясь самого писателя Боровского, то он встречает свое семидесятилетие так же, как встречал пятидесятилетие – в работе, в долгах и – как будто отмечая свое тридцатилетие – беспечно: читатель странных книг, вечный спорщик и создатель всевозможных теорий –

экономических, политических, геополитических, физических и химических, – он смахивает на подростка: длинный, худой, нескладный, целе- и нецелесообразный для литературной суеты и литературных обид.

Читателю этой книги будет нелишне знать, что Федор Моисеевич Боровский по профессии геолог, что, исходив вдоль и поперек всю Восточную Сибирь, он не написал об этом ни строки, разве что, став на некоторое время преподавателем Иркутского геологического техникума, разогнал себя на несколько статей да одну брошюрку; читателю этой книги будет нелишне напомнить, что несколько лет назад он выкинул очередной отроческий финт: написал немалую в объеме повесть о войне «И ныне, и присно» (это при том, что пороха и не нюхал), в которой загнал на небеса души бойцов враждующих армий – немецкой и советской – и, вынудив их поговорить о вещах вечных, навечно же и примирил.

Читателю этой книги стоит знать и о том, что лишь несколько публикаций Федора Боровского, случившиеся за несколько лет до его семидесятилетия в журналах «Знамя», «Сибирские огни» и «День и ночь», вынудили восторженно говорить о нем таких наших строгих зоилов, как Инна Булкина и Андрей Немзер...

Нет, все-таки он, Федор Боровский – и писатель, и человек, – более чем странный: все у него, как у отрока, – и книги, и признание – с опозданием. А может быть, наоборот – вовремя?

25 октября 2003

Во всю грудь, во все легкие

Алексею Комарову – 50

Мы были коллегами по журналистике, работали на былую «Молодежку», были и остаемся друзьями по несчастью:

болеем – никак не переболеем – словом, боремся – никак не победим – с Бахусом; смотрим одни и те же спектакли, ходим на одни и те же вернисажи, читаем одни и те же книги, слушаем одну и ту же музыку.

Всякий раз – растревоженный новым звуком или словом, новым полотном или кинокадром – я оглядываюсь на него: что скажет, как объяснит, куда вынесет своим монологом Алексей? Всякое его суждение для меня дорого, потому что оно – я знаю – будет непременно отлично от других: своей продуманностью, разумной опорой на авторитеты, мудрой – на нажитый опыт.

Опыт его заслуживает всяческого уважения: мальчиком пришел в «Молодежку», будучи человеком сугубо городским, определил себя в отдел сельский – для того, чтобы понять, что есть современная деревня, мотался по области, старательно минуя районные центры и стучась в деревни малые, как говорили тогда, «бесперспективные»; из материалов, которые у него написались, сложилась книга – «Твой дом на твоей земле». На обложке книги два имени – его и его Люси (может быть, из-за нее, деревенской девочки, желая во что бы то ни стало понять ее, он и прикипел к нашему селу), которую он поначалу выучил писать чисто и даже прозрачно, а потом взял да доверил ей и семейный очаг, и заботу о девочках: вышедшей уже в классные переводчики с французского Маше и делающей первые уверенные шаги в искусстве Василисе. По прошествии времени книга эта не устарела: живое тепло не выстыло, подлинная боль не утихла, разумные соображения не стали банальными...

Из «Молодежки» он ушел в «Труд» – второе десятилетие пишет для страны, делает для нас региональную вкладку, может быть, самую культурную из всех, какими снабжены наши сегодняшние центральные издания. Помню, как вздрагивала «Молодежка», когда приходила очередь обозревать текущие номера ему, Алексею: он рубил правду-матку, не помня о корпоративных правилах собутыльников:

автору скверного материала, неверной мысли или, не дай бог, неверно построенной фразы доставалось по первое число.

Знаю, что к себе он относится еще более жестко: всякая его статья дышит во всю грудь, всякая фраза – во все легкие. По этой причине он – белая ворона: отменный стилист там, где давным-давно позабыли, что это такое, человек позиции на той территории, где это считается неприличным, такой литератор, коими была богата старая наша журналистика и бездумно бедна журналистика сегодня. Очерк, написанный пером Комарова, мог бы подсказать многим из наших писателей, как вернее поступать со словом, разумнее – с сюжетом, мудрее – с формой. Странно, что я знал его таким задолго до его пятидесятилетия – почти всю жизнь.

Пусть для Алеши Комарова она будет долгой и светлой.

13 марта 2004

Русские поэты иных берегов

...Боратынский, Тютчев, Некрасов, Случевский, Анненский, Мандельштам, Пастернак, Шенгели, Хармс, Введенский, Глазков, Бродский...

Яснее ясного, что все эти важные для меня поэты принадлежат России, и в первую очередь, главному для нее языку – русскому; конечно, мне и в страшном сне не приснится наш Пушкин как певец небес африканских, наш Блок – как воспеватель берегов Рейна, а наш Есенин – как поэт Персии. Однако я, как и вы, знаю: первый из них не однажды замышлял побеги в страны иные, второй испрашивал у советского правительства разрешения на выезд из эсэсэсэрии, третий – не без восторга – принял советский Туркестан за настоящую Персию и, оглянувшись на восточную строфику, воспел взоры чужеземки Шаганэ. Мы помним, что замысливший бежать из России Пушкин измучил себя упражнениями в стихосложении на французском, однако

никто не знает, что обрела бы при сопутствующей ему удаче поэзия Франции, но зато всякий ведаёт, что Россия – даже при успешном для поэтовой задумки раскладе – своего первого поэта не потеряла бы, ибо к тому времени Пушкин уже был Пушкиным: слово его не только прозвучало, но и многое – и во многих русских – изменило.

Чем были иные берега для русских поэтов: Италия – для Гоголя и Вячеслава Иванова, Франция – для Ивана Бунина и Георгия Иванова, Китай – для Валерия Перелешина и Арсения Несмелова, Америка – для Ивана Елагина и Иосифа Бродского, нынешняя Канада – для Бахыта Кенжеева?

Конечно, иные берега были для всех только что названных (и не названных) спасением, в том числе и от большевистского террора, гэбэшных наездов и цензурных шпицрутенов. Что значили эти иные берега уже не для них, как российских странников или эмигрантов, а для их муз?

Ровным счетом ничего, ибо ни одна из сих муз менять свое местожительство даже и не собиралась: как начали они свое иностранное бытие на российских просторах, так на них же и остались, ибо и большой, и малой родиной для всякой порядочной музы является не город, ей внимающий или ее не переносящий, а язык, ее выкликнувший, а заодно и окрыливший.

Кто будет сомневаться в том, что «Дух дышит, где хочет...»!

Кто не согласится с тем, что Духу вольготнее всего дышится в языке, в слове, так вышло, что в нашем случае – русском, так выходит, что – к нашей радости – в стихе русском. Посему и взглядываю на всех помянутых в этом монологе как на счастливчиков: сбежали, поскрылись, эмигрировали – пребывают себе на радость, будучи своими в области Духа, иностранцами – на меридиане быта...

Вечно настроенному на побег русскому поэту сбежать из России не стоит труда: строка-другая и – он, глядишь, мусульманин, строфа-другая – и он в иудеях. Но мусульманин он – русский, иудей – русский, китаец – русский, ибо прежде всего и везде – русский поэт, ибо бежать из

языка равносильно для него самоубийству – здесь, в русском слове, его родина...

Все это, конечно же, наговорено затем, чтобы указать на наше родство – по Слову, а значит, и по Духу, и, само собой, по прописке – с теми поэтами, которые съезжаются на наш четвертый фестиваль поэзии, чтобы лишний раз настоять на нашем братстве: с живущей в Германии Ларисой Щиголь, с прикипевшей к Англии Лидией Григорьевой, – затем, чтобы означить счастливую общность для нас, прописанных на сибирских просторах, с русским лондонцем Равилем Бухараевым, с русским американцем Андреем Грицманом, русским парижанином, а заодно и чехом, Александром Радашкевичем, с русским иерусалимцем Семеном Гринбергом.

Свои для русского слова, самые свои для русского стиха и русской поэзии, они – русские поэты иных берегов – могут примниться иностранцами только тем, кто ни слово это, ни стих этот, ни поэзию эту вообще не дорасслышат, то есть, как подсказывает Библия, исключительно безухим.

Равиль Бухараев – казанский татарин, с отличием закончивший мехмат Казанского университета, сделавший нешуточные открытия в иностранной для меня области математики; однажды, по случаю заброшенный в Венгрию, он настолько подчинился ее слову, что оказался первым, кто создал на языке великого Петефи венки сонетов; русский поэт, он особо любим мусульманским миром – на его счету около десятка томов, объясняющих воздух Корана, в его активе несколько тысяч дивящих своим наивернейшим звучанием русских стихов; на одной из моих книжных полок, среди многих иных его сочинений, живет одна из престраннейших книг минувшего столетия – вышедшая в Лондоне с четырьмя венками сонетов, написанных Равилем на русском, татарском, английском и венгерском.

Неизменно вечная муза Бухараева – русская поэтесса Лидия Григорьева – живет по иным законам: стих ее, начавший свое житие на Чукотке и в Москве, продолжившийся на Украине и

в Лондоне, иной: то захлебывающийся от счастья, то заикающийся на боли, он, создаваемый во имя иной, новой музыки, глотает слова и даже фразы, чтобы разом – и его создавшей, и ему внимающему – очиститься, посветлеть лицом, душою и помыслами.

Живущая в Мюнхене русский поэт Лариса Щиголь, опять же, иная: ее стих глядит во все стороны жизни, не в силах проигнорировать ни день нынешний, ни день минувший – он капризен, часто не послушен расхожим ритмам, срывается то на причитание, то на возглас, отчего мнится, будто устами Ларисы говорят все сразу: и девицы родной ее Украины, и многомудрые москвички, и наивные иркутянки, к коим она имеет самое прямое отношение, ибо жизнь ее берет начало именно что в Иркутске.

Андрею Грицману по силам сполна выговориться как в стихе регулярном, так и в стихе свободном, московская вольница то и дело перебиваема в нем петербургской строгостью, нью-йоркская подземка никак не заглушит его российскую тоску по несбыточному, а американские ритмы вынуждают переходить от ритма шалого к ритму неспешному: Грицман пишет еще и замечательные эссе, некоторые из них глядятся почти академическими.

Семен Гринберг на свой лад разрабатывает новую для нашей поэзии тему – тему бытия русского поэта и русского слова на Земле Обетованной. Вероятно, по этой причине стих его держится малейших подробностей, не чужд рассказа, но и – темнот, обеспеченных добротным знанием Торы, то и дело перебиваемой родной для него Москвией.

Александр Радашкевич вернее многих помнит ахматовское замечание, предлагающее нам взглянуть на лирику как на единственную возможность спрятать главную часть своих помыслов. Его стих особенный: задыхающийся на расхожих метрах, легкий и не ведающий никаких остановок в претранных верлибрах. Радашкевич редко-редко пишет, вглядываясь в нас, внимающих ему читателей, чаще – в себя, дря – чтобы приостыла – на свою ребячью душу, в

которой на равных сходятся и давняя Уфа, и недавний Питер, и жаркая Москва, и уютный Париж, и страсти нынешние со страстями времен Екатерины Великой...

Из-за этих, бесспорно русских, поэтов, живущих на иных берегах (приплюсуем к ним русского американца Льва Лосева, русского канадца Бахыта Кенжеева, русских немцев Вебера и Чконию, русских парижанок Горбаневскую и Погожеву) наше культурное пространство представляется мне безбрежным...

Равиль БУХАРАЕВ

Я и не жил до сих пор толком.
Был как новый, а теперь – трачен.
Что ж ты вяжешь-то меня долгом?
Донимаешь-то зачем плачем?
Уходил я от тебя сушей,
потому что был твоей скукой.
Что же нынче-то в тоске сущей
допекаешь ты меня мукой?
Уходил я от тебя небом,
отцепись ты со своей болью!
Все-то манишь ты к себе хлебом,
а встречаешь, дай-то Бог, солью.
Уходил я от тебя морем,
загибался под чужим кровом...
Да отстань ты со своим горем!
Отвяжись ты со своим зовом!
Обделяла ты меня волей,
наделяла грудой объедков...
Что ж ты мнишь себя моей долей,
кровом, родиной, землей предков?
Что ж ты мнишь себя моим домом?
Что ж ты мнишь себя моим храмом?
Испечется всякий блин комом.
Обернется всякий стыд срамом.
Только сам-то что опять вою?
Мне ведь идолы – твои боги.
Но куда я с этой любовью,

кроме как опять к тебе в ноги?
Через море, небеса, сушу
вспять иду, как уходил раньше...
Измочалила ты мне душу.
Бог с тобою, будем жить дальше.

Лидия ГРИГОРЬЕВА

Тайно в империю въехав,
тайно ее покидаем.
И хорошо, что не пехом –
едешь, тоскою снедаем,
в еврокомфортном вагоне
или летишь на «Конкорде»,
житель иных Патагоний –
с гордой кручиной на морде.
Буде Господняя милость –
всюду закон непреложен –
выпрем Россию на вынос
мимо прилежных таможен.
Споро просеяв пространство
сквозь потогонное сито,
выпьем за гвоздь постоянства
в рваной обувке транзита.
В лапах тоски завиральной
чувет, что песенка спета,
житель Деревни Глобальной –
муха в сетях Интернета.
Мы ж, с переменным успехом,
все в чемодан покидаем,
тайно в империю въехав,
явно ее покидаем.

Андрей ГРИЦМАН

Над всей Испанией безоблачное небо.
Век кончился. Осталось меньше года.
Смысл жизни остается где-то слева,
у дачного загадочного пруда.
Над всей Голландией плывут головки сыра,

над пагодами домиков имбирных.
Там сдобный запах дремлющего мира,
он в перископе видится двухмерным.
Над всей Россией тучи ходят хмуро,
и в магазинах «появилось сыра».
Идут войска на зимние квартиры,
и на броне ржавеет голубь мира.
Над всей Малаховкой летают девки круто,
над зеленью прудов пристанционных.
Внизу в шкафах с тоской звенит посуда,
и мужики вздыхают исступленно.
Над всем Китаем дождь идет из риса,
но в атмосфере не хватает сыра.
По всей Евразии летает призрак мира
подобием дощатого сортира.
Летит над США ширококрыло пицца
с салями и, конечно, с сыром.
За ней следит патрульная полиция
с сознанием веры, верности и силы.
В Канаде, там идут дожди косые,
густые, как на площади Миусской,
где сладковатый запах керосина
стоит сто лет и продают сосиски.
Над Средиземноморьем голубое
разорвано пурпурно-серым взрывом.
Фалафель там сражается с хурмою,
сулаки бьются с хумусом и пловом,
но, как всегда, нейтральны помидоры.
Над Гибралтаром вьется истребитель,
взлетевшая душа Шестого флота.
В компьютере там есть предохранитель.
Он нас предохраняет от ошибки,
чтоб не пришлось начать все это снова,
и, встав с колен в той безымянной дельте,
следить над головой за тенью птицы,
парящей и рассеянной в полете.
Глядишь, и улетит, нас не заметив,
к далекой нам неведомой границе.
Я, как всегда, один лечу безбожно
над океаном, беспредельно снежным.

Двойное виски ставлю осторожно.
На стюардессу я гляжу безгрешно,
как на заливы Северной Канады,
и мир пульсирует на телепанораме.
Так славно ощущать себя агентом
Антанты, в белой пробковой панаме,
Джеймс Бондом в легкой шапке-невидимке.
И, пролетев над Англией, как ангел,
в Италии остаться у залива,
случайно и как будто по ошибке.
И пить кампари, чтоб не опознали.
В вечернем баре девке в мини-юбке
слегка и бескорыстно улыбнуться,
с надеждой, чтобы, опознав, еще налили.

Лариса ЩИГОЛЬ

Что ж – Пушкин? Ну сказал – и был таков.
На то и гений – не понять не стыдно.
А что между словесных игроков
Столь много наплодилось дураков,
Так в том его вина не очевидна.
Что ж – Пушкин? Ну сказал – так ведь не нам.
Известно, что поэт по временам
Насмешничал и даже корчил рожи.
Известно же, что тот, кому сказал,
Эвтерпу и впоследствии терзал
И что вообще врубился – непохоже.
Что ж – Пушкин? Сам-то был умен, как бес.
И с этой констатацией, и без:
Никто других к уму не приневолит.
Вот он сейчас глядит на нас с небес,
Хихикает в кулак и ноготь холит.

Фестиваль поэзии на Байкале организован Иркутским отделением Союза российских писателей, поддержан Министерством культуры России, Ассоциацией писателей Сибири, областным комитетом по культуре, управлением культуры Иркутска, администрациями Ангарска, Зимы,

Саянска, Братска. Среди спонсоров фестиваля – Гута-банк (Михаил Стебихов), Банк Союзный (Аркадий Корбух), ОАО «Гипродорнии» (Анатолий Косяков). Среди фестивальных изданий – альманах поэзии «Иркутское время» (выпуск третий), новая книга стихотворений Андрея В. Богданова «Але-але», книга-поэма Андрея Тимченова «Пустынное место», книга избранных сочинений поэта и сопредседателя Ассоциации писателей Сибири новосибирца Владимира Берязева «Кочевник». Фестиваль открывается поэтическим вечером 16 апреля в художественном музее имени Сукачева, продолжается «круглым столом» в библиотеке Молчанова-Сибирского, мастер-классом в гуманитарном центре Полевых, поэтическими вечерами в Ангарске, Зиме, Саянске, Братске.

10 апреля 2004

Неразлучные ангелы света

По установившейся доброй традиции мы отметили день рождения Марка Сергеева. В седьмой раз без него. Но и с ним. Потому что премии, которые мы вручаем юным художникам, музыкантам, композиторам, архитекторам и литераторам (всем им не старше восемнадцати) – это продолжение той заботы, которую Марк Давидович демонстрировал по отношению к будущему нашей культуры в течение всей жизни. Потому что это – продолжение бытия того русского интеллигента, того служителя муз и Отечества, а заодно и вернейшего из подданных земли прибайкальской и иркутской, каким был и остается для нас Марк Давидович.

В этот день сообществом творческих союзов Иркутска с участием представителей фонда культуры и СМИ были названы имена интеллигентов сибирской провинции. Среди тех, кто в прежние годы был поименован этим званием, были покойные ныне создатель фондов нашей «Сукачевки» Алексей Фатьянов, поэт и архитектор Владимир

Пламеневский, действующие, слава Богу, по сей день режиссер Леонид Беспрозванный, поэт и библиофил Виктор Сербский, ученый Валентина Галкина, врач Гайдар Гайдаров, историк Евгений Ячменев, создатель Вампиловского музея в Кутулике Юлия Саломеина. Нынче к этим достойнейшим прибавились не менее достойные: первый губернатор Иркутской области Юрий Ножиков, популяризатор творчества Вампилова Галина Солуянова и два художника – Раиса Бардина и Евгений Шпирко.

Наши газеты и телевидение много говорили о первом, не однажды предоставили слово второй и почти не заметили третью и четвертого. Меня это поначалу огорчило, а потом обрадовало: истинный интеллигент всегда в тени, делаемое им не может не быть чуждым бойкому телекомментатору или лихому обозревателю «светской тусовки».

Кто-то из сих бытописателей минуты не сдержался и, не без восторга откликнувшись на имя Ножикова, согласно покивав на имени Солуяновой, на именах Шпирко и Бардиной развел руками: «Этих-то кто знает?» «Этих» знают те, кто знает чуть более того, о чем полагает нужным знать он сам, – к примеру, те, кто помнит о том, что культура наша почти всегда и издавна складывалась людьми несуетными, слышащими и видящими нечто такое, что до поры до времени не дано расслышать или разглядеть другим, живущим по иным законам.

Кто из нас назовет имя автора «Курочки Рябы», кому ведомо имя человека, впервые запевшего бессмертные некрасовские строки про то горе, «которое по свету шлялося и на нас невзначай набрело»? Кто с ходу назовет имя автора «Байкальского бродяги» или – так же сходу – вспомнит, что значил для России тот Омuleвский, имя которого носит одна из улиц Иркутска?

Истинный интеллигентный человек всегда дарит – истинный потребитель иногда использует; первый счастлив тем, что сказался, второй – что имеет возможность воспользоваться

кем-то сказанным исключительно по своему усмотрению: втоптать в грязь, приладить к стене или приговорить к душе. То, что Раиса Николаевна Бардина присутствовала в его детстве, ему, ныне летящему по лестнице разноцветных мнимособытий, это невдомек – нет у него времени вспомнить те книжки, что радовали его на заре его туманного детства, благодарно кивнуть в сторону тех самых страничек, что рисовались для него, его ребятишек и внуков трепетной рукой Раисы Николаевны.

Скажи ему, что Евгений Владимирович Шпирко, неведомо для себя и незримо для него, как вкушателя и служителя всего шумно-разноцветного, пища свой серебряный Иркутск, озаботился об ауре того бытийного ядрышка, без коего наш город не походил бы на наш город, он не поверит.

А Евгений Владимирович Шпирко прошел со своим первым карандашиком через всю войну, намаялся, добывая хлебушко для того, чтобы его Раечка без отрыва на быт рисовала своих зайчиков, бабочек, лисичек, свои настурции и ноготки, черемухи и сирень, чтобы их сын Саша (светлая ему память) вышел в лучшего для своего времени художника книги, а вместе с тем – и в особенного живописца Иркутска, заодно вырастая еще и в подлинного русского интеллигента... Евгений Владимирович писал плакаты, едва находя время на то, чтобы написать воздух осени или дыхание весны, дабы его другой сын, Андрюша, ощутил себя истинным зодчим, а дочь Марина – художником, то есть на то, чтобы их с Раисой Николаевной дети и внуки помнили о своей принадлежности к той самой «прослойке», что величают (кто с презрением, а кто и с уважением) русской интеллигенцией...

Вот они проходят по нашим улицам, навечно неразлучные ангелы света, Раиса Николаевна и Евгений Владимирович: подлинная, но не видимая суетному миру укротительница цвета и пятна, линии и звука, подлинный труженик, неслышимый огромной братией художников аж до своих восьмидесяти (лишь в этом возрасте Евгений Владимирович удостоился членства в официальном союзе); русские

интеллигенты, счастливые весной, ее светом, водой, голосами; и вся их забота – остановить счастливое мгновение жизни с помощью карандаша, кисточки, акварели, гуаши, масла.

Мы глянем на сделанное ими, возможно, вздрогнем, возможно, и ахнем, но наверняка помчим дальше, ничуть не догадываясь, что наша глупость уже счастливо смущена – жизнью упрямых бессребреников, вечных мечтателей, неисправимых детей, одним словом, несомненно главных интеллигентов нашего нелепого бытия.

20 мая 2004

За муки и труды

Когда месяц тому назад я переходил от одного красноярского стола к другому, когда бродил по Овсянке (увы и ах – более меж столами, чем меж березами), я то и дело выпадал из праздничного шума: в самые торжественные моменты для устроителей астафьевского юбилея слышен мне был голос самого именинника, покойного, но, несомненно, живого для меня Виктора Петровича. И мнилось мне, будто хороший русский писатель, взглядывая из своего далека на все, творимое нами якобы в его честь, внятно и, как при жизни, очень по делу, вкусно и определенно по-русски матюкается... Раздражение Петровича (и питерец Кураев, и пскович Курбатов, и я, вслед за ними, величали в те дни Астафьева именно так, а не иначе) легко объяснялось: дом бабушки, в котором он вырос и с которого для него все началось, под корень срезали, на его месте поставили безукоризненно парфюмерный новодел, догадавшись заселить его не только мебелишкой, которая приходилась ровесницей Петровичеву детству, но еще и разукрашенным, наряженным в портки да бусы музейным воском, в коем мы, примчавшиеся кто откуда, должны были узнать и дедушку писателя, и его бабушку, и его брата Алешу, и даже его самого: в одном случае –

мальчика, познающего жизнь через игру с деревянными лошадками, в другом – юношу, обдумывающего житье.

Как будто не читали мы «Последнего поклона», не плакали над его страницами, угадывая в его Катерине Петровне каждый свою – добрую, мудрую, изработанную телом, но не истончившуюся душою – великую Бабушку...

«Здесь было все: и игры, и драки. Здесь меня приучали к труду: заставляли огребать снег, выпроваживать весенние ручьи за ворота. Здесь я пилил дрова, вертел точило, убирал навоз, ладил трактор из кирпичей, садил первое в жизни деревце».

В том дворе, который вылепил Астафьева как мужика и писателя, нынче темно от фотовспышек и душно от запаха декоративного сена. Разве что опилки, заметенные по его углам, дышат так же живо ипряно, как семь десятилетий назад...

В другом дворе – того самого дома, что был прикуплен уже всемирно известным писателем Астафьевым для душевного спасения на закате его земного бытия, – аккурат на том самом месте, где некогда кособочилась врытая в землю добрая столешница, служившая для многих Петровичевых гостей чем-то вроде аналая, на тяжеленном мраморном постаменте воссели две бронзовые фигуры: якобы Виктор Петрович и якобы его женушка (кстати, тоже писатель), великая страдальица Марья Семеновна. Автор сего творения догадался изобразить их в натуральную величину, но ничуть не потрудился сложить для них единый воздух: каждый из дорогих для нас людей полужив сам по себе, будто и не страдали они сообща, вытягивая себя да своих ребятишек, своих внуков да правнуков к тому самому свету, из-за которого мы, вдруг угадывая его или даже видя, всякий раз трепетно вздрагиваем...

«Спросите у мертвых», – неизменно, вслед за иными мудрецами, настаивал умный человек и совестливый историк Михаил Гептер.

В случае с юбилеем Виктора Петровича Астафьева мы, по обыкновению, позабыли спросить, как нам поступать, именно у него самого, набравшегося к нынешнему дню не только опыта бытия, но уже и опыта небытия. И вот, на шумевшись заодно с другими, я вижу, что мы непростительно для нас всех нарушили, если не порушили, главный писательский завет, который звучит в его Слове.

«Как бы хотелось, чтобы человек в развитии своем достиг такого совершенства, при котором, покинув сей свет, мог бы он слушать музыку родной земли. Лежал бы на вечном покое, отстраненный от суеты и скверны житейской, а над ним вечная музыка. Для него только и звучит. И все, что он не смог услышать и дослушать, при всей своей бедовой и хлопотной жизни, дослушал бы потом, под шум берез, под шелест травы и порывы ветра... Вот это и было бы бессмертье, достойное человека, награда за муки и труды».

Именно этими словами писателя завершил свою мудро составленную книгу «Созвучие» иркутский издатель Геннадий Сапронов, в которой, как некогда в земной жизни, сошлись два русских мужика – дирижер Евгений Колобов и писатель Виктор Астафьев. Сошлись на музыке, на странно вечной любви к Свиридову и Рахманинову, Альбини и Каччини, Шуберту и Верди...

К тем словам, что сказаны ими об этих гигантах (издатель использовал и колобовские интервью, и те астафьевские страницы, где тот пытался объяснить для самого себя созидательную для человеческой души тайну звука) присовокуплен музыкальный диск: еще живой Колобов дирижирует своим оркестром, еще не ушедший от нас Петрович роняет счастливые слезы: «Боже праведный, – шепчет он, – подаривший нам этот мир и жизнь нашу, спаси и сохрани нас!»

27 мая 2004

«...чтоб мыслить и страдать»

... и жены приходили, и дети, и даже те, что в счастливо несчастливую минуту мнились друзьями – все, увы, как-то ненадолго, на мгновение, как и дедушка с бабушкой, как и юность с подружкой...

Если кто и пришел, чтоб уже не оставить, то – он, Пушкин: поначалу с вещим Олегом, положенным на дедову певучесть, потом – с бурей, заласканной голосом первой учительки, а затем уже и с Онегиным, Дубровским, Нулиным, Пугачевым, арапом Петра Великого, Медным всадником, Каменным гостем, с тем, что якобы из Парни, Пиндемонти, из песен западных славян, из наших и не наших сказок; и все это через всю жизнь – через детство при печке, через молодость при лампочке, через зрелость при бессоннице, может быть, и при смерти случится, которая, даст Бог, с ним же, Александром Сергеевичем, и стыкнет...

Когда я – лет пятнадцать назад – приходил в себя, отлеживаясь в нашей мединститутской клинике, я торчал у того окошка, из которого всего виднее был его бюст, неведомо как угодивший на самую середочку цветочной клумбы.

«Это хорошо, – думал я, – что из окна больничного коридора всякий хворый перво-наперво тыкается зенками в его кучерявую макушку, – это здорово придумали, – вздрагивал я трепетно, мысленно сгоняя с этой дорогой для меня макушки то тополиный пух, то синеперую синичку, – ибо это не может не быть полезным и почечникам, и сердечникам».

Сегодня этого бюста, исполненного по советским лекалам, уже нет: люди умирают, не успев как следует подумать о поэте, отчего их расставание с жизнью случается как бы без

прощального, профильтрованного пушкинским стихом света...

Помню, когда на двухсотлетие со дня его рождения я попал в жаркий Питер на Конгресс поэтов, и нас было много, и со всего света – из Америки и Австралии, из Азии и Европы, – я, при всем при этом, испытывал нечто вроде нехватки воздуха: стихов было много, и звучали они круглосуточно и бесперебойно, а пушкинского звука не слышать. Конечно, я возвратил себе этот звук, но уже вдали от питерской шумихи – на девятом этаже своей иркутской берлоги, при жене и дочери, при ночной бабочке и утренней птице.

Поэт, не дорожи любовью народной, Восторженных похвал пройдет минутный шум; Услышишь суд глупца и смех толпы холодной; Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь: живи один...

Он и вел себя – в свой день рождения – как царь: к нам, нынешним стихотворцам, не вышел, разве что подмигнул, а тогдашнее наше правительство – то, что обращалось к нему исключительно по бумажкам, и вовсе проигнорировал, то ли за Керн волочился, то ли Вяземскому выговаривал за его неточную строку, то ли, устав верить своей музе «изнеженные звуки безумства, лени и страстей», шел по дороге к Богу.

... И внемлет арфе серафима В священном ужасе поэт.

Сдается мне, будто тот священный ужас, которым был объят наш Александр Сергеевич после его милой – на наш суетный взгляд – перепалки с отцом Филаретом, мы то и дело и пренапрасно игнорируем: все-то он у нас «свет», все-то «мороз и солнце, день чудесный» или, на худой конец, Севилья, которая «объята покоем и сном», хотя на самом деле самые горькие из тех строк, что он оставил нам – «Дар напрасный, дар случайный» – были сложены им именно в тот

день, когда ему исполнилось всего-навсего двадцать восемь...

Помню, как не хотела поверить в это покойная наша писательница Валентина Ивановна Марина, отчего-то уверенная в том, что строки эти вовсе и не Пушкина, а Лермонтова. Да и кто из нас, в очередной раз собираясь отметить его день рождения (а он случится, как случается весна или поздняя любовь), выйдет на люди, чтобы выдохнуть выстраданное им в поучение всем нам:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

Если вспомнят его такого подлинного, то уже после праздника – один на один, при его томике, где залитом прабабкиной слезкой, где помаранном дедовым карандашиком, где пахнувшим «Красной Москвой», подаренной твоей постаревшей матушке твоим уже отошедшим к нему – как и многие – батюшкой.

Как славно, думаю я, что и они, уже бывшие, тянулись к нему, собственно, как вы и я, как ваши и мои соседи, как ваши и мои друзья, верные и неверные подружки. Как славно, думаю я, что мы не умели и, кажется, никогда не научимся отмечать его день рождения без глупых слов, смущающей наши сердца шумихи, да и как и когда учиться нам не трепетать пред царской особой!

Как это по-нашенски, ухмыляюсь я, любя сделанное им горячо и искренне, – сойтись в обществе его имени (а их, таких обществ, в нашем отечестве тьма-тьмушая, а самое большое, кажется, в Братске), чтобы озвучить такие свои сочинения, из-за коих он – с небес, одесную ангела – поначалу бы хмурился, а потом по-африкански громко бы всхлехатывал.

И еще, мечтаю я, хорошо бы вернуть тот самый бюст, который помог мне выкарабкаться из болезни, а кому-то из моих сопалатников встретить свою смерть при его свете, – хорошо бы, думаю я, чтобы тот самый кучерявый бюст жил-поживал бы на прибольничной клумбе, потому что с ним, Александром Сергеевичем, непросто, но и просто, нелегко и легко, в конце концов, при любом раскладе, всегда по-родственному...

3 июня 2004

Свои – по своим

...Уже и не вспомнить, кто из нас первый обидел, а кто – обиделся, из-за чего и в нашем Иркутске (а, следовательно, и в Ангарске, и в Братске, и даже в Зиме и Саянске), как и во многих других городах, два писательских союза, две, обиженные друг на дружку, творческие организации: то ли покойный Шастин – на покойного Огневского, то ли живой Машкин – на живого Боровского.

Жили мы до этого не то чтобы очень уж дружно, но все-таки: то на дне рождения Марка сойдемся, то на выходе книжки Сережи Иоффе, и, конечно, когда выпьем по первой, то и болтаем с тем, кто ближе окажется; – выйдет, что с Васей, значит, с Васей, выпадет, что с Аликом, значит, с Аликом. А уж после второй, а тем более после третьей – все люди братья, а писатели – тем более: все одинаково несчастны, все по-своему счастливы.

Долгое время, когда меня спрашивали, что и как вышло между нами, я отмалчивался, а потом выбрал да зацепился за такое объяснение: «развод на эстетическом поле».

Этому и наш губернатор, Борис Александрович, и наш мэр, Владимир Викторович, не очень-то хотели, да поверили и, войдя в положение, то тем подмогнут, то этим: так же не

гаснет свет в Доме литераторов имени Петрова, как и в Доме литераторов имени Марка Сергеева, шумят на нашей земле то фестиваль поэзии на Байкале, то Дни «Сияние России», выходят и «Сибирь», и «Зеленая лампа», и коли одни заывают к себе Евтушенко да Кушнера, то другие зовут – кто же им помешает? – Бондаренко с Куняевым. А уж читатель наш иркутский сам выбирает: коли ближе ему та линия, которую некогда начертали братья Киреевские да братья Аксаковы, к последним торопится, а уж коль склонен он к линии Некрасовской или Фетовской, мчит к первым...

Так бы и жить – при флагах, которые «все в гости к нам», да при той поддержке, которой то Вера Ивановна Кутищева одарит, то Светлана Ивановна Домбровская не обидит, тем более что, как известно, ничего подобного в иных российских регионах не бывает.

Я вспомнил об этом, поскольку случились в нашем Отечестве два писательских съезда разом: один, который Союз российских писателей организовал, другой – который Союзом писателей России организован. Первый в русском городе Смоленске засел, второй в русском городе Орле окопался, причем засели они да окопались почти в одно и то же время, с разрывом лишь в несколько дней.

То, что случилось на первом съезде, я знаю, что – на втором, вот-вот узнаю, потому что на первом побывал самолично, а на втором – некоторые из моих друзей-приятелей.

Так вот, в Смоленске было славно и даже целебно для души, потому что никто ни с кем не ссорился, все говорили о работе, о том, что задумывалось да получилось, о том, что придумывалось, да не вышло.

А после двух дней съезда была у нас конференция, тема которой звучала таким манером: «От языка вражды – к языку толерантности». И здесь, так уж вышло, вспомнились обиды – пошли-поехали рассказы о родных антисемитах, о живущих по соседству где – скинах, где – фашистах. И оказалось, что, как и в наших палестинах, сочувствуют им не кто-нибудь, а некоторые из наших братьев-писателей, отчего тот язык, на

коем они с некоторых пор изъясняются, никак не переходит из языка вражды в язык терпимости, то бишь, если по-научному, толерантности...

А на второй день нашей конференции мы уже и не говорили – больше молчали или даже плакали, потому что коллеги-смоляне повезли нас в вотчину Александра Трифоновича Твардовского, на восстановленный его братом, Иваном Трифоновичем, хутор Загорье, а затем – в Талашкино, которое во многом восстановили, а потом – в Катынь, на место захоронения ни в чем не повинных поляков, а под конец – и на то место, где немецкие фашисты постреляли смоленских евреев.

Косточки князя Тенишева – того самого, что создал в Талашкино Врубеля и Рериха, Билибина и Малютина, – повытащили из его могилы первые советские комсомольцы, догадавшись забросить их под березовый комель, который пойдя сыщи; жизнь Трифона Гордеевича Твардовского размололи на наших «северах», судьбы обрусевших поляков да обросиевшихся иудеев – учителей да докторов, сапожников да священников – сожгли, не поморщились...

Вот вам и эстетика, на поле которой нынче, за давностью, сосна повыше – сосна пониже, бугорок к северу – бугорок к югу.

И вот когда каждый из нас сложил все это увиденное да услышанное в один тяжкий узел, оказалось, что среди тех тысяч убитых, праху коих мы поклонились, не было ни одного по-настоящему виноватого, а в раскулаченных (как отец Александра Трифоновича) – богатых, и выходило, что свои лишали жизни своих, а чужие... – тоже своих, потому что все мы – и евреи, и поляки, и русские, и, конечно, немцы – мазаны одним мирром, да и в Библии разве не об этом же, когда «нет ни эллина, ни иудея»?

И вот сейчас, заново возвращаясь в тот день, когда более обычного болело сердце, а к глазам подступали слезы, я вижу в печально возможном нашем будущем сначала одно кладбище, а потом второе-третье, зрю на их безразмерных

пространствах, как в Катюши – венки, или, как на месте еврейского расстрела – камень, а под ними – мы, поубивавшие друг друга понапрасну, потому что на самом-то деле лупим не только по «эстетике», но еще и по паспорту, и по шнобелю, и даже по храму...

А в Иркутске, говорят, еще один писательский союз замышляется, значит, и там, выходит, свои – по своим, писатель на писателя, брат на брата, сестра на сестренку, и что из всего этого выйдет – тексты, что получше, или здоровье, что похуже, новые книги или новые раны – я, уже битый и перебитый, после Смоленска (да и до него) более чем хорошо ведаю.

10 июня 2004

Аршином общим не измерить

То грачи налетят, то выборы – то большие, то малые. И все они с обращениями ко всем сразу, но как бы и ко мне лично, и всякое из этих обращений, летящее в сторону моих ящиков – теле- и почтового, радио- и интернетовского, – непременно на крыльях той нежной и, само собой, жертвенной любви, коей полон всякий из записавших себя в мои избранники, а следовательно, и в защитнички, и даже в радетели.

Стыдно признаться, но обретение всякого нового защитника якобы моих насущных интересов рождает во мне не столько уверенность в завтрашнем дне, сколько растерянность, ибо будит в моем сердце никакую не радость, а, наоборот, самую негасимую из печалей.

Рассказывая об одном из чиновников, числящихся по иностранному ведомству в послепушкинском девятнадцатом, умевший отвечать за свои слова литератор Иван Аксаков свидетельствует: «Исправляя, за отсутствием посланника, должность поверенного в делах и видя, что дел собственно

не было никаких, наш, в один прекрасный день, имея неотложную надобность съездить на короткий срок в Швейцарию, запер дверь посольства и отлучился из Турина, не испросив себе формального разрешения».

Известная сплетница той эпохи Смирнова-Россет добавляет к аксаковскому рассказу некоторые пикантные подробности: «Мсье оставляет архивы у фабриканта сыра и отправляется разъезжать от потрясения, чтобы найти вторую жену. Находит ее в Швейцарии и женится».

Картинка страшная: целое посольство на замке, а его представитель в течение четырех месяцев бродит по Европе в поисках очередной пассии. Между тем и Аксаков, и Смирнова-Россет, каждый на свой лад, говорят о тайном советнике и камергере Федоре Ивановиче Тютчеве, которого – если уж определять, то, конечно, никак не по чиновничьему ведомству, а, скорее, по линии русской изящной словесности, ибо, не будь его, вряд ли бы мы знали о том, что «на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней», о том, что «мысль изреченная есть ложь», а нашу Россию «умом не понять, аршином общим не измерить» и так далее.

В конце семидесятых я сошелся с ребятами из посольства одной очень даже симпатичной мне латиноамериканской страны, которая в результате веселого, но не бескровного переворота только-только встала на социалистические рельсы и помчала именно по тому самому пути, который не измеряется «общим аршином».

Так вот, в течение трех суток эти ребята (все, как один, красавцы, а через одного – поэты) только тем и занимались, что пили нашу водку да заодно со мной, нешуточно восхищенным их гулевым размахом, переезжали на служебном и прочем транспорте из пивнушки в ресторан, а из ресторана в пивнушку.

Я, конечно, периодически вздрагивал, ибо, согласно моим тогдашним понятиям, государственная служба предполагала круглосуточную трезвость, а коли и допускала душевное

горение, то лишь с опорой на гранит экономики или железо юрисдикции.

Сегодня, когда я, искренне благодаря телевизионному ящику, обнаруживаю нашего либерально-демократического лидера то на одной пьяной тусовке, то на иной, когда зрю задорно отплясывающего «барыню» нашего коммунистического лидера или же отсматриваю кинокадры, на коих некоторые из членов нашего правительства пьяны примерно так же, как был пьян я сам, общаясь в течение трех суток с целым посольским корпусом, – так вот, сегодня, видя все это, я и не вздрагиваю, и уже ничуть не дивлюсь, ибо, выходит, что такова традиция поведения не только наших, но и ненаших народных избранников: рано или поздно, оторвавшись от музыки или отклонившись от рюмки, они все равно рано или поздно припомнят и о своих обязанностях, и даже о своем народе. И потому, согласно наставлению одного из них, не стоит творимое ими «понимать умом», а ими сотворенное мерить на свой аршин, ибо, как сказано уже другим защитничком, одним из легендарных командиров былой гражданской, достаточно того, чтобы «верить и глубоко любить».

Я, как могу, верю и, как не умел до сей поры, люблю всякого народного избранника, угадывая в нем и российскую тайну, и фатальную невозможность объяснить свои чувства элементарной логикой. Более того, я не перестаю дивиться самому этому чувству и полагаю, что примерно так же наш гениальный Тютчев подивился, обнаружив однажды, что при его четырехмесячном неприсутствии на сверхважном государственном посту ничего невероятного не случилось, наоборот, союзнические отношения России и Италии окрепли еще более. Вполне возможно, что именно тогда, не на шутку подивившись, камергер Тютчев и воскликнул: «Умом Россию не понять».

И все-таки: когда в нашу городскую Думу – как сговорились – летят на крыльях любви ко мне, избирателю, один журналист

за другим, когда туда же наладился один из наших промышленников, упорно выдающий себя за поэта и культуртрегера и оттого с упорством маньяка навязывающий нам свои «творческие вечера», я не могу не печалиться. Отсутствие в наших СМИ одного-двух толковых журналистов, как и присутствие на пространствах нашей культуры еще одного графомана, я переживу элементарно – как насморк; однако присутствие такой «маленькой большой компании» в таком непростом деле, как городское депутатство, может даваться мне и моим близким посложнее борьбы с возможным СПИДом.

Безответственный камергер Тютчев (в отличие от нашего промышленника, крайне сопротивлявшийся размножению собственных сочинений) извинился передо мной гениальными стихами, мои собутыльники из семидесятых явно протрезвели, ибо, отказавшись от пути социалистического и отделив служение поэзии от службы государственной, тем самым облегчили судьбу своей страны. Но как будут извиняться передо мной и моими внуками за те дела, к которым априори непригодны не всегда чисто работающие журналисты, да еще тот из промышленников, что то и дело упорно и безрассудно тратится на рекламу своих мало вразумительных сочинений?

Неужто – только привычными для себя абзацами разоблачительных статей или же скверными стихами, не ведающими ни стыда, ни правил?

Впрочем, если, натворив глупостей, они извинятся передо мной такой журналистикой, на какую были способны Михаил Кольцов или Эрнест Хемингуэй, да, дай Бог, такими стихами, как у Федора Тютчева, то я – за них.

17 июня 2004

Единожды в году – под защитой

У моих соседей Ведерниковых – беда: по требованию своей подружки Яргайкиной их младшая, Аленка, натаскала из родительской заначки нужные для этой Яргайкиной суммы и таким образом лишила Володю и Наташу аж четырех кровных тысяч.

Когда, вконец расстроенные таким положением, Володя и Наташа вознамерились засудить эту четырнадцатилетнюю аферистку (ее взяли с поличным – через меченые деньги), Яргайкина-мама, дабы во что бы то ни стало защитить свое чадо, обвинила нашу Аленку во всех смертных грехах: и характера у нее, мол, нет, и нужного стержня не имеется, и даже девичья гордость отсутствует.

То есть, если бы к своим тринадцати наша Алена догадалась обзавестись нужным стержнем и достойным характером, она бы наверняка воспротивилась желаниям Яргайкиной-младшей, в результате чего та не стала бы оттачивать свою харизму на нашей Аленке, а семейный кошелек Ведерниковых остался бы нетронутым. Согласно соображениям Яргайкиной-старшей, во всем повинна Ведерникова-младшая; согласно выводам старших Ведерниковых, стоит винить во всем случившемся не кого-нибудь, а Яргайкину-младшую.

Я, разумеется, на стороне Ведерниковых, однако действия Яргайкиной-старшей мне, хоть и, мягко говоря, неприятны, но понятны.

И потому, оставив на время своих добрых соседей, я возвращаюсь к тому дню нашей жизни, который издавна и не без пафоса называется Днем защиты детей. Обыкновенно отмечаемый нами в первый день июня праздник этот – несомненно, человеческий по сути и, без сомнения, советский по содержанию – перманентен, что, конечно же, так же верно, как вчера – учение Карла Маркса, а сегодня – Зигмунда Фрейда.

Однако, коли государство наше, стабильно переходящее от Дня космонавтики к Дню Парижской коммуны, календарно озабоченное то защитой мелиораторов, то энергетиков, то строителей, а то и работников сельского хозяйства, может уделить нашим детям не более одного дня в году, то у нас, родителей, все наоборот: мы, будучи бюджетниками или шахтерами, врачами или дворниками, вынуждены стоять на защите своих чад не то что еженедельно, но и ежедневно, и даже ежеминутно. Ибо на ребятишек наших, не успевших обзавестись характером и не догадавшихся наработать нужную харизму, претендуют все разом: и дворовые лидеры, и скверные школьные учителя, и неразумное телевидение, и различного рода старшие и младшие Яргайкины. По этой причине мы – не рассчитывая в сей ситуации ни на выходные, ни, тем более, на отпуска – круглосуточно и бессменно пребываем в полной боевой готовности.

Увы мне и ах, но я могу позволить себе позабыть об этом лишь единожды в году – именно 1 июня, в День защиты детей, ибо именно в этот день, внимая ребячьим голосам, с раннего утра и до позднего вечера глядя на девчачьи пляски и слушая мальчишьи дудочки и скрипочки, я чувствую себя в сии минуты более чем защищенным от всех людских напастей: от скуки – раз, от печали – два, от гордыни – три, от зависти – четыре, от глупости – пять.

Нынче – в качестве мэтра – я предстал пред такими из наших ребятишек, которые оказались многожды умнее, но что самое главное – многожды светлее и чище меня, грешного.

Ребятишки, которые заставили меня перечитать мою жизнь заново и, конечно же, не без ужаса, – все как один сироты и калеки. Кто из них прикреплен к детдому Тайшета, кто – Зимы, кто – Иркутска.

Некоторые из них не без труда поднимались на сцену сами, некоторых поднимали на сцену их учителя.

Читали они сочинения тех, кого я люблю по стиху, и тех, кого числю в друзьях или учителях: Пушкина, Маршака, Берестова, Граубина, Евтушенко.

Девятилетний Сашенька, которого привезли из Зимы, трепетно поддерживаемый своей наставницей, читал евшушковское «Людей неинтересных в мире нет». При этом и лицо его, и голос представлялись мне ангельскими, а та интонация, с какой он говорил обо всех людях всего земного шара, выказывала в нем такого мудреца, который способен не только всех понять, но и всех простить.

Ах, как я был в ту минуту защищен!..

Ах, кабы мог сам Евгений Александрович слышать, как читает его юношеские стихи его многомудрый земляк! Услышь он Сашеньку, наверняка разрыдался бы заодно со мной и со всеми, кто случился в ту минуту в малом зале Иркутского музыкального театра на славном конкурсе «Байкальская звезда».

И тут, внимая Сашеньке, Мариночке, Павлику и Вовочке, возвращаясь через их нежные голоса и мудрые интонации к тем, кого люблю и уже никогда и ни за что не смогу разлюбить, я вспомнил, как и моя дочь, и моя жена, да и я сам прыгали под потолок после того, как прочли первое в жизни Аленкино стихотворение: о весне, апрельских лужах, солнечном зайчике.

Стихи были так хороши, настолько чисты и безукоризненны в своем приятии того мира, который Аленка увидела, как мир Божий, что я решил снести их к Светлане Асламовой, в ее славный «Сибирячок», но, чуть поостыв, приостановил себя, решив дожидаться новых Аленкиных стихов...

Увы, они не случились – не написались ею ни через месяц, ни через год, ни даже через два.

Вместо стихов случилась беда, из-за которой каждый из нас и красив, и некрасив по-своему: старшая Яргайкина в защите Яргайкиной-младшей, Володя и Наташа – в своем праведном гневе, а я... я, наверное, в том, что, не дождавшись новых Алениных стихов, взял да однажды накричал на нее – вроде бы за дело, но что мне стоило промолчать...

24 июня 2004

«Умереть не страшно...»

Сначала: девушек более стихов, потом – наоборот... То же самое и с ролями: поначалу сотни почитательниц, а чуть погодя – уже ролей...

То же самое и с мертвыми: до двадцати – все на сердце, после тридцати – все в памяти, а уж после сорока, а тем более, после пятидесяти – не то чтобы сердца или души не хватает, однако – начнешь считать оставивших тебя, и все со счета сбиваешься.

Когда ушли – друг за дружкой – Петр Иванович Реутский и Александр Зиновьевич Берман, я был в Москве, отчего ни с тем, ни с другим не простился – ни поклоном, ни гвоздичкой, ни живым вздохом, ни даже, увы, спасительным словом...

Вкруг первого, Петра Ивановича, мы, начинавшие под конец шестидесятых, кружились неразумными мотыльками: он был открыт, свободен, талантлив, причем не только в стихе, но и в постоянном живом общении. Разумеется, что и я, и мои сомученики по возрасту и сочинительству были рады лишний раз распахнуться его стихам, сбегать для него за очередной бутылкой, выслушать его хмельной мемуар.

Он считался «иркутским Есениным» – на это работали и время, впервые после долгого запрета перечитывавшее великого путаника (принимавшего за чужую жену березку, а московский кабак – за единственное спасение от «железных коней»), и, конечно, его ближайшее окружение, сложенное из молодых да горячих: Вампилова, Распутина, Скопа, Шугаева, Машкина, дюжины геологов, полудюжины летчиков, нескольких дюжин горьких, но ярко разноцветных своими судьбами пропойц...

Сегодня я более, нежели прежде, понимаю, что Петр Реутский – желая или не желая того, – выступал как антипод Марка Сергеева. В отличие от обязательного Марка, Петр был непредсказуем, демонстративно неустроен и

естественно неряшлив, причем не только в выборе собутыльников, но и в письме.

И коли Марк писал «Коммунистов», то Петр писал «Черную сотню». С годами – после ничуть не спасительного для него бегства из Иркутска – Петр Иванович все более трезвел. Но и – вот парадокс – как бы опаснейшим образом хмелел от этой трезвости и впервые в своей, перевалившей уже за середину, жизни разбежался то на сонет, то на терцины, а то и на роман в стихах: сначала на один, а потом и на другой...

При этом люди нового, уже чужого ему, времени все более становились глухими: слышать даже один стишок им было не по слуху, а тут – целый полновесный роман...

С Александром Зиновьевичем случилось чуть иначе: любимец театральной публики середины пятидесятых, долгие годы единственный для Иркутска «первый любовник», он был страстен на сцене и трезв в жизни. Вопреки расхожим правилам, безупречен как семьянин: муж, отец, а потом и дед. С годами на смену его опереточной красавицы явилась красота благородная – аристократическая. Я ничуть не переберу с пафосом, коли скажу, что к своей старости Александр Зиновьевич – и обликом, и душой – был совершенен. Конечно, я уверен, что работали на него такого те самые замечательные драматурги, сочинения коих он не столько играл, сколько проживал. Но и Александр Зиновьевич, подобно Петру Ивановичу, не совпал с наступившими временами: упали в цене не только поэтическая открытость или извинительная российская бесшабашность, но и благородство, и, само собой, аристократизм.

Смешно сказать, но даже те из наших бывших парт-сов-проф-работников, что явились в нашу новую жизнь переряженными в казаков – и они не догадались оглянуться на истинно казачью музу Реутского, а уж что касаясь тех, что – опять же без причины и следствия – объявили о своей

принадлежности к русскому дворянству, то и эти не потрудились догадаться явиться к Берману, дабы обучиться у него подобающим манерам.

Между тем я знаю: с Петром Ивановичем нежно простились его читатели, с Александром Зиновьевичем – его почитатели. Знаю, что вдова Петра Ивановича, Галина Алексеевна, читала над ним, уже не живым, его мудрые своей странностью строки: «Умереть не страшно – страшно не родиться...»

Знаю я и о том, что с годами читатель Реутского, как и зритель Бермана, напрочь вымрет: стихи Петра Ивановича уместятся в одной небольшой томице, потом (одно-два, от силы – три) займут свое подобающее место в дежурных поэтических антологиях; ролям же, сыгранным Александром Зиновьевичем, отыщется местечко в абзаце или даже в предложении суховатых и мало кем читаемых работ историков нашего театра...

Такова жизнь, таковы мы, проживающие ее, таково время, которое нас нещадно (или, наоборот, – щадя) старит, лишая не только памяти, но и сердечности.

Я дописываю эти строки о дорогих для меня людях – поэте и актере – после того, как простился уже и с Сашей Пресекиным, славным прозаиком и хорошим человеком.

Мы хоронили его под дождем: все – под зонтами, Саша – тоже; цветы, которыми выстилала Сашин путь в иную жизнь, падали в безразмерную дворовую лужу; по кромке газона, чтобы не замочить ноги, в лад нашей процессии, брел мальчик, припавший к саксофону, и мокрые стены окружавших нас домов многократно отражали неувядающее «Yesterday» давным-давно обрусевших битлов.

Я прощался с Сашей, с его написанными и ненаписанными книгами, вспоминал тех, кто ушел перед ним: Петра Ивановича, Александра Зиновьевича и, чтобы утишить боль, пытался наложить на битловскую мелодию те слова, которые некогда выдохнул главный печальник сего мира – мудрец

Екклесиаст: «Не время проходит – мы проходим...»; ритмически это было невозможно, но я, как вы понимаете, хватался за соломинку. А соломинка была совсем рядом – у того же Екклесиаста, в третьей части его Книги:

И Бог воззовет прошедшее...

1 июля 2004

Филина грамота

«Что мне до зайки, – кривлюсь я, явно перебравший Фета и Блока. – На то он и зайка, – вздыхаю я, неразумно переборщивший с Чайковским и Шнитке. – На то и попрыгунчик, – пеняю я самому себе, некогда пошедшему на поводу у Шаляпина и Бернеса. – На то он и Филя, – говорю я самому себе, читавшему русские сказки из собрания Афанасьева и кое-что из сочинений Сорокина, – затем и Филя, чтобы мне, глупому, отмахиваться от его безголосья, плавно переходящего в крикливое бахвальство, да от его же ужимок, навязанных ему балетмейстером по имени Пошлость и режиссером по фамилии Хам...»

«Что мне до волчары, – думаю я, якшавшийся и с последней пьянью, и с первостатейной дрянью, – что мне до тех волчищ, – развожу я руками, обнимавшими сосуды всевозможных размеров и львиной крепости, – что мне эта волчья стая, – дивлюсь я самому себе, – которая вольна брать на поруки кого угодно, в том числе и зайку, поющего про зайку для внимающей ему зайки и на радость всему аплодирующему им зайчатнику...»

Что мне Филя, коли я Простофиля!

Что мне разделение зайчатника на тех, кто за Филю, и тех, кто за меня!

Тоже мне, позиция, тоже мне, оппозиция, тоже мне, страсти. Да моя прабабка из-за Есенина в проруби застряла, а прадед – из-за Вертинского – самогонкой поперхнулся, а бабушка с дедушкой собирались сжечь себя на Тихвинской площади из-за Александра Исаевича, а мама с папой... – короче, «что мне Гекуба и что я Гекубе!»

А вы: зайка обидел зайку, та расплакалась и всполошила весь зайчатник. Да на фоне того, что я вижу и слышу только в родном околотке, все это – как сказал бы герой затравленного Зощенко – «тьфу и разотри».

Кстати, не он ли, герой этот, прямая родня нашему зайке – его дедушка-бабушка: корешок?

Не оттуда ли – из бани да из предбанника, из жэковской конторки да с трамвайной подножки, из цирюльни, провонявшей тройным, да с клеенки, угаженной лебедями и унавоженной лжерусалками, – явился он в мой дом, дивя опахалами, пугая подведенными глазами, смущая насурмленными бровками и затыкая мое возможное роптание лихой кликухой – «Заслуженный артист России»?

И еще – не оттуда ли он, где трещат компьютерные клавиши, зудят телекамеры да щелкают фотоаппараты, разве не из газет, которым давным-давно ни до живой жизни, ни до живого звука, ни до живого вздоха, не с теле- ли экрана, который, под стать ему, возжелал простого заячьего счастья на заячьем поле чудес да на волчьей поляне, знающей про всё, где и когда?

Ей-богу, смешно – слышать плач, без паузы переходящий в рыдания, который доносится с сих полян и полянок: «зайку бросила хозяйка – он послал ее на хутор».

Будто вы, дорогие мои, учили его браниться со строптивым комбайном или морской пучиной, будто шепни он вам про

«шепот, робкое дыханье», не сошли бы с ума от такого моветона, даже не успев оскорбиться.

То ли еще будет, дорогие мои хозяйки светских хроник и заячьих забав, – а как проснутся все ваши зайки да заговорят с вами, не хуже Фили да поизысканнее «Ленинграда», на вашем языке да в вашей манере!

То ли еще выпадет на вашу долю, задохнувшиеся от жалости к намакияженному зайке, дражайшие мои волки в смокингах и волчицы при бриллиантах, – а как проснутся зачисленные вами в свои учителя да без их на то разрешения гусар Галич и кавалергард Окуджава, дядька Утесов и тетка Шульженко!

Уж коли сегодня – из-за Фильки – вы так задохнулись в праведном гневе, то что будет с вами завтра, когда выпестовавшая его зайка прознает о том, что та всенародная любовь, о которой столь долго талдычили ей ныне оскорбленные ее зайчком хозяйюшки, на самом деле, как сказал бы герой вынужденно покончившего с жизнью Маяковского, блеф да и только.

Но я не об этом, вернее сказать, не только об этом.

Я – о тайнах природы праведного гнева: неужто, ломаю я голову, для того, чтоб этому святому и праведному пробудиться да раззудиться, надобно прежде пережить бурную и, само собой, всепрощающую любовь, дабы чуть прежде, нежели явится ее трагический конец, спалить в себе и возможное сострадание к разлюбленному, и досаду на самого себя, уже разлюбившего? Неужто для того, чтобы однажды проснуться, надобно непременно беспробудно спать?

А то не ведали мы, с кем якшаемся – будто кто из марсиан окучивал его физию болтовней о его избранности, будто

Пушкин какой-то пушил его заячий хвостик подробностями о его все новых и новых шалостях?

«Я научила женщин говорить», – печалилась одна из русских смиренниц, ломая голову над тем, «как их замолчать заставить».

Мы же, на свою голову, научили говорить Филю – неужто заставим замолчать?

Да и страшно – о ком в таком разе талдычить будем? Из-за кого глаза закатым, перо наострим, зайчатник одурачим?

Неужто – страшно подумать – о Гомере с его троянским конем да о Канте с его законом, по которому выходит, что, помимо зайки, есть еще и небо, которое над башкой, да нравственный закон, который внутри каждого?..

8 июля 2004

Городской Эдемчик

Год за годом, день за днем, утром и вечером – всякий раз, когда мой неукоснительно мудреющий пес настаивает на оздоровительном моционе, буквально через несколько минут после того, как только выйду из дома, я схожусь с этим чудом, в коем зрю и симпатичную мне человеческую настроенность на красоту, и элементарное упрямство неведомого мне человека: на пересечении улиц Либкнехта и Трилиссера, аккурат по краям срезающей нужный угол людской тропы, под чудом выжившими березами, с ранней весны и до поздней осени на самодельных клумбочках, где – огороженных отработанной автомобильной покрывкой, а где – кирпичными осколками, нечто дышит и светится, переливается росой и поводит лепестками, щекочет взор резной резьбой и, проходясь счастливой трещинкой по сердцу, лопается бутонами.

Пятиметровый рай, иркутский Эдемчик! Отрада городским псам, типа моего Идена, и вынужденным урбанистам, типа меня! Языческое капище, лежбище иркутской Евы, урочище городского Адама, приговоренного к асфальтовому аду Октябрьского округа! Островок садовода, лишенного садоводства; сколок школьного участка, не добежавший до учебника, бабушкин подоконник, избежавший тлена, тещин балкончик, рассыпавшийся на разноцветные осколки...

Ни я, ни мой пес не знаем-не ведаем, как обращаться по имени-отчеству к этому оранжевому или к сему голубому, к тому зазывно алому или к тем сдержанно охристым, поэтому единственное, что мы непременно делаем – это благодарно склоняем пред сим чудом свои седины, пес – как восточные рубаи, кучерявые, я – как военный устав, прямые.

Несколько раз мы смогли видеть сочинительницу сего рая, внешне – женщина, каких много: широкая в плечах и поясе, лицом – из наших чалдоночек, где восток и славянство, не мешая друг дружке, прошлись по скулкам, глазам и их цвету. Она, как хозяйюшка сего Эдемчика, ловко работала лопаткой, прицельно оборачивалась на лейку, умело цепляла к березовым веткам веревочки, за которые – мы с псом догадались – должны были ухватиться вьюнки.

В нынешнем году мы застали ее уже с внучкой, нам тут же примнилось – будто похожей на нее. Та помогала ей, как могла, но больше щебетала, порхала и тем самым смахивала на райскую птичку.

Вспоминая эту женщину и ее внучку, я, конечно же, в силу своей литературной испорченности, оборачиваюсь на одну из вампиловских героинь – на упорно ладившую упорно ломаемый народонаселением штaketник – и думаю, что та, которая моя, оказалась в лучшем положении, нежели вампиловская: за долгие годы существования сего пятиметрового рая, я не помню, чтобы кто-то над ним

надругался. Благодаря тому, что мы все-таки, хотя бы здесь, переменялись к лучшему, я и мой пес зрим райскую жизнь с самого ее начала до самого ее конца: вот апрель – еще ничего нет, разве что взрыхлена земля, а вот и май – и потому первые побеги и первые бутоны, а вот уж и июнь–июль, а с ними и лепестки, которые, набирая силу, полнятся светом и цветом, то прячась, то выпрастываясь из ажурной листвы, но вот уже и сентябрь – и оттого напоследок, после первых же заморозков, все ярко вспыхивает и неспешно, как детский фонарик, гаснет...

Я говорю обо всем этом столь долго и столь много, чтобы указать на то, что мы можем быть красивы сами по себе, без чьей-либо подсказки, еще для того, чтобы утешить всякого, кто по разным причинам вынужден проводить лето в городе – так ли уж трудно добрести до угла Трилиссера–Либкнехта...

Не знаю, как вы, а я нет-нет да подумываю, о ком мне будет приятно вспоминать в ином измерении – на том свете. Так вот, в тот послежизненный список, который я, конечно же, на всякий случай, уже сложил и в котором присутствуют все мои родные и близкие, я, не долго думая, внес еще и хозяйку пятиметрового иркутского Эдемчика: и ее саму, и ее цветы, и, конечно же, ее внучку, лейку, лопатку...

Мой послежизненный список безразмерен, но я вряд ли найду в нем место для тех, кто чуть ли ежемесячно вывешивает на фасадах наших домов памятные доски. Я, конечно, понимаю, что, бродя по родному городу, я просто обязан помнить о его лучших сыновьях и дочерях, однако то черно-серое однообразие, с которым их – действительно славных – почитают, меня начинает томить и даже мучить: не лучше ли посвятить им страничку–другую в нашей истории, которую хорошо бы написать добрым пером и с оглядкой на разумную память?

Я настаиваю именно на разумной, а не на какой-то иной памяти, потому что при иной памяти у нас и появляются такие памятные доски, как та, что явилась нам на днях, дабы всем вместе и каждому в отдельности напомнить о былом и, может быть, славном воссоединении Украины с Россией. И пускай эта доска легла на фасад дома, с коего начинается улица Киевская, все равно мудрого содержания моей городской прогулке она нисколько не прибавляет, потому что – вот уж дудки, вот уж не дождетесь, чтобы, гуляя по бывшей Солдатской, а ныне Киевской, я думал бы о Киевской Раде и о Богдане Хмельницком. Коли так пойдет и дальше, то недалек тот день, когда на одной из колонн, образующих парадную арку нашего центрального парка, появится памятная доска, напоминающая нам о распятии Иисуса Христа: некогда на этом месте располагалось Иерусалимское кладбище, а мы, не лыком шитые, хорошо помним, что земная жизнь нашего Учителя закончилась в Иерусалиме...

И вообще, я уж лучше – по своим родным, по Либкнехта и Трилиссера – с остановочкой на пятимеровом Эдемчике, а из-за него – с рассеянной думой о красоте и ее непреходящести даже в таком перенаселенном памятными досками городе, как наш Иркутск...

15 июля 2004

Вкусная книжка для вкусной беседы

Добравшись до книжки Анатолия Наймана, которую он написал на пару со своей женой Галиной Наринской, я ухватился за нее, как утопающий за соломинку: в напрочь опустевшем, одуревшем от жары и тополиного пуха Иркутске лучшего общения не придумать. Судите сами: усеченный, удобный для самой вялой руки формат, две сотни страниц, аккурат посерединке перебитые чудными картинками, и все это

– вокруг застолья, при супах и салатах, при чашечке кофе и рюмашке домашней настойки.

Помидоры фаршированные и язык вареный, пюре из крапивы и утка с апельсинами, грибы в тесте и рыба на гриле!

Язык подпрыгивает, сердце колотится, под ложечкой кисло-сладко, а по темечку все молоточки да молоточки...

Вкусная книжка: на шаг от безнравственности, стык в стык с квасным и прочим патриотизмом: «Сейчас обед из какого-нибудь супа минестроне, креветок в кляре и парфе на десерт – свободное дело. Блюда переменялись – застольный разговор остался тем же, какой был, когда подавались не лангусты, а капуста, не устрицы, а курица», – замечает счастливая супружеская пара из лучших, на мой вкус, постсоветских чревоугодников и тут же, не отходя от поданных блюд и представленных зрелищ, предлагает начать беседу в «масть еде».

Если бы Найман (несомненно замечательный поэт и очень недурственный прозаик, а заодно еще и автор безвкусного скандала, случившегося на Франкфуртской ярмарке), поддержанный своей умницей женой (кажется, некоторое время музой Бродского), талдычил бы только о том, как да из чего вернее и целесообразнее сочинить то или иное кушанье, я бы и внимать ему не стал. А так – помимо рецептов кулинарных – мне предлагаются еще и рецепты застольного общения: такое-то из блюд, внушают мне, вернее заправлять усеченными фразами под старика Хема, при таком-то очень к месту разговор о силах потусторонних, зато при таком-то не грешно прислушаться к специально добытому по этому случаю ветерану войны, которого – чтобы застолье не пошло наперекосяк – хорошо бы перебить не далее как на второй фразе затеянного им безразмерного мемуара...

Я расплавлен жарой, но при этом еще и помню, что Найман и Наринская в своем утверждении вкусной пищи при непременно вкусной беседе далеко не первые: разве не об этом – пусть походя – все «Пирьы» Платона, исторические хроники Китая или даже сочинения таких советских писателей, как Бабаевский и Проханов! Если брать двух последних, то даже на голодный желудок – не захочешь, да разглядишь, что все решения нашей партии, родного правительства, как и всякой их оппозиции, только и принимались что за столами с ярко выкрашенными в нужные колера закусками.

Пускай, думаю, они, Найман и Наринская, не первые – все равно, таких, как они, всегда недостаточно, особенно для моих палестин, где после третьей икают, после пятой бьют по морде, а к двадцать второй впадают в кому...

Я меняю местоположения – перехожу из кресла на диван, из кабинета на балкон, перетаскивая с собой утешительную для своей лени книжечку, и когда у меня не хватает сил на то, чтобы досмаковать хорошо приготовленную и вовремя поданную фразу, я тыкаюсь в картинки так ни разу и не насытившегося, уже давным-давно вкушающего занебесное млеко Анатолия Зверева да голодных и ненапитых аж до самых седых волос Владимира Яковлева и Владимира Янкилевского: желтоглазая яичница и красногубые кувшины, мужики вокруг рыбного котелка и народонаселение у автолавки – сплошное ожидание праздника, сплошь искусство, выделяющее желудочный сок и терзающее мою бедную душу.

Господи, думаю я, это сколько же моего личного счастья уже отмерено безжалостными руками времени и пространств, где оно, мое детство в цыпках и его манная каша под причитание бабушки, где, за каким углом мое отрочество в прыщах и юность в обувке типа «прощай, молодость» с рассольником

на маминой слезке и базарным пирожком на серо-буромалиновом масле! Где они, мои первые пиры, испоганенные блевотиной троюродного дядьки и обоженные истериками всех моих – через одну – теток.

Где, за какой верстой те посиделки, на коих травят байку за байкой картавый Пакулов и кучерявый Машкин, пузырится остроумием смоляной Вампилов и пышет угрюмостью недоевший Распутин? Как же хороши они были при никаком столе – при стихах «казачка» Реутского и «бандита» Пиницы!

Зря вы говорите, что у нас нет школы застолья – ее уроки преподаны нам щедрейшим из наших поэтических дядек Марком Сободем, упрямейшим из стихотолмачей Женей Раппопортом, нежнейшим из собутыльников Марком Сергеевым.

Ими в полной мере владеет и писатель Диксон, и патриарх нашего типографского дела Тененбаум, и, конечно же, наш историк Гольдфарб...

Ах, подобно необъезженному скакуну, вздрагиваю я, представляя, как за летом и его отпусками начнется осень: Сережа помчится на рынок выбирать мясо, Гена повезет его на свою дачу, не позабыв прихватить еще и нас – велеречивого Олега, язвительного Игорька и меня, намолчавшегося до белого каления и черной корочки. А потом приедут еще и Виля, и Тятка, и при том, что будут отменно вкусны шашлыки и вино, мы оближем пальчики, вкушая актерские байки, пробуя на язык и стихи и прозу...

Я прикидываю, что будет недурно припомнить и старика Державина («Бьет поздний час, рабы служить к столу бегут...»), и пост-античного безобразника Светония (его «Сатирикон», слава Богу, не совсем про нас), да еще и гуляку Хайяма, и ворюгу Вийона, и юбочника Хема...

Но о юбках ни слова! – мы и без Наймана и Наринской следовали этому правилу, а уж после того, что они на протяжении всей своей вкусной книжки только и делают, что не советуют «пускаться в разговоры о постельных делах ни при каких обстоятельствах», опустим сию тему для переплавки на грядущие роли да в еще летящие к нам стихи, на будущие романы да стучащиеся в нас песенки.

Впрочем, когда соберемся и когда я пушу по кругу скрашивающую мою жизнь эту странную книжечку, не помешает – под чай с малиной и блины без икорки – обсудить еще и такой лениво мучающий меня вопрос: не принадлежат ли все высоконравственные советы сего сочинения только одному из ее авторов, а именно – вовсе не Толе, а Гале, из-за которой, говорят, молодой Бродский чего-то там не однажды выкинул?

22 июля 2004

Привет от старых штиблет

Крякнул телевизор, и стало так же хорошо, как в третьем стихе библейского Бытия – когда, сказавши «Да будет свет», Бог этот свет увидел и не без радости обнаружил, что «он хорош».

- Что бы еще сломать? – спросил я жену, когда – через день – почувствовал себя много счастливее прежнего.
- Компьютер, – посоветовала она, – пусть крякнет еще и он.
- Нет, ни за что! – вскричала дочь и, не без усилий справившись с волнением, холодно предложила: – Сломай уж лучше свой музыкальный центр.
- А музыка? – спросила жена. – Она ведь помогает отцу.

Я не стал ломать ни компьютер, ни музыкальный центр – просто выключил их и, весь в предвкушении грядущей радости, в очередной раз раскрыл книжку Евгения Клюева. В

своей новой сказке, которую, как и предыдущие, я начал читать вслух для жены и дочери сразу же после того, как погас экран телевизора, Клюев рассказывал про старые штиблеты, слезно умолявшие ежедневно совершавшего свои прогулки Зонт-Трость передать от них привет хотя бы кому-нибудь.

Зонт-Трость пыхтел и злился, потому что – кому нужны какие-то приветы от каких-то старых штиблет.

Читая клюевскую сказку именно в этом месте, я успел срифмовать себя со старыми штиблетами, не прекращая чтения, глянул на внимавшую мне жену и понял, что она сделала то же самое.

Когда дело дошло до того, что Зонт-Трость вынужденно споткнулся на третьей аптечной ступеньке и та, посочувствовав ему, вспомнила свою юную влюбленность в сладко скрипучие ботинки, а потом, не сдержавшись, высказала предположение, что они, ботинки эти, по причине быстро летящего времени наверняка превратились в пару старых штиблет, я, не прекращая чтения, покосился в сторону внимавшей мне дочери и догадался, что она пытается представить меня молодым, то есть не таким старым, как клюевские штиблеты, а таким, какими были эти старые штиблеты на заре туманной юности.

Мысленно поблагодарив свою дочь за долгожданную снисходительность, я продолжил чтение и, наконец, дошел до того места, где старые штиблеты получают от Зонта-Трости ответ на свой привет, – сказка, как ей и положено, заканчивалась светло, но не без грусти...

Мы порадовались за старые штиблеты, а чтобы радости нашей было чуть поболее, поставили на вертушку недавно купленную пластинку с музыкой очень старого и почти никому не известного композитора Бибера. Непривычные для нашего

слуха инструменты нежно заговорили о королевских замках, населяющих их придворных сплетнях и различного рода привидениях.

– Это тоже старые штиблеты, – сказал я, имея в виду по-старинному звучащую грусть, – они передают нам свои приветы через равнодушные руки тех, кто записывает их ахи и охи на холодные пластинки.

– Но приветы-то не нам, – заметила дочь.

– Нам – тоже, – не согласилась жена, с которой не преминул согласиться и я, потому что и правда, кто из композиторов или поэтов, из живописцев или даже резчиков по дереву, живших вчера или живущих сегодня, может с абсолютной уверенностью сказать, кому адресованы их приветы в виде сонатинки или сонета, в качестве пейзажа или украшенной райской ветвью обыкновенной деревянной ложки?

Если поглядеть в корень, то окружающий наш мир – это сплошное пересечение таких приветов, которые мы то и дело получаем от тех, кого, по понятной торопливости, зачислили в старые штиблеты: не только от Пушкина и Пришвина, от Баха или Бетховена, от Брюллова или Босха, но еще и от тех неведомых нам мужиков, что красили иконы и вырезывали оконные наличники.

– Да и ты, если подумать, – сказал я дочери, – ни что иное, как привет от нас с мамой, то есть от нас, как от старых штиблет, – новым, может, еще ни разу и не надеванным ботиночкам.

Она призадумалась, жена фыркнула, а я, воспользовавшись паузой, включил компьютер и тут же получил новое письмо от Нины Горлановой. «Крякнул телевизор, – писала она, – и у меня появилась возможность нарисовать новые картинки, принять гостей, взяться за старые рассказы и даже побывать в гостях...»

Ко всему прочему любимая мной за свою тыкающуюся в людское одиночество мудрую прозу, оставшаяся без Познера и Швыдкого, моя Нина договорилась даже до стишков, причем до таких, с которыми много веселее, нежели со всей лысо-кучерявой паствой Регины Дубовицкой:

Афанасий Фет
плевал на университет
в окно своей кареты –
я люблю его за это.

Я прочел эти Нинины стихи жене и дочери, и они рассмеялись, а я поторопился отяжелить их славное веселье одной из своих мудрых мыслей.

– Вот вам сразу и в одно мгновение аж несколько приветов, – сказал я, – от современной писательницы Горлановой и старого-престарого поэта Фета. При этом ни вы, ни я не скажем, кто из них моложе – Нина или Афанасий, потому что молодой Афанасий чихать хотел на те науки, которые ему могли дать университетские профессора, а Нина – аж через сто пятьдесят лет – решила его за это поцеловать.

При этом я чмокнул свою жену и, чтобы она не смущалась дочери, объяснил:

– Это от старых штиблет.

Хороший поэт Клюев, живущий ныне в Дании и пишуций там не только чудные сказки, но и славные картинки, напомнил мне о том, что весь мир держится именно на старых штиблетах, а мой телевизор так при этом крякнул, что стало не менее светло, нежели в шестом стихе библейского Бытия, когда, отделив созданные Им воду и твердь друг от дружки, Бог увидел, что хорошо и это...

29 июля 2004

Моя баронесса

Я сидел рядом с баронессой, нес вздор и кричал караул: придержи язык, пенял я себе, ты беседуешь не с кем-нибудь, а с баронессой фон Шлиппе.

Между тем Ирина Сергеевна и сама не прочь была поболтать, причем не только со мной, но и с Диксоном, который пыжился подобно мне, и со всеми теми фрау и геррами, которых она привезла в наши палестины, дабы влюбить их в оные.

Среди тех, кто подчинился русской баронессе с немецко-русскими корнями, были: доктор филологии, доктор медицины, учительша, архитекторша и домохозяйка. Все они, как и Ирина Сергеевна, были явно перевозбуждены: в Екатеринбурге их обманули (вынудили дважды покупать авиабилеты из России в Германию), несколько дней они прожили на Ольхоне, день – в Слюдянке, ночевали кто где, при этом каждый из них кем-то был очарован, кем-то – напуган; Байкал их покорила, люди, приговоренные к нему, поразили, все то, что величается сибирской природой, совершило с ними нечто очень хорошее – они увозят домой чемоданы с камнями, растениями и корешками.

Покуда длился ужин, не однажды вспомнилось, как доктор медицины спас ольхонскую девочку: та пресерьезнейшим образом поранила ножку, в местном медпункте не нашлось ни нужной иглы, ни необходимых ниток – все это, слава Богу, оказалось в чемоданчике дальновидного немца, который и анестезиолог, и все прочее; учительша листала книгу Боровского и, находя ошибки в тех фразах, которые наш Федор Моисеич догадался вывести в немецкой транскрипции, мило хохотала; доктор филологии пытал нас насчет нашей читательской аудитории, а архитекторша, расхваливая дизайн кафе, которое мы выбрали для общения, прижимала к своей девичьей груди книжечку с экслибрисами нашего Толи

Аносова и пыталась понять, зачем мы убираем наши старые дома, возводя на их месте примитивнейшие постройки...

Ни я, ни Диксон не нашлись с вразумительным ответом, хотя что-то лепетали и даже фыркали.

Если по правде, то я и без немецкой архитекторши знаю-ведаю, что, расставаясь с деревянным Иркутском, мы делаем больно его сердцу, ибо что оно без потемневших бревнышек, без резных крылечек и наличников, без ворот и воротец, без калиток и палисадников!? Распорядиться бы всем этим разумно, по-человечески – передать намоленные многими поколениями наши игрушки-избушки разрастающимся фирмам и фирмочкам – пусть бы восстановили их, приладили бы к удобному бытию: им, умеющим делать деньги из воздуха, это, в отличие от тех, кто в этих «хоромах» мается с отоплением да водопроводом, и по силам, и по карману.

Мы брели с нашими гостями по Большой – в сторону императора Александра, и нам в очередной раз было неловко: растяжки, захватившие воздух нашей главной улицы, «резали» императора по живому.

– Разве так можно? – вопрошала баронесса.

– Нельзя, – говорили мы, – но можно.

Это в нашей натуре: браня существующие порядки, морщась по поводу и без повода, все видя и все понимая, немедля «лезть в бутылку», слыша об этом же от чужаков. Здесь мы на дыбы, махом в патриотические удила: это наше, родное, посему – лучшее: не трогать! Между тем я вновь напоминал себе, что гуляю по родному городу не с кем-нибудь, а с баронессой фон Шлиппе.

Несмотря на свой возраст – восемьдесят два, – она была прекрасна своим почти легкомысленно ярким нарядом, летучей походкой, мгновенно стремительным взором и по-детски упрямой влюбленностью во все русское.

– У вас не бывает неинтересно.

– У нас, – поправил я.

– Конечно, у нас, – улыбнулась она.

В позапрошлом веке ее прабабка стала женой Дмитрия Гончарова – того самого, что приходился родным братом пушкинской мадонне Наталье Николаевне. Дмитрий Николаевич был скверным мужем – так кутил, что почти пустил по ветру знаменитый Полотняный завод. Разумная прабабка Ирины Сергеевны спасла его – возродила («Штольц в юбке», – заметил Диксон), однако это спасение стоило ей жизни: один из управляющих, которому Дмитрий Николаевич доверял более прочих, пойманный ею с поличным, раскроил ей череп...

Здесь мне вновь пришлось напоминать самому себе о том, что я беседую не с дамой из круга литературной элиты (речь Ирины Сергеевны, безукоризненно, прекрасна), а с баронессой.

– Вам утром на самолет, – демонстрировал я заботу о здоровье Ирины Сергеевны, – а уже далеко за полночь...

– Пустяки, – взмахивала ручкой Ирина Сергеевна, – два-три часа сна для меня вполне достаточно.

Я верил ей, потому что от подарившей мне общение с баронессой родной для меня поэтессы Ларисы Щиголь уже знал: баронесса фон Шлиппе Ирина Сергеевна успевает прочитывать все, чем интересен наш сегодняшний книжный рынок, ее литературный салон в Мюнхене, собирающий превосходнейшие перья Европы, работает бесперебойно, а тот благотворительный фонд, который она возглавляет, обеспечивает жизнь нескольких детдомов России...

Если первое, как и второе, мне очень по душе, то из-за последнего – собственно, как и из-за того, что мой Иркутск, становясь все более железным, теряет свое природное тепло, а восстановленный нами памятник императору неразумно режется глупыми растяжками... – из-за всего этого почему-то стыдно...

5 августа 2004

Новое поведение

Книга: ломкий супер, зелено-ядовитая корочка, пьяно перекошенный срез, шрифтовая чехарда, лихой перепляс страничного поля.

На супере (кирпичная стена, одинокое окошко) – три едва прочитываемых имени, бьющий по глазам аншлаг: «Новая иркутская стенка»; на его обороте – нечто вроде уведомления о посвящении: памяти Вампилова, Шастина, Самсонова, Иоффе, Дмитрия Сергеева, Михасенко, Зверева, Кунгурова, Шугаева; на авантитуле – школьное: «с надеждой»; на развороте: «Три романа», первый – детище члена «Российского союза писателей», второй – «романиста-одиночки», третий – «члена Союза писателей России».

Об «иркутской стенке» я ведаю: Распутин, Машкин, покойные Шугаев, Самсонов, Вампилов, Дмитрий Сергеев; что общего меж Самсоновым и Кунгуровым, не догадываюсь: первый, будучи чудным сказочником, пострадал как редактор из-за публикации классической «Сказки о тройке» братьев Стругацких; второй, написавший недурного «Артамошку Лузина», догадался отправить многих из своих коллег в сталинские лагеря; о Российском союзе писателей я не слышал (довелось ведать о Союзе российских писателей), «романистов-коллективистов» не встречал, о Союзе писателей России знаю не понаслышке; такого случая, чтобы сами литераторы, без подсказки критика или читателя, присвоили себе звание «новых Серапионов» или «новых обериутов», не припомню...

Читаю: первые страницы Шманова хороши по письму и интонации; влюбляюсь в их героев: в живо написанных мальчиков и девочек, в их болтовню, сердечные радости и печали, в знакомый, но смачно выписанный деревенский пейзаж; увы, автор про них, неожиданно для меня,

позабывает: являются анекдотичные африканцы, разбитные бамовцы, пародийные писатели Ефим Шакалов и Шакал Ефимов; угадываю: одно писано после общения с обериутами, другое – после вчитывания в наших пост-авангардистов, все, следующее за ними и между ними, – явно из-за того, что захотелось прослыть: в одном случае – драматургом, в другом – поэтом, а заодно и попирателем мнимо нравственных запретов (сексуальные сцены писаны кистью школяра, возомнившего себя баталистом) и, наконец, романистом...

Последнее – прослыть писателем-романистом – мучит и идущего вслед за Шмановым Брустверовского: в его сочинении все и вся шумит, пыжится, страдает и якобы действует вокруг издательского дела, вокруг возможной литературной премии. Писано лихо: сотни главков в одну-две строки, перебиваемые заковыристыми фишками, прикидывающимися то предупреждениями в пользу читателя, то лихими слоганами в пользу авторского остроумия; главная задача самого автора – морочить мою голову усложненными стилистическими и смысловыми конструкциями, пересыпанными бесконечными напоминаниями: со мной говорит не абы кто, а писатель, «романист-одиночка»...

Что касается третьего текста (а им, сочиненным Александром Лаптевым, и достроен-доложен книжный застенок, полагающий себя «новой иркутской стенкой»), то он, после стилевых перепадов Шманова и шарад Брустверовского, оказывается предельно внятным и откровенно исповедальным; здесь, к нашей радости, и правда, действуют живые люди на живом фоне; здесь судьба, подкошенная бытом, и мечта (все та же: прослыть писателем), роднящая автора с двумя другими действующими лицами нового иркутского застенка, сходятся в одной точке. Книга заканчивается скверно воспроизведенной графикой Налетова, возвращающей нас то к неряшливости Шманова,

то к заковыристости Брустверовского, то к прямолинейности Лаптева.

У книги нет корректора (и потому масса досадных опечаток и элементарных – не только стилистических, но и орфографических – ошибок), нет и, само собой, быть не может редактора: читатель квалифицированный (а именно редактор таковым и является) для литературного застенка – враг априори: неряшливости не позволит, невнятицу похерит, смысловую пустоту приговорит к смертной казни.

Между тем все трое – и Шманов, и Брустверовский, и Лаптев – талантливы: у каждого без труда найдется нечто, что на это укажет: у первого звенит-перезванивается диалог, звучит-аукается четкая стихотворная строка, у второго – не менее десятка блестяще придуманных и недурно исполненных стилистических приемов, у третьего – живая и чуткая наблюдательность, с головой выдающая человека наивного, цельного в своих устремлениях и оттого вызывающего то беззлобный смешок, то элементарную человеческую симпатию. Что же мы получили?

Если, одолев 634 страницы текста, вы полагаете, будто действительно прочли три романа, то, в таком случае, мне не составит труда убедить вас в том, что, читая сии заметки, вы общаетесь с героическим эпосом.

Увы, новую литературу мы тоже не получили, скорее – чудом зафиксированное новое поведение далеко не святой троицы, желающей слыть в ней (в литературе) своей, но непременно отличной от всех прочих.

Они – Шманов, Брустверовский (Лаптев все же иной) – и правда, отличны: бегут элементарного сюжета и оказываются заложниками смыслового хаоса, не брезгают ненормативной лексикой, но от этого ничуть не свободнее тех, коих числят в своих предшественниках, пишут исповедь, но при этом столь

яростно обнажаются, что как-то не по себе: в приличном обществе так себя не ведут.

Полагаю, герои наши – все трое – поторопились: и со своим союзом, ибо что-либо роднящее их друг с другом, а тем более со знаменитой «иркутской стенкой», при всем желании, не обнаруживается (те, кто входил в «иркутскую стенку», были притерты друг к другу не столько обстоятельствами, связанными с цензурой, сколько своим поведением, которое настаивало на уважительном к ним отношении как по линии бытовой, так и сочинительской: ломились в сторону истины, а не издательского станка, шли по линии правды, а не эпатажа), и, разумеется, поспешили они с изданием.

Понимаю, что, с одной стороны, они смущены нынешней вседозволенностью, с другой – своим немалым возрастом: всем за сорок, каждый – с публикациями и даже книгами, а читатель все носом воротит: одному Распутина подавай, другому – Пелевина или Сорокина. Однако коли читательская востребованность первого их ничуть не смущает (то, о чем думает Валентин Григорьевич, их как бы и не касается), то читательская суматоха, поднятая вокруг второго и третьего, явно волнует (как же, такие шарады, такая отвязанность!). При этом такие вещи, как четко прописанные пелевинские взаимоотношения с ирреальностью или предельно резко обозначенная сорокинская оппозиция по отношению ко всему корпусу русско-советской литературы, выстроенному до него, и Шмановым, и Брустеровским оставлены без внимания: школьные уроки явно пропущены, одиннадцатый класс, в котором они себя – пожелали – и обнаружили, взят чудом, без начальной школы: задачи высшей математики решаются прежде задач математики элементарной.

Между тем на фоне той прозы, которая у нас есть (публицистический реализм Распутина или исторический – Диксона, психологически въедливый – Боровского или

фотографический со смыслом – Семенова, работающий на новую реальность – Серикова или же определивший свое существование в фольклорных рамках – Байбородина), выход такой непричесанной книги, как наша – событие: нам предлагается новое, явно непривычное для наших палестин поведение.

Какого оно порядка в целом, можно определить уже сегодня, что последует за ним, покажет время, будущие публикации, грядущие издания.

Хочется надеяться, что они окажутся ближе той литературе, которая пусть играет, но еще и мучается, пусть раздражает, но не столько бесформенностью, сколько мыслью; вполне возможно, что мы отнесемся к будущим работам наших нынешних «романистов» еще и как к явлению – возможно, даже – культурному...

12 августа 2004

Хочется закричать, хочется заплакать...

Так вышло, что с середины июля по середину августа – до Преображения и уже при его свете – жилось и живется при этом трехзвездии-трисвечии: Чехов – Шукшин – Вампилов. Что-то помнилось само по себе, что-то требовало перепрочтения, а между тем из башки никак не выходило: сто лет без Антона Павловича, тридцать два – без Александра Валентиновича, тридцать – без Василия Макаровича!

И рядом они, и далече, и до слез свои, и до отчаяния недоступные.

И близки друг дружке (все – из российской глубинки, каждый – со своим театром), и, конечно же, далеки друг от друга («тихий» Антон, бежавший в отчаянии на Сахалин, шумливый Александр, укрывшийся от нас байкальской волной, громкий

Василий, бредивший Стенькой Разиным и порвавший сердце на киносъемке фильма о Великой Отечественной). Но все трое – несомненно, важные звенья нашего жития: представьте свое детство без Каштанки, попробуйте вычистить из своей взрослой тоски тоску Егора Прокудина, из своего юношеского отчаяния – «похороны» Зилова, и: «народ к разврату готов», и «все вы алики», и «небо в алмазах», которого все нет и нет!..

Это уже, хотите – не хотите, навсегда наше: наш быт, наше бытие... российский менталитет, русское душебродие – кто скажет, что делать с таким богатством, как распорядиться им, чтобы не было стыдно перед теми, кто придет за нами?..

Наверно, читать-перечитывать, наверно, обдумывать, может быть, просто смеяться и плакать, заодно с ними.

Увы, не выходит – если Чехова, потратив не менее века на то, чтобы прочесть его, мы худо-бедно расслышали, то на то, чтобы расслышать Вампилова и Шукшина, по причине болтливости нашей безразмерной памяти, то и дело нашептывающей, как пили мы с ними да колобродили, у нас пока не хватило ни сил, ни времени: мемуаровы терриконы («Я и Саня», «Я и Вася») да не боле щепоти толковых размышлений, дарованных их сочинениями, настаивают на этом.

Между тем живут – никуда не делись чеховские мужики, его душеньки, его гаевы, его лопахины, его злой мальчик; достаточно выйти за ворота, чтобы стыкнуться с вампиловским Васечкой, его Сарафановым, его Зиловым; стоит тормознуть у рынка, присев на одну из его скамеечек, чтобы тут же и признать среди окруживших тебя мужиков шукшинских чудиков: Алешу Бесконвойного, Глеба Капустина, Гену Пройдисвета...

Живы – никуда не делись, разве что кто френчик обновил, кто – местожителство, кто – рабочее место.

Не знаю, как у вас, а у меня такое чувство, будто лучшие из наших писателей не оставляют своих главных занятий и на небесах – трудятся, дописывают нас оттуда, указывая, что делать, и подавая нужные реплики. А и правда: чем не чеховский персонаж наш правозащитник Ковалев, чем не расшукшинский – нынешний губернатор Алтайского края, чем не развампилковский – угодивший в дурацкую историю наш Филя Киркоров?

И разве только чеховский герой, а не аз грешный, оглядываясь округ, не устает замечать и печалиться: «...У нас в России работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно ...учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезные, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем громадное большинство из нас, девяносто девять из ста, живут как дикари, чуть что – сейчас зуботычина, брань... И очевидно все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим... Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим!»

И коли мы действительно помолчим, то через минуту-другую услышим за любой из стен нашего общежития голос одного из шукшинских антигероев: «Ты думаешь, меня посадят? Ни-ког-да!.. Но у меня же – голова, и твой прокурор это знает. Прокурор знает, что общество должно жить полнокровной жизнью, моя голова здесь нужна, я здесь нужен, а не канавы рыть. Вот они – покрышки лежат... Пять штук, они есть. Но их нету! Их нигде не существует, их не сделали на заводе. Их не су-ще-ству-ет. А они – лежат, пять

штук, друг на друге. Это и называется: экономический феномен...»

Разве не по Вампилову, не по его драматургической схеме тот раздрай, который случился в среде тех, кто назначил себя на трудовые доблести по увековечению его памяти, когда Фонд Вампилова не допускается на Вампиловский фестиваль, когда к месту, на котором он трагически погиб, в день его рождения привозят хор ветеранов – с шепелявой осанной в его честь и славу!

Наверняка веселится наш навечно тридцатипятилетний Александр Валентинович, дописывая сию комедию, наверняка, дописав очередную уморительную сцену, вынужденно приходит в отчаяние: «Такая тоска! Такая тоска! Где-то в груди боль, острая, страшная, вечная боль. Хочется закричать, хочется заплакать. Такая тоска!»

19 августа 2004

«Есть ценностей незыблемая скала»

Не знаю, как вы, а я наших «деревенщиков» и люблю, и перечитываю – причем не только потому, что они неизменно подлинны, но еще и потому, что и астафьевская бабушка, и беловский Иван Африканович, и распутинские старухи, как и лихоносовская матушка и можаевский Федор Кузькин, для меня никакие не литературные герои, а прямая родня по отцовской линии: он родился в Смоленской губернии, в деревне Журавинница, чей век закончился чуть позже распутинской Матеры, но много прежде астафьевской Овсянки – в 1974 году.

Могилы дедушки и бабушки остались в районе уже не существующей Журавинницы, могила отцовской сестры, моей тети Федоры, вдали от нее – на кладбище нового райцентра.

Не так давно я был с ними совсем рядом – в Смоленске, но на то, чтобы добраться до них, у меня не хватало ни времени, ни возможностей.

И вообще, все эти подробности догнали меня уже в родном Иркутске: смоленская поэтесса Раиса Ипатовна пошла по следам моей родословной, одарив не только печалью, но и радостью: благодаря ее стараниям я ставлю на свой видак документальный фильм Геннадия Дубино – вот моя Журавинница, вот окружившие ее озера, вот прилетевшие на них аисты...

Я вырос на другом краю света – рядом с бабушкой и дедушкой уже по маминской линии, которые говорили на идиш, читали Шолом-Алейхем и Ицика Фелера, согласно бытовым правилам, заставляли есть «второе» прежде «первого», а 1 мая и 7 ноября брали с собой, чтобы я, как нормальный советский мальчик, проходил мимо праздничной трибуны и кричал «ура».

Мое детство пахло молоком и корицей, молочными бычками и телочками (только что родившихся, дедушка приносил их домой – чтобы поставить на ноги), еще – морковным супом и куриным бульоном.

Когда у меня появился отчим, мы с мамой и только что объявившимся братом перебрались в военный городок, где были иные правила жизни и потому – иные запахи: гречневой каши, баночного, работавшего на наши скорые супы, лосося, черного паслена, машинного масла.

Сразу за военным городком начиналась деревня: завалинки, огороды, коровы, куры; там в горнице одного из своих школьных приятелей я впервые встретился глазами со взором Божьей Матери – его бабушка возжигала перед Ней лампадку; там, оставшись без взрослых, боясь их прихода, мы раскрыли с Аликом Петуховым и тут же, чего-то

испугавшись, закрыли огромную, на кожаных застежках книгу книг: «Библия», – страшным шепотом объяснил он... Я, как и многое в те поры, знал деревню по запаху – по дыханию земному и людскому, животному и травяному: лохматые куры пахли школьными тетрадками, увядшая картофельная ботва – лекарством, скрипучие крылечки и прикрывавшие их навесы – вечной осенью, заставленные цветочными горшками подоконники – непреходящей весной, мокрые заборы – городским мороженым...

Я любил этот мир, но вряд ли осознанной любовью – скорее, был просто-напросто приговорен к нему и беспечальным детством, и его добрым окружением. Поэтому, когда я впервые прочел наших «деревенщиков», сразу же и безоглядно поняв и приняв их, я подумал, что такое мое мгновенное узнавание в них своих и близких – только из-за того, что я все свои школьные годы только тем и занимался, что дружил с деревенскими мальчиками и то и дело угощался их матушками то кукурузным початком, то драниками, а то и куличом.

Но сегодня выходит, что и Белова, и Распутина, и, само собой, Лихоносова я запустил в свое сердце еще и из-за Журавинницы: как-то жила она во мне, выкликая для себя надобных.

Первые книги большинства наших «деревенщиков» по сей день при мне, по-прежнему хороши для меня именно своими запахами. Кажется, из них – из запаха только что вспаханной земли, минуту назад принесенного со двора, еще теплого, яичка или с полчаса назад выдоенной коровы – выросли и их молчаливые герои, и их поющее слово. Это потом уже, с годами, их, почти животное, обоняние притупилось, уступив место идее, но прежде нее – все-таки досаде, желающей прикинуться оной: оплакиваемая ими деревня как бы выветрилась из них, запахи ее истончились, любовь ко всему

родному, подобно пуповине, отпала. Но спасение было найдено, и в первую очередь в мифе: Белов создал этнографический, но еще пряный «Лад», Лихоносов – исторические хроники, Можаяев – через публицистику – обнаружил себя в социологии, Астафьев, Распутин, Шукшин, как и понапрасну позабытый мной Екимов – через обиду за поруганное родное, – пошли раз за разом спотыкаться на публицистике. Но мне важнее не корить их за это, а, скорее, сочувствовать им, еще интереснее, вернее сказать, целебнее для души и сердца – любить, как и в прежние времена, их ранние вещи: и вологодские бухтины Белова, и приангарскую жизнь распутинского байщика Сени, и элегические мечтания напуганного городом лихоносовского мальчика, и житие на разрыв можаевских баб.

Читая и перечитывая «Привычное дело» или «Живи и помни», «Последний поклон» или «Элегию», я узнаю во всех необходимых мне подробностях нечто для меня важное и про свою Журавинницу, и про свою тетю Федору, и, конечно же, с помощью их слова, вхожу в ее избу, чтобы обмануться ее надеждами и пропитаться ее бедою...

Кто-то поторопился списать наших «деревенщиков» «с корабля современности», определить по линии этнографической. Думаю, напрасно: они много лучше прочих могут напомнить нам, кто мы и откуда: в каждом из нас живет-печалится своя Овсянка, своя Аталанка, своя Бердянка, своя Журавинница. И пускай натурально многие из этих наших деревушек уже не на земле, а на небе – некая их часть отмалчивается в нашей памяти. Впрочем, не только отмалчивается – достаточно пробежаться по некоторым интернетовским сайтам, чтобы обнаружить: немалый процент нашего населения сходится туда, как некогда – на деревенскую завалинку, дабы поболтать о наболевшем. Девчата, как и прежде, талдычат о любви, мужики, как водится, – о неразумности власти. Нашим «деревенщикам»

это мое сравнение с Интернетом явно не в подмогу (что это за бухтины в невидимом пространстве, без блеска глаз и шума ветра, без шелеста березы и мычания буренки), но больше вроде бы при всем желании утешить их нечем. Да и надо ли утешать?

Много вернее искать утешения у них самих – красивых в своей любви к родным и близким, верных своему языку и сильным преданностью традиции – именно всем тем, о чем говорил поэт, хорошо знавший и вовсе не любивший запахи другой половинки моего детства, – великий Мандельштам: «есть ценностей невидимая скала над скучными ошибками веков»...

Отталкиваясь от слов поэта, я бы сказал: «над скучными ошибками» нового, психологически объяснимого поведения былых наших «деревенщиков»...

26 августа 2004

Запретные плоды

Когда – в самом начале года – сначала глухо, а потом уже и во всеуслышание заговорили об очередной школьной реформе, когда приехавший ко мне журналист начал с того, что закричал караул, потому что из бессовестно сокращаемого школьного курса по литературе намерены убрать даже Шолохова, я очень расстроил его, потому что, вопреки его ожиданию, не только не огорчился этому, а даже обрадовался.

Радовался я не тому, что нынешние десятиклассники ничегошеньки не узнают про мятежного Мелихова и гордую Аксинью, а тому, что – при новом глупейшем положении, вопреки программным установкам, наоборот, откроют великий «Тихий Дон». Оставленные скучным толмачом, они

станут читать его как книгу некоторым образом запретную, отчего, зачитавшись, непременно и влюбятся в него.

Я это и по себе знаю: будучи школьником, вместо Горького и Фадеева читал Купера и Майн Рида, числясь в студентах – вместо уже прочитанных (вопреки школе) Хемингуэя и Флобера – Джойса и Пруста, а нынче, когда сам по себе, – Горького и Фадеева. То есть всю жизнь я только и делал, что любил и понимал не тех, на кого указывала программа, а исключительно тех, на кого она в данный момент не оборачивалась, отчего по живым лицам «вечно живых» не прошла (или уже поистерлась с них) тень сухого и все мертвящего учительского перста...

Адамовы дети, мы неисправимы: с младых ногтей до седых волос тянемся ко всему запретительному – всякое официальное признание того или иного литератора отталкивает нас от его сочинений. Увы, и Пушкина, и Толстого, и Достоевского, и даже Чехова мы открываем для себя уже после школы, где-то к тридцати. То есть тогда, когда и, правда, навечно живые наши классики становятся запретными для нашего статуса: когда быт отлажен, светские радости еще не приелись, карьера, разогнанная на неукоснительную удачу, выстраивается, и все это, вместе взятое, никак не предполагает чтения, тем более серьезного. Но потому-то и сладок оказывается сей плод, что является возможность отведать его без наставника, зевающего от скуки и трагически-равнодушного.

Конечно, разумный поводырь на безразмерных дорогах нашей святой словесности, особенно в пору юношескую, явно не помешает, но на каждого школьника не напасешься: педагогические вузы штампуют под копирку холодных носителей определенной информации, бойкие издатели помогают им сборниками с краткими пересказами «Войны и мира», «Преступления и наказания», «Вишневого сада» и даже «Капитанской дочки». В результате живое общение с писателем, который на поверку мучим теми же вопросами,

что и всякий смертный, здесь не только невозможно, а элементарно недопустимо. Да и как влюбиться в пушкинскую Татьяну или толстовскую Наташу, в страдательного Мышкина или в чеховскую Нину через сухой пересказ о крутых поворотах их жизней? И потом – как сопереживать им, не узнав в них ни самого себя, ни своих близких, отчего – как с близкими же – соглашаться или не соглашаться с ними, споря или же, наоборот, бесконечно любя?

В конце концов, как во всеуслышание объявить о своем соображении, по которому выходит, что Толстой скучен, Достоевский непонятен, Маяковский лучше Пушкина, а Некрасов – примитивнейший из смертных?

И пускай это не так, пусть все это вечная и сплошная глупость, но позвольте общающемуся с писателем впрямую – много прежде, чем понять его, еще и ошибиться в нем – не разглядеть, не дослышать...

Помню, как одна из моих лучших учениц, получив первую премию в цыплячем для литератора шестнадцатилетнем возрасте, поведала обрушившемуся на нее интервьюеру о живущей в ней нелюбви к Александру Сергеевичу.

Как вы догадываетесь, за сию крамолу досталось не только ей, но еще и мне: один из иркутских популяризаторов школьной программы обвинил меня во всех смертных грехах, а кто-то – после устроенного им шума и гама – навечно зачислил в растлители юных душ. Никто не догадался обернуться на школу, на того учителя, которому живое слово вообще противопоказано, наконец, на всех нас, глупо и неумело справляющих пушкинские юбилеи, по сути, Пушкина не читавших и не понимающих.

А я – что мне оставалось делать? – посмеивался да ждал: по моему разумению, ярко талантливый ребенок, нешуточно влюбленный в раннего Маяковского и во все его окружение (а с моей ученицей случилась именно такая «высокая болезнь»), рано или поздно не может «не впасть» в Пушкина. Конечно же, я, как мог, старался способствовать этому:

желая во что бы то ни стало вписать «наше все» в круг житейского общения, то цитировал из него что-либо, то нечто припоминал о его детских шалостях, а то и заводился на нелепый спор с невидимым нам оппонентом, читающим Александра Сергеевича исключительно через его «Памятник». Своего я дождался: моя ученица, в каникулярную пору вывезенная своими родителями под Бахчисарай, разбудила меня ночным звонком: «Я поняла, – кричала она, захлебываясь от счастья, – Пушкин – гений!».

Я, само собой, не удержался – пустил скупую педагогическую слезу, а потом, успокоившись, ахнул: это сколько же надо было пережить малому дитяте, сколько перечитать да передумать, чтобы уже к восемнадцати – практически самостоятельно – дойти до такого!

Пушкин – как и Чехов, Толстой и Достоевский, Лесков и Шолохов – может быть присвоен любым из человеческих сердец не прежде, чем он пойдет – рванется в их сторону, причем напрямиком, в обход скучных нравоучений, мнимо мудрых педагогических установок или, не дай бог, идеологических вывертов. То есть без мучимой реформами школы, чиновничьей программы и безухих учителей, потому что с большим писателем общаются как с Богом – исключительно напрямую.

А реформаторы пусть занимаются своим вечным делом: запрещают одного, сокращают другого, не имеют в виду третьего: там, где их нет, – сплошь запретные плоды, которые мы и сорвем, и, конечно же, не только надкусим...

2 сентября 2004

Военная осень

В эти дни все книги как сговорились – говорят только о детях: Библия раскрывается на сценах избиения младенцев, Достоевский – на той странице, где его Иван Карамазов

заводит речь о пролитой слезе ребенка, Коран – на той сутре, что обращена к сыну: «О, сынок мой! Выстаивай молитву, побуждай к благому, удерживай от запретного...» Увы, наша осень началась не с побуждения к благому, не с молитвы и удержания от запретного, а с избиения младенцев, с пролитой слезы ребенка – с затмения разума и комы души.

Солнечная военная осень...

На полотне великого Джотто, писанном им шесть столетий назад, – один в один то, что кажет сегодняшний телеэкран: в правой части рыдающие женщины, в левой – ощерившиеся злобой воины; практически вся нижняя часть джоттовой печали занята телами убиенных младенцев.

Если охолонуть и взглядеться в эту работу попристальнее, главный из ее воинов – центральный – в космах и бороде, один к одному – живой боевик, Басаев или Бараев... Впрочем, параллелей у нас нынче много – более чем солнца в эту военную осень... У нигерийского племени йоруба есть пословица, от которой вчера – только вспомнишь – было тепло, а нынче, после Беслана – мороз по коже: «Дети – одежда человека». Выходит, щеголять нам в нашу солнечную военную осень исключительно в нарядах от Ирода...

Новые наряды – новое поведение: милиция талдычит о полной боевой готовности, «лица кавказской национальности» стараются держаться в тени – всякая милицейская сверхбдительность будет обращена в их сторону; учащиеся одной из подмосковных школ вместе с привычным дневником получили еще и «антитеррористический дневник» – там помимо номеров телефонных спецслужб еще и советы: что делать, как вести себя в ситуации возможного теракта.

Из-за Беслана вспоминают Дубровку, еще – Первомайский: Москва и поселки Ростовской области и Северной Осетии

срифмовались – держава, как в былые времена, стала огромной, но в то же время и горько-маленькой – уменьшилась до территории нескольких боевых плацдармов.

При всей новизне кажет свое лицо и наше прошлое – то «советское», от чего мы привычно морщимся, что, тем не менее, вошло в нас через книжки Гайдара и Фадеева, повбито в наши кровь и пот пионерскими горнами и барабанами.

Я говорю о героике Мальчиша Кибальчиша и героизме молодогвардейцев, которые очнулись в осетинах и ингушах, в русских и латышах: самым непокорным среди заложников бесланской школы оказался семидесятичетырехлетний учитель физкультуры Янис Кандис, самой последней из покинувших эту школу стала ее директор, семидесятилетняя Лидия Цалиева; для нас – для того, чтобы оградить его от возможного мщения, – не открывают имя милиционера, «завалившего» террориста, но зато мы знаем имя отважного инспектора по делам несовершеннолетних Фатимы Дудиевой. Знаем мы и о том, что после всего случившегося подал в отставку министр внутренних дел Осетии генерал-лейтенант Казбек Дзантиев. Это они и им подобные держат нас в возможном равновесии в эту солнечную военную осень...

Один из моих учителей, некоторое время – иркутянин, нежнейший из плеяды поэтов-фронтовиков, Юрий Давидович Левитанский, умер на трибуне, с которой – в несвойственной ему ярости – обратился к правительству с требованием оградить от гибели российских мальчиков.

Тогда, почти десять лет назад, наша военная осень еще только начиналась...

Помню, как Юрий Давидович устало сказал мне:

– Помолчи: я старше тебя на целую войну...

Сегодня он на Ваганьковском, его могила – совсем неподалеку от могилы Булата, с которым он дружил.

В книгах того и другого есть строки, которые я вынужденно настойчиво произношу, как свои.

Я не участвую в войне, – она участвует во мне, – выкрикиваю я вместе с Левитанским.

Сто раз я нажимал курок винтовки, а вылетали только соловьи, – упряплюсь я заодно с Окуджавой...

Мои поэты, дорогие мои старики, отмаялись – «отстрелялись»: ушли и не ведают, что случилось с теми, кого они пытались удержать «от запретного».

Не ведают они и о том, что случилось со мной, уже потерявшим возможность сказать нечто для меня важное тем девочкам и мальчикам, которые чудом выжили в кровавом Беслане. Любой из них имеет полное право перебить меня:

– Мы старше тебя на целую войну.

9 сентября 2004

Рядом с тайной

Когда – почти пятнадцать лет назад – моя жена, подарив мне дочь и, едва не покинув нас, дольше, чем нам мечталось, долеживала в больнице, мы с тещей только и делали, что, вглядываясь в маленький и круглосуточно плачущий комочек, гадали да прикидывали: кто она – Елизавета или Варвара? Других вариантов мы почему-то не предполагали, а в Святцы, как еще только идущие к храму, не заглядывали. В конце концов, какая-то гримаска, ужимка – звук или знак, которые подала нам из своих пеленок наша девочка, указали на то, что она никакая не Лиза, а самая что ни на есть Варя.

Потом, перейдя из детсадовского возраста в возраст школьный, она нет-нет да пыталась нас: «Отчего я Варя? Отчего не Лиза?» – и даже капризничала, настаивая на том, что ощущает себя вовсе не Варварой, а самой настоящей Елизаветой. Тут уж никуда не денешься: у тайны имени –

глаза судьбы и очеса рока. Вглядываться в них, дабы разгадать, это значит расстаться с покоем.

Полагаю, что и Флоренский, и Лосев, отважно занятые еще и этим, наверняка утяжелили свои души незаживающими ожогами и незатягивающимися ранами: тайна, тем более имени, не запускает – разве что допускает. Уверен, что для смертных, подобных мне и моим близким, заради житейского равновесия вернее верного – довериться ей сердцем, не терзаясь понапрасну...

Когда мы прознали о том, что в Иркутск привозят мощи преподобномучениц Елисаветы и инокини Варвары, мы – и жена, и дочь, а вместе с ними и я – затрепетали. О Великой княгине Елизавете мы нечто знали: супруга брата Александра III, Великого князя Сергея Александровича, она пришла в православие из католичества; когда ее муж, будучи генерал-губернатором Москвы, погиб от бомбы террориста, в храме Чудова монастыря, где стоял гроб с его телом, Великая княгиня причастилась Святых тайн, а на третий день после похорон пришла в камеру убийцы и, уговаривая его покаяться перед Господом, подала на имя государя прошение о его помиловании; в той обители, которую она создала, любая помощь была бесплатной; погибла она, как и вся царская семья, под Екатеринбургом – когда ее арестовали, чтобы везти в Алапаевск, ей позволили взять с собой инокиню Варвару, которая потом пожелает разделить свою судьбу с ней. Преподобномученице Елисавете было сорок шесть, преподобномученице инокине Варваре – тридцать пять...

Вспоминая себя в дни отречения императора Николая II от престола, в одном из своих писем Елисавета Феодоровна писала: «Я испытывала такую глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто раз

больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть. Но Великой России, увы, больше нет. Мы... должны устремить свои мысли к Небесному Царствию... и сказать с покорностью: «Да будет воля Твоя».

Я читал эти строки в те дни, когда отечество наше было истерзано и унижено террористами: два погибших самолета, чуть погодя – очередной теракт в Московском метро; возможное спасение от всего этого мнилось в храме. День выдался чудный: солнце и светило, и ласкало, и радовало, трамваи звучали музыкальнее обычного, в налившейся спелостью листве, в начавших сбиваться в плотные стаи воробьях, как и в налетевших к нам синичках, четче, нежели накануне, зазвучала нота смиренная – хотелось молвить: христианская. Наш Знаменский был залит брызгами молебна и переполнен благодатью, прихожане – светящиеся, как никогда, сбивались на шепот, батюшки – конечно же, недоспавшие – без усталости одаривали всех благословением, очередь к таинственным ковчегу с дарующими силу мощами была степенна и в меру кружавчата. На поклон к Елисавете и Варваре пришли мужики и бабы, старые и малые.

– Наверно, все девочки, как и я, Варвары, – шепнула дочь.

– В помаде нельзя, – пугнула жену стоящая перед нами бабушка.

И жена моя, хотя и догадалась обойтись в сей чудный день без помады, все равно, на всякий случай, прошлась по своим губам извлеченной из сумочки салфеткой.

Мы – по очереди – припали к золотому ковчегу, став на мгновение более близкими Елисавете и Варваре, нежели друг дружке. Что-то с нами произошло – что-то наверняка аукнется чем-то непременно хорошим в такой нашей жизни, которая внешне ничего таинственного как бы и не

предполагает. Что-то произошло и с городом нашим – он, мудрый, еще долго после такого дня не мог расстаться со светом, а возможно, и с той силой, которую принесли в него вращающиеся частички святых русских женщин.

Наверняка что-то хорошее случится и с моей Варей – с ней много больше, нежели с другими Варварами Иркутска, потому что в первые дни своей маленькой жизни она некоторое время успела побыть еще и Елизаветой. Вы скажете, что упования мои нелепы и даже смешны, но они меня греют – в нынешнем сумасшедшем мире, где идет бесконечная война на земле, под землей и в воздухе, – хорошо держаться тайны. Пусть сегодня это будет тайна имени, завтра – тайна причастия, послезавтра – тайна слова, сказанного евангелистом, мудрецом, поэтом.

16 сентября 2004

Сахалинская жалоба

Нанака, Нанака, – выпевала старая нанайка, неловко сидя на скатывающейся долу завалинке.

Нанака, Нанака, – вторили ей щепочки и бревнышки, стеклышки и камешки, освеженные мочью нежнейших псин, скатывающегося в сторону моря двора.

Нанака, Нанака, – повторяли за ней ее внучки, крашенные кто как – соломенные и рыжие, в потертых джинсиках и застиранных юбочках.

Нанака, Нанака, – отвечал ей мой материк, который я объездил вдоль и поперек, однако, сходясь с кем ни попадя, так и не сошелся с Нанакой – родной сестрой старой нанайки, с коей она рассталась, будучи еще девочкой...

Одна старая нанайка выкликала другую старую нанайку – с помощью нехитрой мелодии, по всей вероятности, очень простыми, вовсе не прорифмованными словами.

Остров выкликал материк, одна жизнь – другую, я чувствовал, как влажнеют мои глаза, видел, как хлюпают носами сдержанный писатель Битов и замученный экспедиционными заботами литератор Колесов, сентиментальный археолог Прокопьев и чуждый каких-либо сантиментов историк Ремизовский.

Потом старая нанайка ударяла палочками по бревну, возлежавшему на обыкновенных козлах (часть своего детства, согласно требованиям родителя, я промаялся у таких же), и это было тем ритмом, который выхватил из девичьего кружка самую старшую из них – чуть более тридцати, – заставив ее изящно взмахивать ручками, покачивать бедрышками и перебирать бойкими ножками, упакованными в черную джинсу и кроссовочную клеенку.

– Это танец медведя, – объяснила она, ничуть не сбиваясь с ритма и не теряя легкого, как августовская паутинка, дыхания.

А потом старая нанайка – опять на завалинке – держала на руках трехлетнего правнука и выпевала слова своей колыбельной.

Пела она не для внука, а для нас, однако он – в высшей степени художественно чумазый бутуз – на первых же ее фразах захлопал ресницами, угольки его глаз погасли, ручки опали, и каждый из нас позавидовал ему, потому что разве возможно успокоиться в этом мире без прабабкиного тепла и ее колыбельной!

Чтобы погасить смущение, мы рассмеялись.

Чтобы не совсем раскваситься, кто уткнулся в блокнот, кто прилип к магнитофончику, кто – к фото- или кинокамере.

И тут выяснилось, что та самая танцовщица, которая нас только что поразила, прямая родня писателю Владимиру Санги – его племянница, и что к родному дяде у нее имеется ряд претензий, ибо, по ее мнению, он недостаточно верно понимает проблемы своего народа: оторвался от него – нечто вроде материка по отношению к островку...

У Санги мы были как раз накануне – вернее сказать, не у самого Владимира Андреевича, то есть не в той квартире, которая у него имеется в Ногликах, и уж, конечно, не в той, что он содержит в столице нашей Родине Москве, а в той самой фалантерии, что он создал, дабы возвратить часть своего народа в некогда привычные для него условия: там, согласно его писательской задумке, в лесную глушь и в высокий морской берег вписались – как были – два барака для сна, лабаз для хранения продуктов, сруб для разделки животных да коптильня для рыбы.

Нас встречали два нанайца – молодых, угрюмых и настойчиво молчаливых. Послушные Владимиру Андреевичу, они угощали нас юколой и нерпичьим жиром, шикали на собак – почти настоящих нанайских лаек, которых Владимир Андреевич решил воссоздать почти с нуля, – и подводили к стланиковым кустам, по-новогоднему усыпанным только-только созревшими шишками.

– Здесь все, как было у моего отца, у моего деда, – объяснял Владимир Андреевич, – даже лабаз на том самом месте, не говоря уж о доме...

Вечером в одной из комнатух ногликовской общаги, не в силах отмахнуться от песенки старой нанайки про ее сестренку Нанаку, я пробовал изложить ее жалобы привычным стихом.

Нанака, Нанака, сестренка, дружок, – привычно брел я по колее, проложенной ныне полузабытым Михаилом Светловым, – Тебя дожидается твой пирожок...

Мне было стыдно своего бессилия: наверняка, думал я, в той песенке, что сложена старой нанайкой, все настолько просто и до того чисто, что мне, испорченному литературой и литподенкой, до них уже ни дойти, ни доплыть. Детская душа, она такой и осталась, какой некогда была, будучи разумно прописанной под ребячьими сердцами ее прабабок и прапрадедов – сто или тысячу лет назад. Скорее всего, не только я, но и сам Санги, подобно мне, согласно общим лекалам, отредактированный и исправленный уроками главных представителей «большой» советской литературы, рядышком с этой старой нанайкой, ее «Нанаккой» и ее же колыбельной – уже никакой не поэт, а только крупный общественный деятель.

Нанака, Нанака, черемухи цвет Ветрами задут, а тебя еще нет... – вновь и вновь пытался я хотя бы приблизиться к нетронутому газетами и радио чуждому нашему миру сердцу.

Нанака, Нанака. Снежок за окном, А ты...тра-та-та-та...не входишь в мой дом...

Возможно, если бы мне не рассказали печальную повесть о нанайском народе, который – некогда могущественный, если не главный на острове – разбросало туда-сюда, кабы не прознал я из этого рассказа о том, что нанайцы южной стороны Сахалина не понимают нанайцев его северной стороны, а те и эти не смогут сговориться с нанайцами, живущими на материке, по всему Амуру, я бы и не вздрогнул: не стал бы накладывать судьбу этого народа на судьбы иных народов, этого языка – на языки иные...

Господи, обращался я за помощью к Создателю, зачем ты поделил нас на языки, зачем отнял язык общий, превратив

каждого из нас в малые островки, никак и почти никогда не складывающиеся в нечто целое...

Нанака, Нанака, я ждать не хочу – Я птичку стану, к тебе прилечу, – никак не мог выпрыгнуть я из навязанного мне ритма, уже не умея вообразить личико этой самой Нанаки и потому видя перед собой то глаза жены, то глазенки дочери, то мокрые ресницы мамы...

23 сентября 2004

Прямая речь

Это уже закон: после семи дней заграничного жития нестерпимо настойчиво хочется домой – в надышанные улицы, в намоленную комнатуху, но более всего – в язык, который вроде бы и в тебе, но этого, выходит, мало.

Без родного языка я теряюсь: ухо глохнет, губы немеют, мысли ведут себя подобно потерявшим ориентиры мухам, само тело представляется насквозь дырявым: душу из него – коли нет Слова – изъяли и отправили куда подальше.

Чужая речь – да простят меня Гете и Сервантес, Шекспир и Верлен, Тувим и Ду Фу – представляется мне мучительной какофонией. Если я и слышу ее, то не более чем на мгновение небесной молнии или ослепляющей фотовспышки: чужое кажет себя стыдливо и исключительно частями.

Иное дело – родное, впущенное в себя с материнским молоком: гармоническая статика существительных, головокружение глагольной чехарды, патока уменьшительных суффиксов, варварство междометий!

Отберите у меня что угодно – оставьте только это, и я причислю себя к счастливым! Когда я впервые в своей

жизни возвращался из заграничного вояжа (а это была социалистическая Германия), побросав вещи, я тут же занял позицию в тамбуре. Конечно, я бросился туда прежде всего затем, чтобы покурить и даже – перед скорой встречей с родиной – перекурить лишнего, однако, проведя в тамбуре несколько часов кряду, уже лежа на спальной полке, я сообразил: много желанней и, конечно же, слаще всякого заморского табака была для меня живая речь, коей без конца дарили меня являвшиеся в тамбур мои соотечественники.

Разумеется, стоя в тамбуре, увозившем меня от чужой неметчины в сторону родного славянства, я внимал речам отнюдь не литературно выверенным: ни представитель дипкорпуса, налегавший на «Мальборо», ни старуха, проводовавшая своих детей и внуков в Берлине и пыхтящая беломориной, ни тем более я сам, припадавший к веймарской трубочке, о благозвучии своих диалогов ничуть не заботились – болтали и сорно, и захлеб, и даже нецензурно, но зато почти так, как хотелось бы Пушкину, обыкновенно морщившемуся от языковых правильностей.

Наше счастье, что язык наш, разноцветный от грамматических вывихов, переперченный жаргонизмами, пересоленный матерщиной и чудом удерживающий свое равновесие на гвоздях однозначных междометий, именно всем этим не только жив, но еще и хорош, и, конечно же, сладок. Причем не только для людей перевозбужденных (а возвращающиеся к отчужденному дому другими и быть не могут), но и для влюбленных, и думающих, и исповедующихся.

Он, язык наш, как существо непредсказуемое, может и собраться, дабы сложиться в пушкинскую строфу или тургеневский пейзаж, а может и разойтись, разбежавшись на лихорадку диалогов Достоевского, хмельную цыганщину Аполлона Григорьева или высокое заикание Пастернака: «Буря мглою небо кроет...», «Внутренность леса постепенно

темнеет...», «Она сюда приходила, одна, здесь сидела, говорила со мной. – Она! – Да, она...», «Басан, басан, басана, басаната, басаната», «В тот день всю тебя, от гребенок до ног...»

Он, язык, дружок наш, прикидывающийся закадычным, способен явиться нам и заикой-мурлыкой в стихе Анненского, и сторожевым псом при нажитых им запасах в поэмах Хлебникова, и вечным странником в безразмерном хаосе Мандельштама: ««Я думал, что сердце из камня...», «Крылышка золотописьмом тончайших жил...», «О, бабочка, о, мусульманка...»

Его, язык наш, лихорадит на пене, осыпающей губы наших политиков, ему сладко на устах наших батюшек, горько – в радиоэфире, кисло-сладко – на телеэкране, он, брошенный нами, подобно недоевшему пенсионеру, хмелеет на жаргонизмах, впадает в кому на канцеляритах, дабы, подобно Лазарю, – в гнойных стружьях и рваных пеленах – воскреснуть в адамовом косноязычии футуриста Крученых, совковой глухоте зощенковской издевки или скоморошьей безъязыкости Черномырдина: «сиськи-масиськи» – слышим мы, вместо «систематически» и, нешуточно страдая от этого, воскресаем на вечной молитве «От одра и сна воздвигл мя еси...»; «дыр, бул, щил» – хохочем мы, возвращаясь в свое исконно языческое, «положь взад» – кореем мы себя, дабы в конце концов предельно выговориться через, по всем статьям, платоновского героя: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Когда я впервые возвращался из своего заграничного вояжа, официальный язык был дистиллированным: на полки книжных магазинов выставлялись очередные многотомники Грибачева и Софронова, Маркова и Бубеннова – языка в них не было; по городам и весям гуляли анекдоты о полуживом «бровеносце», там и сям вспыхивали частушки и слоганы

типа «прошла зима, настало лето, спасибо партии за это», в коих наш «великий и могучий» дышал в полные легкие; еще не было ни фекального Сорокина, ни разговаривающего исключительно матом Шиша Брянского, ни цинично глухого Димы Нагиева, ни оторвы Ханги – они только учились говорить, может быть, даже у тех анекдотов и частушек, в которых наш язык некоторое время вынужденно спасался...

В те времена еще никто и не предполагал, что ходившие в списках второе столетие подряд беспардонные сочинения Баркова придут к нам в золоте – ни Битов, через чьи тексты выговаривалась еще не погибшая интеллигенция, ни «деревенщики», с помощью коих договаривало себя крестьянское мое отечество, ни все те, что, став нынче нашими избранниками, надумали сочинять такие указы, по коим язык наш якобы непременно отыщет свое спасение...

Сегодня Барков вышел в академической «Библиотеке поэта».

Я этому не радуюсь, но при этом и не кричу «караул»: значит, языку нашему потребно и такое.

В конце концов, мы ведь помним, что даже «наше все» – сам Александр Сергеевич Пушкин позволял себе мечтать и о таких, по его разумению, вовсе невозможных изданиях.

30 сентября 2004

Жить хотелось

В тот час, когда иркутские иудеи предавали земле погубленные пожаром свои святые книги, я прощался с Львом Иосифовичем Лейдерманом, горько печалюсь и светло думая о его жизни, как о хорошо написанной книжке.

Для меня она начинается не с его детства, о котором он вроде бы и не помнил, а с войны, с того самого дня, когда его воинская часть, располагавшаяся чуть ли не под самым

Брестом, обстрелянная со всех сторон разом, буквально в течение нескольких часов порассыпалась. Застигнутые врасплох, кто намыленный для бритвы, кто наладившийся на письмо для только что отоснившейся зазнобе, бойцы нашей доблестной помчали кто куда, и, конечно же, как и в мирное время: начальство – на машинах, рядовые и сержанты – на своих двоих.

- Драпали, ничего не соображая, – говорил Лев Иосифович.
- Долго? – спрашивал я.
- Лично я – не менее пяти суток, – признавался он.
- Без передыха? – не верил я.
- Жить хотелось, – объяснял Лев Иосифович.

Если бы про то, как драпала наша армия, рассказывал не он, а кто-либо другой, я бы не только не поверил этому, а встал бы в патриотическую позу: книжки, коими я зачитывался в детстве, рассказывали исключительно о тех солдатах, которые только и делали, что наступали.

Он показывал свои фотографии: из пожелтевшего далека вглядывался в меня без страха и упрека молодой сержант Лейдерман.

– Это я как раз перед тем, как познакомиться с Инной, – объяснял он.

К тому времени я уже знал: с Инной Львовной они встретились на войне, сошлись и поженились сразу же после нее, будучи еще студентами, она – медицинского московского, он – медицинского ташкентского.

Отец Инны Львовны, бывший в свое время вторым человеком в одном из столичных журналов, научно объясняющим вопросы марксизма-ленинизма, отбывал незаслуженные двадцать пять на сталинской Колыме,

родные Льва Иосифовича, все до одного погубленные фашистами, были навечно приписаны к общей могиле.

До встречи с Инной Лев Лейдерман был одинок, но жизнелюбив, жаден до наук, но круглосуточно голоден. Его, как и других ему подобных, совмещавших учебу с работой в опытной лаборатории, спасали кролики.

– Закончим с опытами, – рассказывал он, – и тут же своих подопытных – под скальпель да на сковородку.

– И не жалели? – ахал я.

– Жить хотелось, – объяснял Лев Иосифович.

После получения дипломов они помчали в Сибирь – выбрали Ангарск, хотя некоторые из знакомых мне ангарчан упорно настаивают на обратном: молодой город, позарез нуждающийся в хороших людях, выбрал Лейдерманов по собственному усмотрению.

Я сошелся с ними уже в те поры, когда Инна Львовна, сместившая во время своих занятий йогой один из позвонков, числилась в инвалидах (конечно, начало этой трагедии – на войне, в тех днях, когда она, совсем еще девчонка, таскала на себе стопудовые катушки с телефонным кабелем); я подружился с ними, когда, не оставив любимую терапию, Инна Львовна повела еще и знаменитый на всю страну клуб медицинских сестер «Свеча», а Лев Иосифович, прошедший с ней в качестве бессменной сиделки сибирские и столичные больницы, пережив все ее мыслимые и немыслимые операции, уже тревожился не столько за ее здоровье, сколько за ее сочинения, за судьбу их публикаций – в «Знамени», «Юности», «Сельской молодежи», «Сибири». Они были столь пригнаны друг другу – и не только войной и детьми, не только медициной и круглосуточной заботой о своих больных, даже не только книгами, которые и глотались ими и при этом еще испробовались на вкус и на запах, –

столь прилажены к друг дружке, что я догадывался: у такой любви, какая им выпала, не бывает календарей – только ангелы.

Конечно, они были разными: Инна Львовна – сплошное «ах», Лев Иосифович – бесконечные «почему» да «отчего».

– Зачем ты ругаешь мою Инну? – не понимал он. – Неужели для писателя так уж важен вопрос – как написать и абсолютно не важно – о чем и почему?

Он снимал с одного из шкафов стеклянные колбы, в них жили белые – как выточенные – кораллы. Будучи блестящим, спасшим многие жизни хирургом, Лев Иосифович извлек их из почек своих пациентов.

– Будешь пить, – пугал Лев Иосифович, – и в тебе, разрезав, найду такое же...

Не нашел, потому что вовремя напугал и не вовремя ушел, пережив свою Инну лишь на семь лет.

Мы положили Льва Иосифовича рядом с ней; простые мужики мотали на кулак сопли: он продлил их жизни; простые бабы прикладывали к глазам платочки: он продлил их счастье.

– Жить расхотелось, – услышал я голос Льва Иосифовича.

С этих слов я бы и начал книгу о нем, раскручивая прожитую им жизнь вспять: от его нынешней могилы – к тому дню, когда он пять суток кряду драпал от вероломных фашистов, мчал в сторону Инны Львовны и ее романтической прозы, к своим девочкам, Лене и Миле, к своим внукам, Даньке и Полинке.

– Жить хотелось, – расслышал я его голос.

И в эту самую минуту я нашел для себя такую рифму, которую принято считать смысловой: иудейские книги

сгоревшей Иркутской синагоги и дописанная нынче усталым Ангарском хорошая книга о хорошем человеке – переаукнулись.

Грустное созвучие, держащееся земли, которая пухом и Слову, и Человеку...

7 октября 2004

Предвестие истины

В Румынию я не собирался – она сама позвала меня, вместе с Рейном и Ковальджи, заодно с Грицманом, который, как оказалось, не только поэт русского зарубежья, но еще и представитель нынешней американской поэзии.

Мы угодили в ту кучу малу, которую ежегодно устраивает председатель союза румынских писателей Евген Урикару – в гремучее варево из поэтов и прозаиков Европы и Азии, Востока и Америки, где Амос Oz и Томаш Саломон уже причислены к лику святых, где стихотворцы Пакистана денно и ночью хороводятся со стихотворцами Израиля, где мятежные ирландцы насакаивают на чопорных англичан, где вьетнамцы после полустакана пива приходят к нам с переводчиком и торжественно клянутся в любви к великой русской литературе, где самые родные – что тут поделаешь – все-таки славяне: громокипящие сербы и улыбчивые румыны, вечно смущенные словены и навсегда очарованные липоване.

Свободные от одиночества, мы в течение пяти дней говорили об одиночестве, которое не зачеркивается Интернетом, талдычили о культуре, которая перечеркнута телевидением, плакались о Слове, которое может спасти, но не спасает...

В наших бдениях, разумно названных «Днями и ночами литературы», участвовали море и его чайки, земля и ее розы, небо и его облака, стихи и их свет.

В сорока километрах от нас жила Констанца, мы помчали туда с Рейнами – с Евгением Борисовичем и его музой Надеждой, дабы пройтись по той пьяной брусчатке, что легла на былую жизнь Римской провинции – на город Томы, куда временно всеильный Август сослал временно бессильного Овидия.

«Лучшею частью своей, вековечен, к светилам высоким Я вознесусь, и мое нерушимо останется имя», – говорил о своем непренном бессмертии в просторных «Метаморфозах» опальный Публий Овидий Назон.

«Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, меркнет все живое. Всего прочнее на земле печаль, И долговечней царственное слово», – вспомнили мы Ахматову.

Молодой Рейн водил к ней юного Бродского, тот после нелепого судилища бродил по родному Васильевскому, вынужденно прилаживаясь к пространству изгнанничества и, заранее зря свою Венецию, репетировал роль нового Овидия: «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря».

«Глухая провинция у моря» открывала нам врата своих храмов: византийскую чистоту их пропорций, нежное серебро их летучих ликов, жгучий уголь их святых мощей.

– В детстве меня тоже крестили, – сказал Рейн, терпеливо дожидавшийся нас с Надеждой, неловко хлопотавших троеперстием и губами у Богородицы и Спасителя. – Давай напишем об этом, – сказал он, имея в виду и ту столешницу, что дождалась нас у самого моря – с изумрудным салатом и золотыми рыбинами, и тех собак, что пришли к нам за милостыней, и все то, что было Томами, а теперь стало Констанцей: облачные зачесы небес и черепичную шевелюру крыш, ленивые волны моря и сдобных официанток прибрежной ресторации...

В нашем временном гостиничном жилище за нас волновались наши: Лена Логиновская, ее дочь Маша, Машин муж Мирча, Сашенька Феноген и Никита Данилов.

Лена – из россиянок, ее муж – профессор Альберт, главный из знатоков Достоевского в Румынии, – привез ее в Бухарест из Свердловска; Саша и Никита – из липован, из наших старообрядцев, выросших в Румынии.

Все они, как и все их немалое окружение, живы русским словом – заняты переводами на румынский старых и новых наших прозаиков и поэтов, делают русские газеты и журналы, пишут и стихи, и прозу, складывая их в мило издаваемые малотиражные книжки.

Зять Лены – самый громкий из румынских поэтов минувшего столетия Мирча Динеску: во времена правления страшного Чаушеску он был самым шумным из диссидентствующих, во дни революции – первым бунтовщиком. После расстрела Чаушеску Мирчу посадили под домашний арест – в течение десяти месяцев он не имел права удаляться от дома более чем на пятьдесят метров; Лена бегала к нему через шпицрутены охраны, забирала у него только что им написанное – передавала на Запад.

Сегодня Мирча существует без стихов, занят бизнесом – живет в нем, как в стихах: дурачится, издавая зубастую газету, клыкастый журнал и делая веселое, как он сам, вино. На одной из придуманных им винных этикеток дословно воспроизведены Адам и Ева великого Кранаха, однако если к Еве Мирча прикоснуться не посмел, то с Адамом посвоевольничал: не только приделал к его библейскому торсу морщинистую физию одного из своих рабочих, но еще и подсунул ему ночной горшок («пусть писает»). Сашенька Феноген работает на радио – вещает и по-русски, и по-румынски, только что на пару со своей сестренкой Леной выпустила книжку, в которой поместила свои, писанные

чистым русским слогом, сказки, и Ленины, избежавшие рифм, языческие стихи. Никита Данилов красив и мудр: с окладистой бородой, широкий в кости, с голубыми глазами, он именно таков, каким и должен быть упрямый носитель негаснущих упрямств великого Аввакума.

В той книжке, которую Никита подарил мне, первая фраза одной из пяти ее стройных и дивных своим немногословием повестей обдала меня домашним жаром: «Города меняли названия, а моя комната оставалась прежней».

В саду, принадлежащем румынским писателям, высоко над морем и под высокими оливами, с Леной и Мирчей, с Машей и Никитой, с Рейнами и Сашей – мне было хорошо, как в родной комнате, которая – из-за языка – «оставалась прежней»; мне стало еще лучше, когда за столом, сочиненным гурманом Мирчей, умудрились пристроиться еще и сербы: Адам и Марьяна, Каролина и Радомир...

Из той сотни поэтов, что съехались в Румынию, только они да мы, россияне, читали стихи, оперенные рифмой...

– Как вы там? – спросил я румяную Марьяну. – Неужто не страшно?

– Мы ведь поэты, – ответил за нее бородатый Адам, – нас перестреляют, а стихи останутся.

Я подумал, что нечто подобное наверняка говорили в разные минуты своей жизни и изгнанный из Рима Овидий, и лишенный родины Бродский, и долго непечатаемая Ахматова, и вынужденно замолчавший Мирча, и, конечно же, запрещаемый долгие десятилетия наш Рейн.

– Скажи спасибо за то, что допер до таких соображений, своему депутату Рожкову, – посоветовал Рейн.

Вот я и говорю: спасибо Вам, дорогой Владимир Ильич, за то, что решились помочь добраться мне до Румынии, а вышло – что почти до предвестия истины.

14 октября 2004

Очарованный словом

Если кого и читать из наших критиков, то в первую очередь, конечно, Курбатова: живой в мысли и слоге, он даже о малозначительной книжке так выговорится, что, бывает, про саму книжку позабудешь, а те строки, которые она ему внушила, и запомнишь, и поживешь с ними, обдумывая так и этак.

Впрочем, по этой причине, да еще потому, что Курбатов складывает каждую свою работу, как исповедь или молитву, в коих одно слово заплачет, а другое запоет, я все чаще и без каких-либо усилий причисляю его к братии писательской, нежели критической.

Удивлявший и прежде, в последние годы он уже и поражает: в позапрошлом году позволил издателю Сапронову издать книгой свою, длившуюся двадцать семь лет переписку с Виктором Астафьевым, а уже в этом году, буквально только что, увеличил в полторы тысячи большую часть своего «Подорожника» – книжицы для личных записей, которую, будучи моложе себя сегодняшнего на три десятилетия, догадался приспособить не для своих рабочих заметок, а для летучих соображений тех поэтов и прозаиков, художников и композиторов, с коими сходилась в Москве или Питере, в пушкинском Михайловском или толстовской Ясной Поляне, на «Сиянии России» в Иркутске или на Днях славянской письменности в Рязани.

Юрий Куранов, Анастасия Цветаева, Арсений Тарковский, Павел Антокольский, Семен Гейченко, Виктор Астафьев,

Валентин Берестов, Виктор Конецкий, Давид Самойлов, Булат Окуджава, Павел Бунин, Юрий Сильверстов, Георгий Свиридов, Виктор Гаврилин, Евгений Колобов, Валентин Распутин, Леонид Бородин, Василий Белов, Дмитрий Балашов, Владимир Личутин, Станислав Куняев, Владимир Бондаренко... Все они, одарившие хозяина «Подорожника» кто стихом, а кто и афоризмом, живут в его, растревожившей меня, книге, факсимильно: я читаю их не только через курбатовский мемуар, а еще и чрез их скоропись.

Разумеется, что встреча с каждым из сих очарованных странников для Валентина Яковлевича – то самое желанное и невероятное событие, к которому он, не готовясь, готовился, не торопясь, торопился.

Само собой, и мне, и вам, несомненно, знакомо это сладкое волнение при встрече с тем, из-за кого некогда недоспал, над чьей страницей вспыхнул, в чьей строке угадал или даже рассмотрел свет истины: ладонь поэта или художника, композитора или писателя, запавшего в тебя задолго до живой с ним встречи, представляется исцеляющей.

Вот я и листаю курбатовский «Подорожник», как душелечебник, поскольку благодаря ему заново вижу вечных детей Татьяну Ивановну и Валентина Дмитриевича Берестовых, вновь слушаю неисправимого печальника Окуджаву, в который раз подчиняясь нежному жалобщику Левитанскому и по-моцартовски легкому Самойлову...

Книга Курбатова вышла мило старомодной – и не только потому, что ее столь верно ненавязчивой сделал художник Сергей Элоян, а, в первую очередь, тем тоном и той неспешностью, с какой она говорит о вещах вечных, опираясь на Жизнь и Время, на Пространство и Разлуку, на Смерть и Память; старомодны и главные лица книги, то вспыхивающие ребячьей радостью, то чадящие старческим ворчанием, то горящие желанием все переделать, перекроить и ради этого

затянуть даже тот самый бунт, который «бессмысленный и беспощадный»; старомоден и сам Курбатов, говорящий вослед вечно буйным нашим старикам – Пушкину и Тютчеву, Достоевскому и Толстому, Есенину и Пастернаку – где стройно, где мудро, а где взмахом и с придыханием.

Добрая душа Курбатова открыта тем и этим – он столь распахнут для всякого творца, что без конца рефлексивен, изводя себя из-за понятной забывчивости, не переставая извиняться перед нами и за ту торопливость, с какой вынужден помянуть того или иного, за то, что при том, что разрастается его «Подорожник», истончается сердце и память: «...увы, нашего сердца и нашей памяти хватит ненадолго. Ни любовь, ни дружба, ни даже чувство утраты уже не проникают сердце насквозь – скорее отмечаются в нем, будто в книге приезжих. Мы теперь скорее знаем чувства, чем переживаем их, душа почти нарочито делается забывчива, будто защищается, чтобы полегче переносить слишком подвижную, нравственно нечистую жизнь. Учишься защищаться от зла, а теряешь память...»

При том, что книга собрала в одну компанию таких людей, которых в жизни, по разным причинам, было бы не свести, она читается как цельный рассказ об одинаково очарованных российских странниках, лечащих свои вечные болячки не только словом, но и дружбой и даже разноголосицей в соображениях.

Что, казалось бы, общего меж Берестовым и Шафаревичем, Окуджавой и Куняевым, Конечким и Балашовым?

«Мир тесен, и все мы в нем родня», – напоминает Курбатов.

Впрочем, поначалу – восторженный юноша, готовый обнять и правого, и левого, к последним страницам книги Курбатов уже иной, вернее, не кто иной, как страдалец за русскую душу.

Может быть, поэтому, поостыв, он и себя, и книжку свою читает как критик – прилаживая завязку к кульминации, а ту – к концовке, видя себя уже не только очарованным словом, но и героем литературных будней и двигателем непростого литературного сюжета.

«Как далеко ушла книжка от первых, еще спокойных, домашних, улыбчивых записей. Как нахмурилась. И вся как будто на сквозняке», – вздыхает он.

И правда, что происходит с мудрым Валентином Яковлевичем после общения с Георгием Свиридовым, в своем монологе с порога отказывающим в правоте всем (кажется, с единственным исключением) современным сочинителям и исполнителям музыки! Как нашему Валентину Яковлевичу стыдно самого себя, а более всего – своей «всемирной отзывчивости»: «...и Пруста почитаю, и Казакова, Павича, и Астафьева, Маркеса и Маканина, и вроде все в свой час по сердцу и во все небо, все вроде твои, и всяк поровну важен...»

И здесь – по сюжету – начинается для Валентина Яковлевича с некоторых пор вечная его дума «о собирании русского человека» (что, на самом деле, является заботой исключительно Божьей), отчего душа моя, только-только исцеленная первой сотней страниц его «Подорожника», уже не поет, а постанывает, потому что выходит, что «твоя отзывчивость часто только другое имя лени, боязнь твоя глядеть на свое, как на солнце, пока от света не заболят глаза...»

И наивен бывает наш Валентин Яковлевич – как в том случае, когда, сойдясь в наших краях со своими друзьями в хорошей песне, в нашем «Священном Байкале», решает, заодно с Шафаревичем, выйти к народу и, отказавшись от привычных монологов, просто запеть, потому что: «И тут все

поймут, что никакого расточения сил и никаких духовных потерь нет, а есть все тот же великий народ...»

Ну что же, пускай и наивный, и смущенный своей (по-пушкински!) всемирностью, и – бывает – велеречивый, но этим-то и хорош, отличен от прочих, потому что, при всей тяжести возложенной на себя миссии «по собиранию русского человека», явно из тех последних, кто еще всматривается на художника не как на составителя текстов, а как на Божье творение...

И разве это не чудо – критик, очарованный словом и всяким, кто служит ему своей верой и своей правдой!

21 октября 2004

Дева и Голубь

Критик М. прилюдно – не где-нибудь, а на международном форуме – влепил пощечину поэту Н.; поэт Р., едва дождавшись начала очередного литературного сезона, при стечении публики и свете прожекторов набросился на того же поэта Н. и начал его душить... Певца К., в отличие от поэта Н., избил втихаря – подале от посторонних глаз, и потому – вопрос: не сам ли, пялясь в зеркало, он искровавил свою физию на радость неизрасходованной жалости тех, кому страсть как хочется побить своих близких: жене – мужа, а зятю – тещу?

Певица В. крутила шуры-муры с продюсером З., однако вышла замуж за продюсера И.; при этом ясно, что поступила она таким макаром не из-за любви, а из элементарного расчета: второй продюсер успешнее первого, а у нее на шее аж трое оболтусов, и все от разных – то ли от певцов, то ли от продюсеров, то ли от депутатов...

Не жизнь, а сплошной бразильский сериал, или – коли по-нашему – сплошная завалинка: «А вы знаете, что у...? – А вы знаете, что из...? – А вы знаете, что над...?» Впрочем, что в том плохого, коли всем, рожденным и выросшим при завалинке – в глухой деревушке или пьяном предместье, – и оттого привыкшим видеть не дале темени своего тупика или порожка своей улочки, есть чем занять себя, о чем посудачить? Бабушки, провожающие взглядом всякого, не так, по их разумению, передвигающегося, у нас не переводятся. Разве что меняются внешне: бабушка Комиссаров примеряет сарафаны в спецлавке для депутатов, а бабушка Нагиев – на вещевом рынке... Между тем, наш прабабушка Лев Николаич, наслышавшись о том, как жены изменяют своим мужьям, сложил из них Анну Каренину, а прабабушка Федор Михалыч, начитавшись бульварных листков, коих у него было ничуть не меньше нашего, высмотрел чрез них не только Раскольников, но и Алешу Карамазова.

Между тем, критик, залепивший пощечину поэту Н., вымыв руки и успокоив себя валокордином, садится за статью, в которой, талдыча о смысловых дырах в поэтике Мандельштама, взбирается аж до Божьих небес, разумно используя ту самую «лестницу чувств», которую выстроил для нас прапрабабушка Пушкин; в то же самое время поэт Р., едва не отправивший того же Н. к нашим праотцам, выговаривает себя через такого и чрез такие стихи, которые спасут по десятку его читателей как в поколениях нынешних, так и будущих; но ни минутой позже, в параллель критику М. и поэту Р., чудом выживший стихотворец Н. затевает привычное для себя художественное оформление доноса (далее этого он, к сожалению, не идет) на иного критика или иного поэта, от коих рано или поздно схлопочет очередную пощечину.

Позавидуем двум первым и не осудим последнего, ибо не каждому дано, подобно нашей бабушке по аглицкой линии, а именно Вильяму Блейку – «В одном мгновенье видеть вечность, Огромный мир – в зерне песка, В единой горсти – бесконечность, И небо – в чашечке цветка...»

Что касается покореженной физии эстрадной звезды или же счастливого замужества до некоторых пор недостаточно счастливой эстрадной дивы, то что им стоит явиться в новые апокрифы новых Львов Николаичей и Федоров Михалычей, дабы – благодаря перу писателя, а не сплетника – предстать пред нами не только несчастными, но и красивыми? И впрямь, отчего бы ищущему скандальной жалости паршивцу не вырасти в страдальца, под стать многовуйному Иову, а грешнице наших дней – в кающуюся Магдалину? Ведь время не только лечит, но и убирает все лишнее: так ли уж важно, с кого писал своих ангелов Фра Анжелико, если – спасибо ему – мы зрим именно что ангелов?.. Когда – четыре года назад – я вынес на обсуждение богословов ими же и заказанный текст мистерии, повествующей в стихах о земной жизни Божьей Матери, один из них, более прочих мучивший меня престранными замечаниями, попросил усилить ту часть моего сочинения, где говорится о беспорочности Ее зачатия. Я, грешный, рассвирепел настолько, что пошел на заведомую ересь.

– Вы можете изгнать меня из храма, – сказал я, – но, допустим, я, как ваш прихожанин, обращаюсь к вам как к своему пастырю, с одной-единственной просьбой: святой отец, говорю я, помогите мне увидеть сцены беспорочного зачатия во всех подробностях...

Мой критик потупил глаза и развел руками, после чего текст моей мистерии, положенный на музыку, прозвучал в том храме, где он служил, а чуть погодя побрел по городам и

всем, никого, насколько мне известно, по-настоящему не смутив.

Это я к тому, что есть вещи, запретные для обсуждения, тем более на языке быденном: обычная жизнь, прошедшая чрез апокрифическую занимательность и доросшая до евангельского Слова, становится житием, после чего всякое к нему прикосновение настаивает не только на сердечном к нему доверии, но, прежде всего, на неременной в него вере. Лучше, конечно – слепой, вернее всего – от света.

А это я уже к тому, что сегодня мы, к сожалению, слепнем не от света, который, я уверен, вопреки нашей растерянности, все-таки не убывает, а наоборот, мало что видим из-за тьмы, которой мы позволили навалиться на наши плотно занятые нами теле – и прочие завалинки.

Увы нам и ах, однако, вглядываясь в немислимые житейские узоры, мы чаще зажмуриваемся не от той тайны, что их складывает, а от того сора, без коего не смеем обойтись, но из коего, как настояла Анна Андреевна Ахматова, «не ведая стыда», растут не только сплетни и глотающие их газеты, но и стихи.

А вы, между тем, еще раз зажмурьтесь и попробуйте увидеть: сначала Деву и Голубя, потом – Мальчика и Отца, а потом – Спасителя и нас с вами.

Вы, конечно, представив это, зажмуритесь еще сильнее, но уже по иной причине – и прежде всего по той, что, сидя на своей завалинке, не сможете не подумать о том мусоре, который лежит меж ними: о сплетне, которая душит женщину, о мальчике, который для всех, кто глядит на него с завалинки, безотцовщина...

И все-таки, что может быть вернее для того, чтобы ослепнуть не от тьмы, а от света, как не видение Девы и Голубя!

28 октября 2004

«За всё, за всё...»

Девять десятилетий тому назад, примерно в такие же дни разыгравшейся осени, уже замечательный, но еще не накопивший желчи Владислав Ходасевич, складывая свои единственные заметки о Лермонтове, выглядывал в окно и печалился: «столетний юбилей... совпал с ужасами войны».

Не хочется загадывать, но боюсь, что и через десять лет, когда придет пора отмечать Михаилу Юрьевичу кругленькую дату, кто-нибудь вынужденно вздохнет: не до него. Впрочем, напрасно: чем более в нашей жизни печали, ужаса и даже злобы, тем более ощутимо в ней присутствие поэта, причем именно такого, каковым был и остается наш Лермонтов.

Приговоренный к одиночеству, он мало кому доверял («И скучно, и грустно, и некому руку подать...»), сломленный недоверием, он «странною любовью» лепился душою к родине, презревший все земное, он, по инерции, безнадежно взглядывал и на небеса (там, коли верить ему, холодно – «торжественно»), редко-редко – разве что в молитве – переживая легкость на душе и на сердце, он и от Самого Господа ожидал не прощения за «заблуждения страстей», а наказания за них.

И пусть меня накажет Тот, Кто изобрел мои мученья...

Как видите, упрек, обращенный к людям, без смущения переносится и на Бога. Да и слова благодарения, сложенные поэтом совсем в иную минуту, звучат для нас более чем странно: он склоняет пред Ним голову, говоря свое страстное спасибо не за «желтеющую ниву» или «ландыш серебристый», а «за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей»...

Странно думать, что никогда иным наш Лермонтов не бывал, странно видеть, что все, оставленное им, редко-редко не бежит солнечного луча и почти всегда недоверчиво к человеческому теплу: он, и правда, как настаивает

Ходасевич, «систематически прививает читателю жгучий яд страстей и страданий».

Для меня несомненно, что, будучи еще младенцем, он заглянул в бездну ужаса и с той самой минуты находил ее во всем – на земле и на небе, в женщине и даже ребенке (кто еще, кроме Лермонтова, мог взглянуть на «прекрасное дитя» «с отрадой тайною и тайным содроганьем»?).

И действительно – разве мы не вздрагиваем всякий раз, когда вспоминаем, что первые строки «Демона» были сложены четырнадцатилетним отроком: этого не может быть, ахаем мы, потому что «так быть не может»; мы никак не хотим поверить в то, что и Печорин, и его поведение, и его мысли писаны двадцатилетним юношей: не смеет, раздражаемся мы, человек столь малого житейского опыта знать «такое» и «об этом». Мандельштам называл его «нашим мучителем», Розанов говорил о нем, как о «вполне «не нашем»: это «не мы», – ужасался он, хотя – из нашего далека – вечная розановская вредность представляется нам именно что с лермонтовской родинкой.

Увы нам и ах, но, с некоторых пор, а коли точнее – с той самой минуты, как прекратил свое существование «век пушкинский», «не наш» Лермонтов – это именно что мы. Буквально на днях, когда в нашей филармонии звучал Скрябин в исполнении не по годам мудрого и безжалостного Ионаметса, те мурашки, что терзали мою душу, настойчиво переаукивались с иными моими мучителями – с Врубелем и Анненским, с Мандельштамом и Бродским, с Андреем Тарковским и Александром Сокуровым...

Не хочу параллелить наших мелких бесов из разряда «политиков» с лермонтовским Демоном – для этого они катастрофически бескрылы, но оглянитесь на себя – вспомните свою отроческую мятежность и его маяту, и тут же и спросите себя: разве мы не из лермонтовского «Демона», не из его «Паруса», не из его «Думы», истерзанной

«насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом»?

Все мы на заре наших жизней – кто более, кто менее – впадали именно что в Лермонтова, в его недоверчивость к существующему миропорядку, в его настойчивую угрюмость и даже – злобу.

Змея скользила меж камней; Но страх не сжал души моей; Я сам, как зверь, был чужд людей, И полз и прятался, как змей...

Невозможно думать о том, что стихи эти писаны юношеской рукой, что та «зоркость ко злу», о которой талдычил, будучи еще двадцативосьмилетним, Ходасевич, открылась в «нашем мучителе» столь рано и терзала его на протяжении двадцати семи лет!

«К моей страсти, – признается один из лермонтовских героев, – примешивалось всегда немного злости, – все это грустно, а правда».

Все это грустно, а правда: лермонтовский юбилей – если брать линию официальную, – прошел столь тихо и незаметно, что его как бы и не было.

Между тем отметили его и на небесах (лунным затмением), и на земле (хотя бы очередными иркутскими разборками, закончившимися нелепой смертью).

Меня зазывали на его праздник в Пятигорск – в тамошний музей, но я не рискнул говорить о Лермонтове на пару с Андреем Дементьевым и Риммой Казаковой: «и скучно, и грустно» слушать размышления таких стихотворцев о таком поэте (ничего против них не имея, я, между тем, полагаю, что славить Лермонтова пристало не их голосам и, уж тем более, не моему шепоту).

Если позабыть о линии официальной, то лично я лермонтовский юбилей более чем отметил: припомнил, как о прошлом годе моя, еще четырнадцатилетняя, дочь бранила

жестокосердность его Печорина, как злилась на него и при этом была похожа на того Ангела, что нес по небу полуночи такую душу, которой «звуков небес заменить не могли... скучные песни земли».

А еще я отметил лермонтовский юбилей тем, что подставил правую щеку под ладошку своего младшего собрата – хорошо помня о том, что я участвовал в становлении его литературной судьбы, он бил меня злыми словами и, получая от этого истинное удовольствие, не мог остановиться.

И тут я, по Лермонтову, обратился к Господу с жаркой благодарностью, и прежде всего за то, что Он не обошел меня как «горечью поцелуя», так и «клеветой друзей»...

4 ноября 2004

Десять лет, которые...

Для наших палестин Виталий Диксон – писатель более чем странный.

Завязка у него всегда в прошлом, кульминация – то самое мгновение, когда он заглядывает в нас; а что касается развязки, то ее нет и быть не может: «нас этот продолжит и тот...»

Всякий герой Диксона – будь то, подобно Сперанскому или Гоголю, Бенкендорфу или Распутину, лицо реальное или же, наоборот, под стать «купецкой жене» Фелицитате Даниловне или писарю гренадерских казарм Хворобьеву, лицо абсолютно вымышленное – почти всегда и непременно являет собой определенное сословие, выказывает манеры и поведение того или иного класса, многостранично, а иной раз и просто презабавно талдыча от имени той идеи, которой, из солидарности со «своими», он сломлен – унижен – возвышен.

Как дипломированному историку, Диксону интересно наше прошлое, как писатель, он не перестает взглядывать на нашу историю, как на фигуру предельно живую, то и дело заикающуюся и без конца повторяющуюся – на его, диксоновский, взгляд, бывает, что и умно, случается, что и смешно, выходит, что нелепо...

Конечно, для писателя Диксон излишне многознающ и многопомнящ, конечно, для историка – с преизбытком речист и фантазерист, отчего для читателя, жаждущего только информации, раздражающ, а для читателя, настроенного на действие, утомителен.

Между тем он не только читаем, но и почитаем (Граниным и Искандером, Дмитриевым и Сотниковым), причем не только у нас (у нас, как и положено, его все больше поносят).

Стоит не позабывать, что именно он, Диксон, одним из первых в наших палестинах явил нам не только свободу нового поведения на пространстве прозы, но и чуть ли не первым указал на досаждающую (нынче – не только ему одному) искусственную условность всякого художественного метода, из-за чего, разбегаясь на портрет вымышленный, он и прилаживает к нему портрет исторический, а размахнувшись на бытописание века минувшего, тут же и оказывается в дне сегодняшнем.

Он вечный и, конечно, умелый спорщик: выговаривается так и этак, складывает такое, что почти повесть, печатает то, что почти анекдот, пишет так, что мы зрим в нем то яркого публициста, то отменного художника, то античного ритора, а то и матерого журналюгу.

Все это – сделанное безукоризненно по слову и по мысли, – он складывает в книги, которым сам же и дает жанровые определения: роман-фарс, роман-газета, роман-пасьянс, роман-экспресс.

Пишет он вкусно – форсисто, разгоняясь на пряные эпитеты, лихой каламбур, емкий афоризм, нередко зарифмовывая не только смыслы и физиономии, но и сами слова.

Прежде всего по этой самой причине многие из иркутян – не только прозаики, но и журналисты, – решив, что это собственное изобретение Диксона, бросились подражать ему; однако, если оглянуться, то окажется, что именно на этой территории у него с преизбытком предшественников.

Не зная рифмы античная поэзия даровала их своей прозе. Более того, подобные «примеры можно найти уже у зачинателя риторической традиции – знаменитого софиста Георгия Леонтинского». Указывая на использование гомеотелевтов (созвучий в словесных окончаниях, разнесенных в прозаическом тексте) героями седой старины, Сергей Аверинцев напоминает еще и о том, что «...ранневизантийская проза ...довела их применение до небывалой избыточности», что «...вслед за своими греческими наставниками стали так писать и книжники Древней Руси».

Думаю, коли использовать метод Диксона, то рифмовать его прозу вернее всего именно что с прозой последних – так же, как и первые наши книжники, он бывает темен и витиеват, так же, как и они, не прочь поразмыслить о том, «откуда есть пошла русская земля», так же, как и они, охоч и прелюбопытен до всякого текста, будь то элементарный анекдот или житейская байка, чистая латынь или подлинный старофранцузский, публичное выступление «патриота» или же семейный эпистолярый, залетевший в его кабинет по чистой случайности.

Отталкиваясь от былого, он западает в думы о настоящем...

Я, как герой некоторых его сочинений, то развернутых им в преподробное повествование из житейского анекдота, то, наоборот, выросших из обыденного случая, но заверстанного его веселой рукой в анекдотическую обертку, мог бы на него и обидеться.

Слава Богу – не выходит: моя физия вписана им не только в текст преизысканный, но и в контекст исторический, а коли она и потешает читателей его книжек, то так мне и надо.

Но, может быть, я не обижаюсь на него и по той причине, что как писатель он не обошел важные для нас чисто сердечные привязанности – наши увлечения, наши надежды, наши любовь и дружбу: мы ведь в его хрониках не только жители Иркутска, но и доживатели постсоветского пространства, не столько представители определенных настроений или носители вечно ветхих идей, сколько еще и выпивохи, бедолаги, счастливицы, то есть во веки веков неиссякаемые источники слез и смеха.

Сегодня я взглядываю на Диксона не только с удивлением, но и с восхищением: явившись в литературу прямиком из офицерской шинели, он всего-навсего за десять лет обрушил на нас аж четыре тома своих сочинений, тем самым составив себе имя отменного стилиста и отважного полемиста, а заодно – хроникера и писателя, знающего про всех нас такое, чего не хотят ведать другие.

И еще одна странность: вчера именно его, Виталия Алексеевича Диксона, я поздравлял с шестидесятилетием, не только удивляясь сей солидной дате, но и упрямо не доверяясь ей...

18 ноября 2004

Слово из детства

Кто только не пенял мне за мои телепередачи, кто только не бранил за «не тот» вид, «не ту» дикцию, «не такую» интерпретацию! За два года своей «отсидки» в городском

телевизоре я не выслушал только мертвого, а так – и слепых, и глухих, и, конечно же, самых настоящих умников.

Все они, как один, знают, в чем я неправ, в чем глуп, в чем некрасив и неубедителен, и при этом, как сговорились, только и делают, что раздражаются да фыркают по причине, на их слух, самой важной: «Сколько ты можешь! – кричат они. – Все «книжка» да «книжка», нет бы сказать: «книга» или «том», нет бы – «фолиант» или «издание»...»

Я, конечно, могу и так, как всем отчего-то хочется, но в то же время и не могу, потому что так уж вышло, что и по моей душе, и по моим губам мне более всего подходит именно что «книжка».

Я ведь таким манером из своего далека вещаю – из своего уютного детства, из тех тихих вечеров, когда, уложенный в постель бабушкой, требую к себе дедушку и без устали канючу: «Деда, читай!»

И требование мое относится ни к какой не «книге», ни к какому не «фолианту», а всем понятно, что к «книжке».

Да и дети мои, подобно тому, как когда-то обращался я к своему деду, только так и говорили и разумеется, что по сей день и уже на веки вечные только так и станут произносить: «книжка».

И когда я звоню своим друзьям, а они в это время при Пушкине или Шекспире, Битове или Акутагаве, то и они, как только я поинтересуюсь, чем они в сей момент заняты, тут же и все, как один, немедля отвечают: «Книжку читаю».

Да и сам я только и успеваю отвечать на вопросы своих друзей почти всегда одно и то же: «книжку читаю» или «с книжкой сижу», или «с книжкой беседую». И мой коллега, живущий в Москве и талдычащий на всю нашу страну о

книжных новинках на канале «Культура», славный критик Николай Александров, редко-редко произнесет «книга», но почти всегда: «книжка».

Да и другие – тот же Немзер, тот же Курбатов – чаще, нежели «книга», – «книжка»... Так теплее, нежнее, с выказыванием отношения, с выговариванием любви, с демонстрацией подбобрастия, чего, конечно, не всякая книжка заслуживает, но – по привычке и на всякий случай – все равно: «книжка».

Я бы не стал говорить об этом, кабы не обнаружил, что у всех нас – и у моих друзей, и у моих ребятешек, и даже у моего многомудрого столичного коллеги, – есть чудные предшественники, которые, называя имя, по-особенному для них дорогое и душе их близкое, непременно прилаживали к нему суффикс уменьшительный.

«Христианский автор редко когда скажет книга», – свидетельствует академик Сергей Сергеевич Аверинцев, – все чаще «книжка», даже «книжечка»... Ранневизантийские авторы называют «книжкой» весь канон «Писания»; множественное число от слова – это привычное нам слово «Библия» («Книжки»). Смирненные слова евангельской хананеянки переданы в синодальном переводе: «И псы едят крохи, которые падают со стола господ их», – но по-гречески сказано – «собачки», «щенятки»... Ученики имеют с собой в пустыне немного «рыбок», Петру велено пасти христовых «овечек»...»

В той же самой книжке, в которой я нашел сии слова и которая называется «Поэтика ранневизантийской литературы», Сергей Сергеевич говорит еще и о том, что и Франциск Ассизский – не просто «бедняк», но «беднячок», указывает на то, что легенды о нем – не «цветы», а «цветочки», что «в истории культуры не раз возникали семантические системы, доверяющие сакральную функцию

не патетике «высокого стиля», но просторечно-детскому, просторечно-стариковскому лепету уменьшительных форм».

Выходит, что, дожив до седых волос, я, не ведая того, произнося сладкое слово «книжка», свел в единое целое просторечно-детский и стариковско-детский лепеты; выходит, что, кроме меня, находят в этом слове свою особую прелесть если не враждебные, то наверняка чуждые друг другу люди – мои дети и мои критики; выходит, что в том языковом мире, который, отшатнувшись от сухого канцелярита и миновав стебные поля нынешней журналистики, почти оккупировал территорию русского мата, мы вместе – и они, и я – поребзячи одиноки и по-старчески беспомощны.

Разве нам по силам пролепетать «консенсус»?

Нет, и не просите.

Смешные для нынешнего мира, мы, упрямыцы, еще находим нечто такое, что возможно положить на лепет: «строчка» – причмокиваем, «словцо» – пришепетываем, «книжка» – выдыхаем...

«Книжка», лепечем мы, в то время, как Змей Горыныч по имени Виктор, а по фамилии Венедиктов, сидящий в том же телеящике, в котором сижу и я, но уже на канале «Культура», окружает себя такими литераторами, коим вынь да положь юридическое право на писание своих новых сочинений исключительно на языке поднятой в ружье казармы.

То-то будут нам тома, то-то – фолианты, то-то – издания!

То-то будет нам всем вблизи их «изданий» и оттого подале от наших книжек – без тех, которые Библия, без той, что, по слову Фета, принадлежит Тютчеву и при этом «томов премногих тяжелей»...

То-то воспарим мы, оставшись еще и без тех книжек, которые, по мысли Пастернака, не что иное, как «дымящаяся совесть»...

И здесь уж коли что и останется нам для увеселения духа и разжигания мысли, то разве что «книжка трудовая», «книжка записная» да, дай бы Бог, «книжка-раскраска», обходящаяся не только без мата – вообще без слова, которое, как мы помним, было не только в начале, но еще и в самом начале одной из лучших наших книжек...

25 ноября 2004

Что делать?..

Что делать, мучился я, разыскивая и не находя в третьих рядах своих книжных полок роман Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?»

Моя дочь нервничала и ворчала: через пару дней ей предстояло пересказывать содержание сего сочинения, а оно не то что не прочитано – до сих пор не найдено.

«Что делать?» – всплескивала она своими ручками, подобно тому, как всплескивала ими героиня Николая Гавриловича, согласно его демократической прихоти заступившая на бессменное дежурство в многовариантном, но навечно утопическом российском сне.

«Что делать?» – замирал я всем сердцем, безрадостно помяная, насколько, в сверхпрыщавый период своего отрочества, был измучен сим сновидением, ныне при загадочных обстоятельствах исчезнувшим из моей библиотеки.

Отчаявшись отыскать нужный том, не ведая, что делать далее, но желая во что бы то ни стало защититься от нападков дочери, я принялся бранить как самого Николая Гавриловича, так и его сочинение.

Скверно написанное, оно, по моему разумению, должно быть давным-давно изъято из школьной программы.

Для того чтобы не быть голословным, я раскрыл еще никем не замканный Розанов и зачитал: роман Чернышевского «...написан свежо, ярко, молодо, с верою в дело. Но, в сущности, и в свое время был уже стар, археологичен, не интересен».

На другой странице, заводя речь о том, что все выдающиеся люди проживают как бы один-единственный возраст, и, согласно сему соображению, определив Добролюбова как навечно сорокатрехлетнего, а Белинского – как не старше двадцати трех, Василий Васильевич Розанов приковал Чернышевского к двадцатидевятилетнему возрасту: «всю жизнь точно 29...».

«Но Розанова мы не проходим, – обрадовалась за меня, но огорчилась за себя моя десятиклассница, – поэтому, что делать без того, которого мы проходим, то бишь без Чернышевского?»

Судя по всему, весь «мыслящий пролетариат» моего собрания, представленный бывшим аристократом Рахметовым и революционно мыслящими «новыми людьми» Кирсановым, Лопуховым и Верой Павловной, заодно с их фаланстерами и снами, оказался присвоенным кем-то из моих ученичков: взяли, попользовались и не вернули.

«Что делать?» – обернулся я на жену.

«Что делать, что делать? – передразнила она меня. – Не тратя времени, идти в «Букинист» и выкладывать энную

сумму за любое издание своей любимой книжки «Что делать?».

Если бы жена занималась сочинительством романов, она бы наверняка обучила разумной жизни не только меня, но и всех нынешних Чернышевских: действительно, сочинение, некогда писанное в одиночной камере Петропавловской крепости, на беду многих поколений российских школяров, недостаточно хорошо потерянное недостаточно поддавшим Некрасовым, наличествовало в букинистическом магазине аж в нескольких вариантах.

Глянув на цены, я не только ахнул, но и огорчился: потребная сразу многим книжка стоила в одном случае десятку, а в другом – всего-навсего два с полтиной.

Здесь мое отношение к Николаю Гавриловичу разом переменялось: в свое время его книжка «Письма без адреса» мне, неучу, нечто объяснила. В его романе «Что делать?» есть страницы, писанные даже славно, а коли говорить о его героях, то они, при всей их искусственности, вошли – не вытравишь – в плоть и кровь российского читателя.

Поэтому: что делать, коли книга, без коей десятки поколений российских ребятишек даже не догадываются задуматься о нашем мироустройстве, ценится сегодня менее трамвайного билета?

Поэтому: кто виноват в том, что навечно вписанный в нашу изначально мучительную реальность роман Чернышевского стоит много меньше последней книжки Пелевина, сложенной абы как – беспардонно кавээнисто и с примитивным, на уровне стенгазеты, перетолмачиванием лучшего из китайских фантастов Пу Сун-лина?

Вопросы, конечно, один нелепее другого, однако разве возможно сравнивать с мятущейся Верой Павловной, с не так давно, опять же из-за дочери, вконец разорившими меня девочками и мальчиками, абы как сконструированными папой Карлой на дешевой «Фабрике звезд»? Да если Розанов прав

и Николаю Гавриловичу Чернышевскому навсегда не более двадцати девяти, то в таком разе фабриканту Карле, как и всем его рукодельным ребятишкам, – не более семи. Причем катастрофически навсегда.

Коли вспомнить еще и о том, что всякий текст, который доносят до нас наши певуны, стоит им немислимых денег, то дело и вовсе плохо.

За одно нынешнее «муси-пуси» требуется выложить примерно столько же денег, сколько на то, чтобы издать двадцатитысячным тиражом далеко не самую скверную из русских книжек «Что делать?».

И это при том, что моя жена чуть ли не каждый день пытается уверить меня, будто жизнь наша катастрофически дорожает.

Спасибо Чернышевскому, дождавшемуся меня в нашем букинистическом. С его помощью я, наоборот, обнаружил, насколько наше настоящее, а следовательно, и будущее, потрясающе подешевело.

Та революция, о которой не смели мечтать даже большевики, свершилась: за «муси-пуси» – состояние, за «Что делать?» – два с полтиной, отчего большая часть нашего населения, как по богатству, так и по разуму – на уровне первоклашки.

И потому – не спрашивайте меня, что делать.

9 декабря 2004

Сапожники

На одном из последних молодежных вторников, бесперебойно работающих в Доме Марка Сергеева по шестому году, нелегко пришлось тридцатидвухлетнему Игорю.

Собрав нужную сумму, он выпустил в свет свою вторую книжицу, которую и вынес на обсуждение.

Книжка не сложилась: хороших строчек негусто, убедительных стихотворений и того меньше; композиционно – никак, по мысли – бедно и косноязычно.

Но я не о стиходелателе Игоре, а о сапожниках.

О них я стал думать из-за Наташи, которая, не на шутку разойдясь, сравнила Игоря, уже автора не газетной публикации, а аж двух книжек, с сапожных дел мастером. За Игоря обиделись, на Наташу покосились, хотя из-за нее мы и вспомнили, ибо не могли не вспомнить, дедушку Крылова, который предупреждал: «Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник».

Я вспомнил еще и Шолом-Алейхема – его давно забавляющие меня слова, по коим выходит, что «человек – что сапожник. Сапожник живет, живет и умирает, и человек – живет, живет и умирает».

А потом пошли у меня перед глазами картинки из моего детства: битком набитый кинотеатрик, экран то и дело гаснет, и всякий раз, как это случается, мы, мальчишки, оборачиваясь в сторону бойнички, за которой прячется киномеханик, свистя и топоча, обзываем его сапожником.

Еще я вспомнил отца моего школьного друга, маленького и толстого дядю Яшу. Он, когда я приходил к своему другу, вечно сидел на маленьком стульчике, вколачивал гвозди в чьи-то каблуки и подметки, бранил жену, сына, дочь, а заодно и меня, делая это исключительно сквозь гвозди. Для удобства и, вероятно, еще для скорости затеянного дела он держал эти гвозди в своих губах: глянешь, а из них – блестящие стальные головки.

Почитателей у дяди Яши было поболее, чем у Игоря. Ему носила свои обутки вся округа – весь наш военный поселок, в том числе и мы, и наши соседи, что по мужской линии были сплошь военными, а по женской – учителями.

Если идти вглубь «сапожной» темы, то выйдет, что с сапожниками связано непременно нечто неладное: «Пьян, как сапожник», – говорим мы, или же – в той же стилистике: «пьян в стельку», или – когда чувствуем себя обманутыми: «меня – караул! – обули».

Конечно, если вспомнить, то окажется, что все сапожники, существующие в нашей литературе, всегда и непременно пьяны. Здесь и первый хозяин несчастного Алеши Пешкова, и, конечно, тот, что, жестоко перебрав, упустил из виду бедную Каштанку.

«Сапожник» для нас – это всегда и непременно плохо. И скверно играющий футболист, и неверно оценивающий его игру судья, как и не владеющий своим голосом тенор или же своей кисточкой – живописец, все они для нас почему-то «сапожники».

Про исключения мы, как правило, ни гу-гу, хотя, уверен, каждый порывшийся в памяти, обнаружит своего дядю Яшу, а всякий любопытствующий вспомнит о Бёме.

Этот странный человек, родившийся за двадцать пять лет до скончания шестнадцатого века, начавший свою жизнь пастухом, а потом – как ему и мечталось – сапожником, был посещаем такими видениями, из-за коих он вынужден был говорить божественно и только о божественном.

Размышляя о том, как вернее разбудить в человеке человеческое, полагая, что каждый из нас «должен ежедневно умирать воле и самости своей и вводить свои вожделения в Бога», всей душой и каждой мыслью ломаясь в

«драгоценные врата» к божественному созерцанию, Бёме складывал удивительные рецепты против нападений «дьявола».

Уже к тридцатым годам шестнадцатого столетия в нашей России эти рецепты, как и его молитвы, пошли по рукам, а к концу девятнадцатого им, уже прозванным «тевтонским мистиком», «заболели» и Соловьев, и о. Булгаков, и Семен Франк, и Николай Бердяев.

Не обошли его и европейцы, к примеру, такие, как Шеллинг и Гегель.

Этот Якоб Бёме, возможно, даже и набравшийся как сапожник, знал нечто такое, что большинству его собратьев казалось, мягко говоря, непонятным...

«Сапожник» Игорь, выбравший в свои поводыри политического «сапожника» Лимонова, вряд ли признает в нем своего.

«Сапожник» Филя, мыслящий на уровне «своей зайки», наверняка потеряет зачатки разума, вынужденно прочтя две-три его страницы.

«Сапожник» Барщевский, тратящий более двадцати киночасов на то, чтобы выдать свое семейство за созвездие киноактеров, лишится душевного равновесия, глянув в ту самую сторону, куда кажет ему сапожник Бёме.

Да и все нынешние «обувающие» нас, как могут, «сапожники» – от кино или журналистики, от литературы или же от экономики, – вряд ли признают в Бёме своего собрата.

Думаю, воскресни сегодня мой дядя Яша, они бы и его приняли за чужого.

И действительно, какой он им собрат, мой дядя Яша, какая родня и на каком киселе для них Бёме, коли они – «сапожники», а он – человек, который, подобно сапожнику, живет, живет, а потом, померев, является нам «тевтонским мистиком»!

А помер он – вот совпадение! – ровно триста восемьдесят лет назад. Чем не повод для того, чтобы, как говорится, «в стельку»...

16 декабря 2004

Служба воспитанности

Еще не далее как вчера все они – и учителя, и врачи, и вся наша инженерия – одними из нас назывались «прослойкой», другими – «вшивой интеллигенцией».

Много прежде – до «прослойки» и прочего – они проходили сначала по разряду просто «разумников», чуть погодя – «разумников духа», через некоторое время – «аристократов духа», а уже к концу девятнадцатого века – «как религиозный орден с отрицательным Богом»... Впрочем, никто в мире не умел и не умеет столь яростно бранить самое себя, как наши «разумники»...

Слово «интеллигенция», по мнению одних, явилось к нам из Франции, по мнению других, – из Германии или даже из Польши.

Литератор средней руки Петр Боборыкин полагал, что и само слово, и то содержание, которое оно вместило в себя, пошли гулять по России с его легкой руки.

Однако сегодня мы находим его на тех страницах дневника Жуковского, которые Василий Андреевич заполнил еще в 1836 году, а в толстовской «Войне и мире», в том месте, где описываются времена довоенные, мы обнаруживаем: «тут собрана вся интеллигенция Петербурга».

Но это то, что касается палестин наших.

На самом деле, согласно свидетельствам людей, настроенных менее патриотично, нежели Лев Аннинский (то, о чем говорилось выше, позаимствовано из его хорошей книжки «Какая Россия мне нужна?»), слово *intelligentia* жило уже в цicerоновой латыни и значило «понимание» или «способность к пониманию».

В словарь Даля это слово явилось лишь в 1881 году, а уже через пятьдесят пять лет, отбывая ссылку в наших краях, мудрец Б. И. Ярхо написал: «Человек интеллигентный не есть субъект многознающий, а только обладающий жаждой знания выше средней нормы».

Помню, как лет тридцать назад одна из московских старух, прошедшая чрез шпицрутены сталинских лагерей, горько вздохнув, призналась: «Нас, интеллигентов, на всю столицу вы и полсотни не наберете». Помню, как лет десять назад один из лучших поэтов уходящего русского века сказал мне: «Порой мне кажется, будто из интеллигенции я – последний». Выходит, «ребенок был», и коли сегодня мы не находим его, то, как говорится, его «выплеснули»... А ведь и правда, между вздохом московской старухи и признанием поэта случились: хрущевская вакханалия на Манежной выставке и смерть Ахматовой, статья Солженицына об «образованщине» и Нобелевская премия Бродского, удушение «Нового мира» Твардовского и новые труды Алексея Лосева, публицистические статьи Дмитрия Лихачева и заявления шовинистической «Памяти», «Письмо к народу», сочиненное несколькими нашими писателями, и первые выступления Сергея Аверинцева, Вяч. Вс. Иванова, Михаила Гаспарова, Владимира Бибихина...

Все, как водится, шло в параллель друг дружке: удушение интеллигенции и ее сопротивление этому – данным ей словом, возможным для нее поступком, посильной для ее духа книгой.

Если помните, Жириновский явился нам чуть ли не в одночасье с Андреем Сахаровым...

Если согласитесь, то Андрея Дмитриевича мы не поняли и коли пойдем, то очень не скоро, по крайней мере, не сегодня, когда «звезда экрана» Владимир Вольфович только и делает, что там и сям «мочит» наших «интеллигентов».

С другой стороны, коли уж так ярится носитель «либерально-демократических» идей и немедленно примкнувший к нему «писатель» Альфред Кох, то интеллигенция наша еще не померла. И коли не разглядеть ее в думских рядах или в эшелонах власти, в партии той или этой, то и быть ей там незачем: не ее территория.

Уже помянутый мной Гаспаров обращает внимание на эволюцию понятия «интеллигенции»: «сперва это «служба ума», потом «служба совести» и, наконец, если можно так сказать, «служба воспитанности».

Вполне возможно, что интеллигенция наша, нынче не объединенная одной идеей, работает по линии именно этой службы – воспитанности.

Разумеется, что сегодня служба эта не осознана как насущная необходимость ни властью, ни обществом, но то, что она существует, лично для меня, нередко задыхающегося от недостатка чистого воздуха на пространстве нашей странной культуры, это несомненно.

Коли мы глянем на карту нашей области, то тут же и разглядим: в Братске – школу музыки Левона Азизяна и библиотеку поэзии Виктора Сербского, в Ангарске – театр Леонида Беспрозванного и театр Александра Кононова, в вампиловском Кутулике – музей, держащийся силами Юлии Соломеиной, в Иркутске – музыкальные миры Анатолия Теплякова и Леонида Гефана, театральное пространство

Александра Гречмана и живописное слово Геннадия Кузьмина, графическую линию Сергея Григорьева и новую, идущую вслед за ним, Юлии Ружниковой...

Земля наша огромна, а взявших на себя ношу радения по «службе воспитанности» досадно мало – много меньше, нежели нас, землю эту топчущих, или же ангелов, нет-нет да и пролетающих над нею.

В одних из этих ангелов мы можем признать кого-то из декабристов, в других – кого-то из наших художников, артистов и литераторов: Волконский, Полевой, Трушкин, Гайдай, Вычугжанин, Фатьянов, Вампилов, Сергеев, Касабов, Иоффе, Пламеневский...

Жириновскому, Коху и тем, кто с ними, они, как водится, мешают, мне, наоборот, – всегда в помощь...

23 декабря 2004

Формула повторения

Только сегодня и дошло до меня, что, встречая Новый год, я более всего представляю его возможные дары ничуть не новыми. Более того, если я чего и жду от грядущего, то вовсе не того, чего у меня не было, а наоборот – продолжения того, что уже имел или имею.

Да и как представить мне свое ближайшее будущее без всего привычного – без птицы за окном и иконки на полке, без тех, из-за которых живу и мыслю: без мамы, которая далеко, но близко, без жены, которая поймет, без дочери, которая даже и напугает, но разве может быть иначе в ее пятнадцать?

А как моему новому без старых друзей – без тех застолий, на которые мы еще, по старинке, горазды, без тех телефонных звонков, которые и нагрузят, но и согреют, без тех книжек, на которых мы сходимся или расходимся? Я ведь – после двенадцати – коли не выключу телевизор, то не в новую песенку западу, а в старую – в ту, что с голосом Булата, с мелодийкой Пахмутовой или Тухманова, с болезнью хрипотцой Бернеса или чужеземной трещинкой Пьехи.

И коли хватит у меня сил, то под первое утро нового года я поставлю на свой вертачок не какого-нибудь минималиста или рокера, а именно что Баха, а там уж, привычно им мучимый, и Пушкина вспомню, и Блока окликну, и без Есенина не останусь...

Выходит, талдычим о новом, а имеем в виду старое, или, если хотите, вечное, или же, как любили говаривать коммунисты брежневского разлива, «незыблемое»...

Только представлю, будто мне, послушному ученику философа Федорова, удалось воскресить деда Давида и бабушку Еву, так тут же и вижу, как мчат они своими глазами по всему старому, по тому, что понимали как счастье – по нашим, их внуков, физиям, по тому, что мы чудом не растеряли и почти сберегли: по книжкам, над коими плакали, по штоткам, над коими горбились, по заплаткам, над коими мудрили...

А уж если фильм я поставлю, то и он будет старым: того самого Рязанова, который не мечтал, а стал нашим главным сказочником на несколько десятилетий кряду, рухну, как в детстве, в его «Карнавальную ночь» или, как в юности, – в «Иронию судьбы...».

И если явится мне нечто предельно небывалое, коли при этом случится со мной такое, чего не случалось прежде, то я поверю ему и, присвоив, полюблю, но, конечно, не прежде, нежели совмещу это небывалое с уже бывшим, то есть

доверюсь этому новому не прежде, чем оно примнится старым.

Говорят, все новое – это хорошо забытое старое.

Сменяющие друг дружку все новые и новые поколения российских старух не перестают повторять: «только бы не было войны». Повторяющие друг друга политики только и делают, что, якобы говоря от имени народа, божатся истребить его беды.

Идущие след в след за своими предшественниками новые прозаики и поэты пробуют на вкус, пытаются определить на цвет и на запах то самое слово, которое, будучи непременно старым, зазвучит как новое.

Грустно, но произнесенные за новогодним столом такие слова, как «счастье», «любовь», «удача», звучат безжизненно и, почти внове не более мгновения, – стареют, не отзвучав...

Хотя – почему грустно?

В последней повести Владимира Сотникова есть такое соображение, которое я, как только обнаружил, так тут же и принял: «мир начался с повторения».

Сын повторит отца, зимняя метель две тысячи пятого – метель пятого тысячелетия; еще не дописанная книжка на свой лад перетолмачит написанную позавчера; в сегодняшнем Ромео очнется Ромео старый; в новом радикале обнаружит себя старый большевик; в сегодняшнем абстракционисте – признанный во всем мире классик; к той молитве, что вышептали деда, присоединится шепот их внуков и правнуков.

Новое лишь тогда новое, когда, только явившись, уже претендует на звание старого. Разве не таковыми пришли к нам Пушкин, обнаруживший свою родню в нянькиных сказках

и библейских повестях, Шостакович, настроенный на русскую частушку и немецкую максиму, Ахматова, расслышавшая – как своих сестреночек – Рахиль и Сафо, Хлебников, повторивший наших первых книжников, и Мандельштам, откликнувшийся первым талмудистам?

А Маяковский, продолживший греческого Пиндара, а Бродский – договоривший за византийцев!

Даже то новое, которому никогда не стать старым, оглядывается на опыт своих предшественников: Пугачева – на Веру Холодную, «Фабрика звезд» – на парад посредственностей всех времен и народов, Верка Сердючка – на бабушкину завалинку. Только сегодня и дошло до меня: мир – это та самая стихотворная строфа, в которой одно слово повторяет иное, отвечая ему непременно четким эхом: а выкликает а, у отвечает у, я слышит я.

Мир – это симфония, где главная тема, испробовав себя в иных пространствах, в результате множества повторений, складывается в такую тему, которая звучит как формула.

В дереве она звучит, как дом, в камне – как улица, в воде – как отражение Божьего лика, в душе – как семья, род, может быть, Отечество.

А в Слове эта формула повторения звучит как «Отче наш, иже еси на небесех», разом являя себя счастьем земным и небесным...

Порадуемся этому, как вечно новому, а, восставши от сна и помолвившись, примемся за работу.

30 декабря 2004

Святочный рассказ

Вновь, уже Бог знает в который раз, страсть как захотелось написать такой текст, который смахивал бы на святочный рассказ, а еще лучше – на святочную сказку.

Вот, к примеру, Святки, вот, например, тишина – небесная и земная. Вот у окна, увитого морозными узорами, ребенок, мальчик или девочка – не разглядеть. Ребенок ждет отца – растапливает дыханием краешек морозной ветви, вглядывается во тьму.

Когда он понимает, что отец его не явится никогда, и уже ничегошеньки – из-за слез – не видит, приходит Иисус Христос и уносит ребенка в постель.

Это нечто «нивское» – из дореволюционной «Нивы», где узоров, рюшечек и прочих излишеств ничуть не менее, чем на январском окне.

Впрочем, и морозные узоры – тоже уже из нашего вчера: нынешние стеклопакеты чисты при всякой погоде. И коли ваша душа взалкала святочного антуража – заказывайте местного Шагала, знакомого Деда Мороза, доморощенного Иисуса Христа.

Прибившиеся к бюро добрых услуг, наши художники еще рисуют, наши актеры еще играют.

То-то славно станет в наших хоробах, когда вызванный по телефону перебивающийся с хлеба на воду потомок Сурикова сложит для нас святочный орнамент.

То-то укрепимся мы духом, когда заказанный нами заслуженный деятель искусств – с выражением, по-Станиславскому – прочтет для нас отрывки из Нагорной проповеди...

Вот вам и святочный рассказ: ребенок сидит у чистого окна, ждет художника, потом – артиста, потом, заполучив того и другого, звонит по мобиле отцу, который, как обычно, в офисе, и тот, в ярости отрываясь от своей рюмки, отрывает от рюмки диспетчера бюро добрых услуг, дабы строго выговорить ему за то, что актер, работающий в их фирме Иисусом Христом, слинял, не уложив ребенка в постель...

Святочные рассказы писали Чехонте и Чехов, Лесков и Бунин, Куприн и Короленко; рождественские стихи есть у Блока и Кузмина, у Пастернака и Даниила Андреева.

В советские времена, задолго до того дня, когда, по слову старого историка Ключевского, все наши атеисты были «всемилодивейше пожалованы в действительные статские христиане», рождественские стихи писал Бродский.

Кто-то съязвил: «Каждый Новый год он надписывал открытки Богу».

Что в этом плохого, мне не понять: лучше уж Господу, полагаю я, нежели начальнику...

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека из глубины Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

Чем не святочная история по-«нивски»: ребенок и взгляд пекущегося о его судьбе родителя! Но это – в прошлом.

Нынешние дети, вырастающие под приглядом «действительных статских христиан», при девственной чистоте стеклопакетов и чумазом звукоряде рождественских вечеров имени Аллы Борисовны, зрят иное – иных.

Любить Аврору и рейхстаг,
Топор, и бритву в кокаине,
И свастику, и красный флаг,

И Гитлера, и Муссолини...

Ведь мир – не сонный теремок,

И не Освенцим в луна-парке,

Его отец, хозяин, бог

Дурные раздает подарки...

У автора сих строк Алины Витухновской, как у боевой подруги лучшего из возмутителей нашего спокойствия Эдуарда Лимонова, отец – вовсе не Отец и, конечно, не столько Бог, сколько хозяин.

Вот вам и святочная история, уже, правда, на манер не «нировский» или «бродский», а исключительно на имперский: святки, ребенок – и час, и два – у не расписанного художником стеклопакета, в руках у него «бритва в кокаине», на подоконнике перед ним топор, уж полночь близится, а Гитлера все нет...

Помню, как наш Кокорин собирался поставить на сцене Достоевского – его святочный рассказ «Петя на елке».

Увы, он уехал от нас, по разным причинам, не сделав этого.

Актер, которого Слава прочил на роль мальчика Пети, заметно постарел и ждет не дожидается «новогоднего сенокоса», когда за Деда Мороза, которого он лихо играет по заказу, ему от души заплатят те и эти.

Вот вам и святочный рассказ: актерские дети сидят у разрисованного морозом окошка, ждут отца, а он – Дед Мороз, и от тех угощений, коими его встречают заранее оплатившие его услуги, у него шалит печень и то и дело останавливается сердце.

Дай ему Бог здоровья!

13 января 2005

Деляна поэта

Сергею Иоффе уже семьдесят, а он для меня все Сережа.

Впрочем, доживи он до сегодняшнего дня – такую свою дату наверняка принял бы с улыбочивым смирением: в отличие от Шугаева или Самсонова, никогда не горел желанием быть непременно молодым и вечно задиристым.

Он, Сережа, как никто другой, был строг к себе и к своей строке, не столько радовал себя очередной своей книгой, сколько истерзывался ею, и оттого все его сборники, обыкновенно выпускаемые им с трехгодовалым разрывом, дивили таким жизненным опытом, который нарабатывается за десятилетие.

Будучи взрослым чуть ли не с пеленок, он всегда, сколько я знал его, вел себя не то что соответственно наступившему возрасту, а с некоторым его опережением: в тридцать тянул на сорокалетнего, в пятьдесят – на семидесятилетнего.

Но это исключительно по письму и только по поведению, ибо внешне во все свои времена и вплоть до гробовой доски Сережа – с чистой голубишной зора и с библейски выщипавшимися сединами – был неизменно красив.

Набравший импозантности иркутский Аполлон с душой обрусевшего Мафусаила – вот вам и Сережа. Уже в «Броде», в третьей своей книжке, вышедшей в шестьдесят восьмом, он, под статью мудрецу Соломону, говорил о разумной покорности тишине и, моля судьбу обойти его участью эстрадного шута, еще ничуть не нагрешив, только и делал, что талдычил о своей виноватости пред вся и всеми...

Даже пред юными дарованиями, возясь с коими Сережа ухлопал несколько десятков лет жизни, он взял да расшаркался: «Талантливые сложатся без меня, – написал

он в своем заявлении, адресованном бюро писательского Союза, – а бесталанным, при всем желании, мне не помочь».

Вина, искупающая себя в доверии к каждому и в бесконечно длящих себя трудах, – вот вам и Сережа... Перебравшись из Ангарска в Иркутск, я без конца тревожил его, названивая из телефонной будки, чтобы одолжиться у него теплом и долготерпением.

В будке было холодно, в трубке – тепло: Серезин голос и его интонация умиряли морозное дыхание заснеженной улицы и спугивали набирающую обороты предперестроечную смуту.

В те поры он жил в себе, как в библиотеке: не столько писал, сколько читал, а еще более, без конца кого-то конспектируя, выписывал что-то для возможных будущих работ.

Прочитанные им книжки сплошь в пометках – он брался за каждую с неизменным карандашом, отвечал всякому прочитанному слову, где – галочкой, где – возгласом, где – вопросительным или восклицательным знаками.

Одни из его собеседников жили в девятнадцатом веке, другие – в начале или в середине двадцатого, третьи – их было меньше прочих – чуть ли не за стеной.

У всех Серезиных братьев было то общее, что можно бы назвать принципиальной незаметностью и тем святым отношением к поэтическому высказыванию, которых нынче уже и днем с огнем не сыскать.

Приговоривший себя к одиночеству, Сергей отыскивал себе подобных непременно среди «негромких» – обнаруживал свое и себя в навсегда зачисленных во второстепенные: в Огареве и Плещееве, в Курочкине и Надсоне, в мало кем услышанных как поэты Бунине и Эренбурге или же в почти

никем не читаемых Гитовиче и Комарове, Цензоре и Дрофенко.

Из сибиряков он выделял Ерошина и Уткина, Левитанского и Омудевского, из современников – более прочих – пермяка Решетова.

С последним он переписывался, обменивался книжками, слышал его вернее прочих. Впрочем, на Решетове споткнулся еще и Астафьев, которого Сережа ценил особо (он, помнится, и с ним затевал переписку)...

Помимо стихов, державшихся обыденных интонаций и житейских размышлений, Иоффе писал еще и прозу – художественную и очерковую, критику – журнальную и газетную, работал на документальное кино, почти бесперебойно снабжая его не только полноценными сценариями, но еще и заказными – киножурнальными – текстами.

Это было обычной литературной поденщиной – той каторгой, которая, измотав, могла обеспечить толикой свободы для стиха или даже романа.

В одной из своих работ, желая во что бы то ни стало оправдаться за свое «поденство», Михаил Гаспаров говорит о том, что у ценимого им Виктора Шкловского есть книжка, которая так и называется – «Поденщина», и он в этой книжке пишет про то, что «время умнее нас, и поденщина, которую нам заказывают, бывает важнее, чем шедевры, о которых мы только мечтаем».

Гаспаров согласен со Шкловским, я – выходит – с тем и другим, а в результате – с Сережей Иоффе, у которого однажды, одна за другой, сложились три книжки, в коих он не без увлечения рассказал об обойденных славой русских тружениках стиха.

Эти книжки, нежно оформленные Серезиным другом, нашим славным мастером Толей Аносовым, я то и дело снимаю со своей полки. В них этюды, посвященные тем, кого я уже назвал чуть прежде, и их же, отобранные Серезей, лучшие строки: предельно точные попадания в отборе имен и стихотворений, сдержанные, но бесконечные признания в любви. Странно, но именно Сережа прежде прочих заговорил о Глинке и Языкове (сегодня этих поэтов только и начали перечитывать), прежде других – о Крандиевской-Толстой и Марии Петровых...

Поденщина, высекающая искры прозрения, – вот вам и Сережа.

После таких книжек, как «Стихов мелодия живая...», «Дыша, как воздухом, стихами» и «Живут стихи», уже и он сам, как поэт, оказывается слышнее и понятнее – вижу его на своем месте, на той, разумно возделанной им поляне, что между Ерошиным и Уткиным, невдали от Левитанского.

Деляна, залитая чистым светом, – вот вам и Сережа...

20 января 2005

Желание тишины

Коли заглядывать в мой послужной список, то – читанные при свече и лампочке, при очках и без оных – многие тысячи страниц стихов и прозы, эссеистики и мемуаристики, наверняка столько же – исторических хроник, философских трактатов и трудов по богословию...

Это не считая тех рукописей – в машинописи, от руки и набитых на компьютере, – что бесперебойно накрывали и

накрывают то стараниями друзей, то желаниями приятелей, то, само собой, слепотой графоманов.

И все это с некоторых пор и до сегодняшнего дня прочитывалось с карандашом, с выписками, с непременным западанием в душу и память.

И вся та правда и весь тот вымысел, над коими я обливался слезами или смущался мыслью, без конца зудили, упорно настаивая на том, что еще немного – ну две, ну три тысячи страничек – и окружающий мир раскроется во все стороны. «И в небесах я вижу Бога», – скажу я вслед за Лермонтовым. «Вот сама истина», – вымолвлю вослед Платону...

Увы, ни мудрее, ни совершеннее от всего прочитанного я не стал, и коли и схожусь с первым, то в том месте, где он мается («И скучно, и грустно, и некому руку подать...»), а если соглашаюсь со вторым, то в той точке, где он растерян («Я знаю, что ничего не знаю»)...

Если же оглядываться на «наше все», то бишь на Пушкина, то и с ним мне сегодня много вернее именно в том месте, где «нет счастья на земле, но счастья нет и выше», или же в том бесконечном многоотточи «Отрывка», коим разделены двинувшаяся и рассекающая волны корабельная громада с внезапным, как инфарктное заикание, вопросом «Куда ж нам плыть?»

Если же, глядя чрез курчавую голову русского гения, выкликнуть уже мудреца библейского, то и здесь ничего утешительного: «Многие знания – много печали»...

Никогда более, как в своем детстве – задолго до первой тысячи книжных страничек, – я не понимал стариков.

Никогда более, как в своей сегодняшней перезрелости – на гребне очередной миллионной страницы, – я не слышал младенцев.

Наверное, давным-давно, подключаясь к усталости своего деда, я зрел в нем себя сегодняшнего (еще чуть-чуть – и придется идти на площадь, дабы отказываться от очередного проявления заботы очередного правительства).

Возможно, в данную минуту, внимая захлебу нынешних юных живописцев и стихотворцев, я зрю в них себя вчерашнего (так и не проходит, не истончается потребность в новизне высказывания и поведения).

Конечно, с позиции деда, я могу только поворчать, косо взглядывая в сторону тех, кто множит конкурсы и их бесконечные номинации на территории той журналистики, которая в самых редких случаях походит на то, что таковой может именоваться.

Конечно, с позиции младенца, я испытываю самое настоящее головокружение от успехов, которые – достаточно только захотеть – возможно обнаружить в работе телерепортера «Города» или газетного обозревателя «Комсомолки».

Конечно, только не расставшись с молодостью, я могу полагать продолжателями традиций чудного художника Жибинова тех ребят, которые, дабы убедить в этом иркутскую, и не только, общественность, вышли на площадь для публичного аутодафе собственных еще не просохших холстов...

Увы, оглядываясь на прочитанное и нажитое опытом, я вряд ли поверю, что сожженное полотно много лучше того, что выставлено на одном из последних вернисажей в салоне Лины или в салоне Тани.

Увы, я давным-давно знаю, что шумное – не значит хорошее. Давным-давно отшатываюсь от всякого имени, замаранного пиаром, – будь то художник или прозаик, кинорежиссер или публицист.

Я вздрагиваю, обнаруживая среди «первых» наших писателей того, кто, начав с хороших текстов, кончил «Ночным дозором».

Я трепещу, видя, как унижают одного из лучших наших писателей бесконечным дождем из премий, званий и прочей мишуры.

Я знаю: подлинное – почти всегда невидимо.

Так ли уж был обласкан при жизни лучший из наших живописцев Аркадий Вычугжанин, именем коего клянутся сегодня возжелавшие внимания к себе, любимым, наши не очень юные ребята из «Ноосферы»?

Так ли уж безоблачны были жизни Вампилова и Шукшина, Рубцова и Рыжего, присвоенные ныне кем ни попадя?..

И все-таки, коли судить исключительно по линии творческой, их судьбы были безоблачны, потому что почти от начала до конца – в тишине.

Ни та дружба, которая расшумелась нынче, после их гибели, ни то их признание, которое столь громогласно, что уже не оставляет для нас и малого зазора для личного соображения, ничуть не смутив их сосредоточенности, не помешали им сложить строки своих убедительных фантазий.

Только что, подводя итоги минувшего года, один из тишайших наших прозаиков Андрей Дмитриев закончил свой обзор признанием в любви поэтическому цеху.

Андрей Викторович так разошелся, что, вспомнив о своей годовой каторге в жюри Букеровского комитета, воскликнул: будь моя воля, сказал он, я бы дал премию не прозаику, а поэту Льву Лосеву.

Я бы, говоря по правде, тоже.

Но кто из нас читает поэзию бывшего питерца, а ныне семидесятилетнего профессора одного из американских университетов Льва Владимировича Лосева, кто из нас хотя бы догадывается, что, читая его новые сочинения, имеет дело с подлинным, а не мнимым?..

Кто из нас выстоял в бесконечной болтливости наших смутных дней, отстояв для себя ту тишину, из которой внятно звучит почти позабытый Лермонтов, почти незабытый Платон, почти неслышимый библейский песнопевец, то есть ту самую тишину, из которой кое-что и виднее, и, может быть, понятнее?

27 января 2005

Мой поэт

Конечно, Новый год по-восточному вернее верного встречать с поэтами – с китайцем Ду Фу или японцем Такубоку.

Любя и того, и другого, я, тем не менее, не раскрою их томики. Потому что стану встречать Новый год по-восточному с очень своим поэтом – с китайцем Чу Най Бо, которого полюбил еще в прошлом веке и которого никогда не позабываю.

Он возник в моем отрочестве, бурно переживаемом в вяло живущем Биробиджане, – по сути, первый представитель

неведомого мне Китая и его литературы, поэт и прозаик, драматург и переводчик.

Он был старше меня более чем на десять лет. Покуда я мучился с дисциплинами советской восьмилетки, он вышел в лучшие переводчики Горького, снискал любовь передового студенчества Пекинского университета, успел послужить в пекинской опере и потерять родину.

Он носил галстуки, обладал тем, что называется у нас «хорошими манерами». У него был нежнейший баритон: когда он пел, стены заводской общаги, в которой он вынужден был жить как слесарь завода силовых трансформаторов, пошатывались. Он хорошо владел русским (на чем настаиваю я сам) и в полной мере – английским (на чем настаивала моя матушка, всю жизнь преподававшая английский).

Мы, молодые стихотворцы, называли его Юрой. Когда он женился – его избранницей оказалась простая русская девушка Людмила – и родился мальчик, которого мы, недолго думая, назвали Юрой, он угодил в неприятную историю: вступившись в рейсовом автобусе за честь женщины, лишился пальца, отчего долго бюллетенил, потом был переведен из токарей в ученики слесаря и едва сводил концы с концами.

Ему позарез нужны были публикации – я, как и другие из моих друзей, пытался переводить его стихи с подстрочников, но печатать их было негде: «Биробиджанскую звезду» он не интересовал, журнал «Дальний Восток» – тоже.

Однажды он раскрыл передо мной огромный, треснувший по швам дорожный чемодан – в нем были сплошь рукописи: его проза, его драматургия, его эссеистика, его стихи.

Мы помогли ему добраться до Москвы – он привез оттуда лестные отзывы от китаеведа Агея Гатова и знатока мировой литературы Ильи Эренбурга. И тот, и другой называли Чу Най Бо «одним из лучших представителей китайской литературы». К сожалению, в его жизни это ровным счетом ничего не изменило...

Мне было четырнадцать, я многого не понимал, сегодня – с опозданием – понял: он появился в Биробиджане в тяжелые для Китая дни «культурной революции».

Он был нужен КГБ, нашей пропаганде, но та дружба, которую они предлагали ему, его не устраивала: говорить о своей родине, переживавшей не лучшие времена, так, как этого требовали чужие для него люди, поэт Чу Най Бо не мог...

Несколько лет мы не виделись. Когда, уже перейдя на второй курс Литинститута, я приехал на каникулы в Биробиджан, оказалось, что наш Юра – с Людмилой, Юрой и маленьким Сашей – уже в Хабаровске.

Я догадался: он дал согласие работать на радио, вещавшем на Китай.

Еще через год я побывал в его хабаровской квартире: три комнаты, огромная стенка, чья верхняя полка занята терриконами рукописей: его проза, его драматургия, его эссеистика, его стихи...

Тогда уже шла речь о выходе его книги на русском, о серьезной публикации в «Дальнем Востоке» – практически все было решено, но еще что-то мешало этому.

Думаю, этому мешал он сам: не совсем устраивал КГБ...

В те поры мы говорили с ним уже по-взрослому, и, внимая его размышлениям о литературе (он знал и европейцев, и американцев – я уж не говорю о культуре Востока, – под

стать лучшим преподавателем моего вуза), я думал о том, что жизнь подарила мне общение с великим человеком великой культуры...

Через пять лет, побывав в Хабаровске, я узнал, что Юра осужден на восемь лет как «китайский шпион».

Никто из знавших его в это не верил.

Не верю в это и я.

Мне жаль, что я ничего не могу сказать о жизни его книг в Китае (наверняка его там помнят и ценят), мне горько, что ничего не ведаю о судьбах его мальчиков, его вдовы – мой друг, китайский поэт Чу Най Бо, умер совсем рядом с моим иркутским домом – в одном из лагерей под Красноярском.

Где нынче его проза, его драматургия, его эссеистика, его поэзия?

Те несколько страничек с подстрочниками его стихотворений, что хранятся в одной из моих папок, – капля в море...

3 февраля 2005

Сердце навывлет

Город как город: тысячи улиц, еще больше – дворов, тем более – окошек. Одно из них – твое: с меткой твоей неуклюжести (трещинка), с прорезью в морозном узоре (жена соскребла, а дочь продушала), с перышком меж рамами (голубка расщедрилась, а ветер не поленился).

За этим окном – тот мир, в котором ты и царствуешь, и холопствуешь: жена возвышающая и жена не прощающая, дочь всевластная и дочь бессильная, книжка измучившая и

книжка воскресившая, картинка-загадка и картинка-разгадка, трубки раскуренные да табаки недокуренные...

Глупец, разошедшийся с городом, ты был спасаем ими; болван, разбранившийся с близкими, ты бежал в город.

Кажется, он тебя понимал: стелил улицы, накрывал деревьями, бинтовал рекою, целил храмами, подсовывал под попу детскую песочницу – сиди, говорил, дыми, припадай к липкому горлышку бутылки дешевого вина, к узкому – холодной луны...

Кем он был тебе, этот город? Собутыльником? Братом? Может быть, батюшкой?.. Зазывал в свои театры, дразнил своими библиотеками, одевал в свои одежды, старил, под стать своим ставенькам. Кем он был для тебя, этот город? Твоей маской? Твоим пастырем? Может, Богом? А и правда: лепил да отесывал, карал да прощал – создавал по своему образу и подобию...

И вот вышло, что твоя походка – от его ритмов, строка – от его заикания, строфа – от его тупичков, стихок – от его далей.

С ним просыпался, с ним засыпал, из-за него думал: помру – унесу в могилу.

Впрочем, почему – думал?..

Этот город читал еще и тебя, пусть редко дочитывал, пускай нередко кривил губы, зато и жалел – подхлестывал: не останавливайся, луди далее...

Этот город тебя хоронил: ты жил, смеялся, мчал в сочинительство, а при этом «группа товарищей» сообщала читателям своей газетки про то, что тебя уже нет...

Что же, не ты первый, не ты последний: город не только любит, но и презирает, не только лечит, но и ранит...

Ты был в нем Гамлетом, и он мертвел. Ты был в нем Йориком, и он лыбился.

Огромный, он умещается в твоём сердце; маленький, он для тебя много больше городов прочих.

Смотришь в его лицо: глаза Марка Сергеева, а печалинка в них – Саши Вампилова, губы – Сашеньки Шпирко, зато скуластость – распутинская...

А походка его – венгеровская, а кулаки его – вырыпаевские, а ладони – жибиновские, а пальцы – касабовские...

И характер – то по-кокорински крутой, то, как у Сережи Иоффе, сверхинтеллигентский... Впрочем, город как город: зимой – морозный, летом – жаркий, по весне – чумазый, по осени – разноцветный...

Однако морозы его поядренее, жара – подухмянее, чумазость – породимее, разноцветность – поразноцветнее.

И троллейбусы его – в какой ни запрыгнешь – свои в доску, и трамваи – какой ни поймаешь – на ты с тобою, и маршрутки – какая ни вырулит – вкусней карамели...

И поэты, и даже его графоманы – покруче «Агдама». И кафушки, в которых они резвятся, хмельней самогона.

И весь он твой – настолько, насколько ты – его.

И помрете вы в одночасье, потому что таким, каким ты носишь его под ребрышком, его никто не знает...

Кто он тебе, этот город? Миф? Сказка? Может быть, нянька?

Эка баюкает, эка будит: не спи, требует, не кисни, настаивает, подставь, говорит, свой шнобель под мой носовой платок, рубленный острожанами, украшенный земляниками, вышитыми на нем декабристскими женами, штопанный любимой тобой Еленой Викторовной Жилкиной...

И вот, не моргнув, слушаюсь – подставляю под этот плат и шнобель, и щеки...

Говорю «Ир...» – разъезжаются губы. Говорю «...кутск» – тяжелеют ресницы. Складываю «Иркутск» – сердце навывлет...

10 февраля 2005

От редакции «Восточно-Сибирской правды» (10.02.2005)

Рубрика «Остановиться, оглянуться» покидает страницы газеты. Ее ведущий Анатолий Кобенков уезжает из Иркутска в Москву. Его искренние, полные лиризма и жизненной мудрости публикации всегда вызывали интерес и сопереживание у читателей. Но творческая связь поэта и публициста с газетой на этом не прервется. Мы всегда рады видеть Анатолия Кобенкова в числе наших авторов. Он тоже намерен продолжать сотрудничество с газетой. «Восточно-Сибирская правда» желает Анатолию Кобенкову удачи и новых успехов. Вместе с читателями мы будем ждать новых встреч на страницах газеты.



Виталий Диксон
ПОМИНАЛЬНЫЙ СВИТОК
Вместо послесловия

ПОСЛЕ ЗВУКА

**Послание к другу-стихотворцу, венчающее
застольный разговор в застойные времена -
с кратеньким прибавлением из сего дня**

...и поэтому точку в нашем разговоре мы с тобою, друг ситный-ситцевый, вряд ли сумеем поставить. Дай-то Бог свершить сие нашим детям, перед которыми нынче мы, седовласые «архипатры», предстаём немощными даже тогда, когда требуется всего-навсего триумфально угробить благоглупости букваря или экономической географии за десятый класс. Эта погибельная немощь в нас неистребима. Грустно. Человек, наконец-то, понял, каким ему нужно быть, но стать таковым у него уже нет ни сил, ни (главное!) времени. Поезд ушёл. Со скоростью звука. А после звука – что ж остаётся? Рельсы со шпалами как лестница в обратную сторону, а точнее – опять в никуда.

Вот тебе, кстати, еще одна забавная житейская история – как раз из того же ряда, продолжающего наш давний разговор. Мой одноклассник Славка Захаров заделался мареманом, ходил в Сингапур, в Сидней и чёрт-те знает куда еще, потом перевелся в трал-флот и вот уже десятый год гоняется за селедкой в Атлантике. Видимся редко, но лучше бы и вовсе не видеться, честное слово: маклак и тряпичник. И вот я, бывало, наслушаюсь его и думаю: ну почему мы, представители огромной страны с ядерной кнопкой - и так робко, забито, испуганно ведем себя за границей? Моряков наших, видите ли, на чужой берег только тройками выпускают! Не четыре-пять-шесть, а самый оптимальный вариант: тройка, птица-тройка, лети на здоровье, и пусть от тебя, по Гоголю, шарахаются иные народы: тьфу, тьфу, сгинь, пропади, нечистая сила страны Советов... Тройки предписывает минфлотовская инструкция: придерживаться на чужой земле одного, чекистами протоптанного и завизированного,

маршрута, отлучаться друг от друга только на расстояние взгляда, на дистанцию крика о помощи. Спрашиваю Славку: а за руки можно держаться? Можно, отвечает он, бывший когда-то юмористом. За «распад» такой тройки старшему группы начальство «ставит клизму», да и всему экипажу не поздоровится, и поэтому бродят наши мрачные тройцы (рублёвые – не рублёвские...), точно призраки коммунизма, по портовым городам Европы, Азии и, может быть, даже Латинской Америки – грустные, унылые, точно в клеши наклали; куда уж им, троицам, до чужеземных красот и достопримечательностей? У них одно-единственное в башке тикает: как бы невзначай друг дружку в толпе не потерять...

Я узнал, что эти дурацкие правила были сочинены в наших канцеляриях примерно лет сорок назад – правила, единые на весь земной шар, на все карты, на все корабли, на все гавани мира...

Моряки-то наши привыкли, а вот я, сухопутный, все никак не могу взять в толк: почему советским людям официально предписано такое недоверие, даже подозрение: дескать, ежели наш человек останется наедине с собой, то уж он наверняка отмочит что-нибудь такое несогласное с нашими светлыми моральными принципами, и в том ему помогут если уж не акулы империализма, то какая-нибудь другая мелкая заморско-антисоветская рыбешка...

Славка старшим мотористом плавает. Сто десять рублей в месяц плюс премия. Это – зарплата для тех, кто по три месяца дома не бывает!

И мне тогда подумалось, что маклачество вот при таком раскладе прямо-таки заранее запрограммировано; что в Госкомтруде или в Госкомцене, или еще где-то там, где решаются вопросы оплаты труда, – там явно возобладала точка зрения: на хрена моряку приличная зарплата, если он валюту получает и, так сказать, остальным прочим, о чем деликатно умалчивается, добирает-дотягивает до нормального прожиточного уровня. И не за Славку мне было обидно – за нашу державу, за то, что нашим соотечественникам приклеивают за кордоном презрительные ярлыки, и

«хамунисты» – еще не самый худший из них. А самому Славке носиться с такими мыслями было небезопасно: могли счесть идейно неустойчивым и прикрыть визу. Но более всего я сам пытался кое в чем разобраться, от тех славкиных «троиц» отталкиваясь.

Конечно, говорил я самому себе, мы, как свободная нация, еще очень молоды. Всего-то сотню лет назад нашими прадедами помещик оплачивал карточные долги, а прабабок понуждал кормить грудями породистых щенков.

Это было время, когда Англия давно имела «Хабеас корпус акт», Франция стала республикой, а скваттер, отхватив лакомый кусочек земли в Новой Англии, стоял с винчестером на его границах – и никто не отваживался их переступить. Мы в то время были нацией рабов. Сверху донизу – все рабы, как говорил Чернышевский. С горечью говорил. Но, к чести русской нации, рабами были не все. Кто и как – это уже другой вопрос.

И я иногда с болью и недоумением думал о том, что будущим историкам ох как немало предстоит потрудиться, чтобы выяснить: что же такое творилось с русской нацией до и после Ленина, в тридцатые годы и позже, в «роковые сороковые», в полосатые-пятидесятые, в оттепельно-дрожевые шестидесятые, в болотные семидесятые, в межевые восьмидесятые?.. Люди, открыто провозгласившие раскрепощение личности, духа и мысли, вдруг стали бояться всего на свете: власти, друг друга, своих детей, самих себя. Занимая посты, они сидели на краешках кресел, и новых должностных табличек с указанием своей фамилии на дверях не вешали: все равно, дескать, скоро могут табличку снять, а самого человечка повесить.

А потом стало – наоборот: кресла пожизненные. Но это пришло уже после того, как наши отцы и матери выиграли жесточайшую из войн, победили разруху, живя хоть и холодно-голодно, но с общими надеждами, валенками и гриппом. Первыми вышли в космос – и что же? Каждый из нас чувствовал, что чего-то не хватает, что нам что-то мешает

жить и выдавить из себя ту рабскую каплю, о которой говорил Чехов и которая в силах отравить гражданина в каждом из нас.

Газеты этого периода вряд ли помогут будущим историкам отыскать истину: в них – ложь. Мы были наитончайшими дипломатами, мы научились хитрить, ловчить, обманывать себя, друг друга, общество, в котором живем, и общество, которое по ту сторону наших границ. И – собственную семью. Расплатой за эти грехи стали наши дети...

Равнодушие и цинизм, нигилизм и прагматизм вытеснили стержень свободной души – смелость. Смелость – это сметь. Стало: «не должно сметь»... И вот что сказал по этому поводу активно забываемый нами скромный очеркист Валентин Овечкин: «Люди эпохи коммунизма будут очень смелыми. Смелость вообще надо бы ценить в человеке превыше всего. Без нее любое прекрасное качество теряет свою силу. Ум без смелости превращается не более как в хитрость, доброта - в слюнявую безвольную сентиментальность. А честность без смелости в общественной жизни совсем невысказима. Если же говорить о противоположном, то начало всех подлостей в человеке – трусость»...

Вот я и подошел к главному – к твоему вопросу, старик, в нашем незаконченном разговоре об отцах и детях. Во все времена считалось неприличным распускать слюни любви к властям, это всегда дурно пахло. Но ведь факт, что мы эту традицию нарушили, и не потому ли трибунное, околотрибунное и подтрибунное лицемерие стало вполне привычным и почти неизбежным?

Да, я вздрагиваю от слова «дорогой» – будь то холодильник, коньяк или политический деятель с гулким именем. Да, я чувствовал себя последним дураком в одноименной шеренге, когда в газетах читал письма в пять-шесть строк от доярки, инженера, токаря, профессора и композитора – страстные письма, осуждавшие Сахарова и Солженицына, а я не мог этого сделать честно и искренне,

потому что не знал, что же они, наглухо засекреченный академик и гулаговский литератор, написали такое, изданное за границей, доступное простой доярке - и недоступное мне, дураку?

А однажды я услышал:

– Бардак, понимаешь, развели, гуманизмы разные... Вот при Сталине, например, несунув и в помине не было! За пять кило пшеницы – пять лет неба в крупную клетку, всего-то и делов!

Мне бы – тут же доказать, что именно в тех, сталинских, беззакониях и лежат истоки многих сегодняшних бед. Надо доказать, а я не могу, потому что моя правота для меня – не вывод из тезиса, а реальная, прирученная очевидность. Как доказывать очевидное: что день – это день, что вода – мокрая, что дуб – это в первую очередь дерево, а уж потом – синоним дурака? Что беззаконие служит закваской для брожения зла в душах целых поколений... Что страх – это непреодолимый барьер на пути становления качеств истинного гражданина Отечества... Не доказал.

Но слово было найдено – ключевое слово: страх. Откуда он пришёл, окаянный? Дело прошлое: Козин и Вертинский были запрещёнными певцами, Есенин – запрещённый поэт, джаз – запрещённая музыка, танго – запрещённый танец, «дудочки» – запрещённые штаны... Но тогда, в пору начальных моих сомнений, эти запрещения не вызывали страха и воспринимались как данность.

Когда же, года через три после смерти Сталина, прорвало плотную атмосферу тогдашнего жития, – то хлынул свежий воздух, от которого люди с непривычки задыхались, а не привыкнув, стрелялись и вешались. Но когда привыкли, вот тогда он и появился – страх, не столько за настоящее, сколько за недавно сгинувшее прошлое: как же мы могли жить раньше? и как же мы умудрились выжить в том ледниковом периоде?

По инерции, что ли, осталась сейчас в нас эта язва души человеческой? Правда, недавние «чернобровые» времена

трудно вот так сразу взять и обозначить каким-то одним словом. Попытка возвращения к сталинизму? Его реабилитация?

Наверное, можно длинно и нудно сказать так: искусственное прекращение процесса очищения общества от скверны беззакония и произвола, после чего начался медленный обратный процесс – к оледенению. Главное же – стали быстро меняться ориентиры в воспитании людей: от гражданственности личности к непогрешимости и даже святости государственных постов. Чем выше – тем святее. А людей задурили целыми эшелонами торжеств и юбилеев – один за другим, под шум, треск, парадный тарарам; не дать задуматься, не дать осознать – куда же мы катимся? Так и въехали в тупик – с великим изумлением...

Впрочем, было немало тех, кто задумался перед въездом в тупик, заинакомыслил, однако против таких шустриков имелось испытанное оружие: «замах на основы!» Стоило шустрику лишь заметить, что у советского бронепоезда буксы горят или пробуксовка на подъеме, как тотчас его осадят: «Ах, трах-тарарах, тебе не нравится советская власть и социализм?» Что ж, такое очень понятно звучало в 30-е годы из уст вчерашнего бедняка (лодыря и выпивохи), убежденного в том, что если сельсоветовская печать – у него в кармане, рядом с «левольвертом», так, значит, и советская власть – там же.

А всего лишь пяток лет назад, уже при развитом социализме? Косность косяками повалила – печати негде ставить. У косности и оружия навалом: власть, круговая порука, парторги, горторги, ГБ и самый страшный монстр – бюрократия. Правда, за неприятную критику уже не сшибут пулей, и саблей не располовинят от темечка до копчика, газом не удушат, но – вполне системно доведут до самоубийства, инфаркта, инсульта, паралича, затаскают по верноподданным судам, упекут за решетку, в психушку воткнут, посадят, как репку, и поливать будут грязью, искалечат судьбу, вывернут наизнанку мозги и душу...

Нет, не будем кривить душой. Живучесть страха и в нашем поколении не представляет собою большой загадки: на протяжении последних двадцати лет то и дело всплывали и кругами расходились слухи: дескать, вот-вот реабилитируют товарища Сталина, и сталинизм восстанет из обиженного гроба, и всех шустриков пересажают, и прополочку сделают... Так ведь точно и было: призывали его, рудого (кровоавого!) пана-пасечника, призывали открыто и втихаря – его, отче нашего, превзошедшего все поднебесные премудрости, человеческие или пчеловодческие, ему равно открыты...

А я слушал, как Евтушенко с лицом Савонаролы в Иркутском Дворце спорта вытягивал из себя цепь и словно бы наматывал её на жестикулирующий кулак... Я слушал и думал: а что ему за это будет?

*О, вспомнят с чувством горького стыда
Потомки наши, расправляясь с мерзостью,
То время очень странное, когда
Простую честность называли смелостью...*

Завещая потомкам судить виноватых, поэт оставлял за нашим поколением право хотя бы назвать их всех поименно: пусть, суки, знают, что, действуя против закона, совести и морали, любой кумир действует против своего народа, который не оставит содеянного незамеченным, ибо без неотвратимости возмездия, без нравственного очищения от скверны, без покаяния нелicenseмерного – теряет смысл девиз «Никто не забыт, ничто не забыто», наполняясь очевидной двусмысленностью. Многое забыто. И, видимо, поэтому не забыт страх.

Коснётся ли он детей наших? Они же – как раз те, по ком молчал колокол, но слишком долго звучали фанфары. Торжественные фанфары в общем-то по-человечески очень понятны, они всегда поднимали человека выше, под самый купол души, но фанфары, возведенные в принцип, в

узаконенную и освященную ложь, – перестают служить делу победы...

В детях нам надо искать свою вину, это очень важно для внуков. «Если предрассудки и заблуждения старого поколения насильно, с малых лет, вкореняются во впечатлительной душе ребенка, то просвещение и совершенствование целого народа надолго замедляется этим несчастным обстоятельством». Добролюбов, в двадцать-то восемь лет...

В общем, так: если я признал, что страх не изжит до конца из моей души, – так вот оно и объяснение многим моим позициям и поступкам. Страх не за себя. Страх за детей. Тайный страх. Не снаружи – изнутри.

Однако же еще ни одному родителю никогда не удавалось утаить от своего дитяти того, что именно лежит на дне этого «изнутри». Речь не о поступке – о состоянии. Это так забавно, что можно даже предположить: то, что тщательней всего родителями скрывается, именно оно в первую очередь переливается в детей. Однако не мало ли такого объяснения? Да, мы детей воспитывали. Как? Черт его знает. А школа, «Пионерская зорька», дядя Степа Михалков, комсомол убеждали их, что все вокруг очень замечательно. А дети (на нашу беду?) вовсе не идиоты, им быстрее нашего осточертел слюнявый оптимизм – сначала розовый и голубой, потом телячий, детсадовский, затем – пионерский, а в целом – казенный. Они видели, что замечательно – далеко не все, а многое так и вовсе дурное, дрянное, паршивенькое... И они приходили к нам с вопросами: кому верить? своим глазам или газете? своим ушам или учительнице?

Одни отцы говорили им не то, что думали, а то, что, мол, «надо, Федя!»: чтобы детям было безопасно жить в этом мире, чтобы оградить их нервишки от противоречий, которые даже взрослым не всегда по силам. Сыновьям дарили голубые мечты, дочкам – розовые, но такую ложь наши юнцы

и юницы раскусывали, как орешки, а результаты оказывались катастрофичными...

Другие отцы говорили то, что думали – и смертельно рисковали детьми: ведь то, что у взрослых на языке вертится и может, отшумев, переродиться в бесшумные теоретические концепции, в пассивное ожидание перемен, – то же самое у наших молодых может вылиться в немедленное действие, и это тоже может обернуться катастрофой...

А что же я делал? А я иезуитствовал. Я призывал верить своим глазам и своим ушам – и в то же время посочувствовать слабостям газетчика и учителя, толковавших нечто несообразующееся с очевидным. Очевидное – невероятное. Я превентивно удерживал детей своих от действий, приглушая в них искренние порывы. И что же? Именно в этой моей двойственности – решающая улика, свидетельствующая об остаточном, реликтовом страхе. Вот она, тяжкая инерция человеческой сущности, зараза, переползающая, точно вошь тифозная, из одного поколения в другое...

Ты мне трудный вопрос когда-то задал, старина. Мне трудно отвечать. Кому-то, наверняка, трудно слушать. Но ведь придёт же такой день, в который за многое спросится. И если настанет время, когда за трусость будут обвинять и наказывать, то я хотел бы быть среди тех, кому оправдания нет и не будет.

А за сим, друг-стихотворец, воспоследует многоточие – знак препинания зело удивительный, некатегорический и подающий надежду...

Январь 1985

P.S.

Странно: к слову «подающий» равноапостолюно приложимы всего только три имени существительных: надежда, милостыня, пример. Имеются, конечно, и иные пристяжные: завтрак, повод, поводья... однако все они, эти иные, как правило, случайны, приблудны и необре-

менительны для сути существования – в отличие от вышеприведённой связки: три парочки слов – будто бы из одного храма вышли и пустились по миру, неразлучные, вроде советских морячков, сошедших из минфлотовской инструкции на чуждадельный берег...

Странно: по каким бы нуждающимся краям они ни шастали, по каким бы землям безнадёжным, немилостивым, беспримерным они ни блуждали – нигде, кроме России, не встречают они такого человека, для которого в великом и могучем языке не сыскалось бы названия более подходящего, чем «поддающий»; в нём, в одном, точно в святой троице, сходятся все три парные храмовые странники, стечение обстоятельств естественно равно стечению родственных душ, кроткому средостению, высокому сретению, и место встречи изменить нельзя...

Странно, друг мой: без долгих слов, без причинно-следственных причитаний люди подающие с людьми поддающими находят общий язык – со слезой, «с топотом и свистом», без знаков препинания... никаких проблем, пожалуйста, жалуйся и жалей – под «этим делом», оно не хуже иных прочих, не хуже слова, не хуже медной денежки, не хуже стыда, которое названо кумачом, и не хуже кумача бледнеющего – о чем? о том, что я тебя уважаю, и ты меня уважаешь; что пионер – всем ребятам пример; что милостыньку Бог подаст; что надежда не умирает последней, она вообще не умирает, поскольку надежда – это булат, это легендарно-легированный булат, который живет вечно и тайну своего рождения и бессмертия не выдаст никому до тех пор, покуда последнему дураку на земле не станет понятно, что молодые конфликты – это всего-навсего дети старых, бородатых проблем...

Вот, пожалуйста, любезный друг-стихотворец, такая вот получается силъ ву плешь. Она решительно разделила нас – позавчерашних и сегодняшних. Она вместила в понятие «вчера» чуть ли не целую эпоху: две революции, заговоры, перевороты, войны, кровавые разборки, термоядерный

апокалипсис, позор армейских знамен, крушение строгого режима, распад империи, низвержение казалось бы вечных кумиров...

Спросим у врача: «Ну-с, что за игрища устраивают нервы?» – «Такая система», – ответит водопроводчик. – «Всё бы ей играть, курве», – добавит актёр. И вмешается политик, и все будут правы, кроме тех, кто задаёт глупые вопросы...

Всей этой плешу иному народу хватило бы на век-другой-третий, чтобы разглаживать да почесывать, а нам выпало – как снег на голову, за семь мифических лет.

Не слишком ли тяжеловато это выпадение для двух старорежимно поддающих собеседников, которые, как им кажется, и без того снега увязли по уши в грехах всей человеческой истории? Слишком. С лишком.

Этот лишек – та самая добавка, которая, оказавшись тяжелее основного веса, делает общий вес неподъемным.

И поезд ушёл. И не надо спрашивать: куда? У матросов нет вопросов.

Можно было бы и вообще успокоиться, как ожог успокаивается после вскрика: звук еще не умер – а уже не болит... Можно было бы, конечно.

Если бы в то же «вчера» не родилась под знаком вопроса девочка, дочка твоя, стихотворец.

Ей и адресую всё вышеизложенное как комментарий к отцовским стихам, и буду по крайней мере умиротворён, если она, постигнув слово, не пошлёт поколение отцов туда, куда сейчас убегает революционный паровозик ихнего детства; обиженно ревуший, он шурует с такой искренностью, которая озаряет позади полнеба и впереди полнеба, до самого горизонта, а у того горизонта, оказывается, есть чёткие – пощупать можно! – краешки и закрайчики, потому что заводному паровозу выпал на долю не земной шар, а – блин! – первый блин, плоский, как острота висельника...

29 октября 1992 г

К ВОПРОСУ О ЧАСТНОСТЯХ ЖИЗНИ

В общежитии московского Литинститута имени Горького, в одной комнате в 70-е годы XX века проживали два поэта и один прозаик: Гена Островский, Толя Кобенков, Коля Коняев. Надежды юношей питали, но сытости от того пропитания не наблюдалось. С одной стороны, они были студентами, учившимися на писателей. Но, с другой стороны, они уже были писателями, только ещё учившимися быть студентами.

Пришёл как-то Островский в общагу «под мухой», с синяком, и с разгону начал объяснять Коняеву, что «тока-тока» закончился его творческий вечер. А Коля, заботливый и душевный, ему на стол тарелку щей метнул, сел напротив и по-бабьи жалостливо щёки ладонями подпёр.

Гена ложку по тарелке возил, возил, но, видать, до того был утомлённый, что упал лицом вниз и успокоился. Хорошо друг Коля рядом оказался, вызвал «скорую» и утопленника под вой сирен и прочих общежитских муз увезли на откачку, в реанимацию.

А тут и Толя Кобенков прибыл, «под мухой», с синяком, и с разгону начал объяснять Коняеву, что в его творческом вечере «тока-тока» объявили перерыв до следующего воскресенья. А потом Толя увидел тарелку на столе, подсел и хлебать принялся.

Коняев, конечно, напротив товарища оказался, на всякий случай.

– В этих щах, - сказал он товарищу, – тока-тока Гена Островский утонул.

Кобенков тотчас отрезвел, принялся ворошить ложкой в капусте, в этой легендарной прародине человечества.

– Не ври, – сказал он Коле, – нету здесь никакого Гены...

Он уже тогда, ещё в студенчестве, подозревал, что в этом мире нет ничего невозможного.

А много позже я Кобенкова персонально предупреждал: «Берегись – увековечу!»

Не прислушивается. Продолжает жить в глобальном мире во-о-о-от такусеньких подробностей, жить – как человек, обречённый словом, которому он верит подчас более, чем самому себе.

1999 г.

РЕЧИТАТИВ НА ТРОИХ

...Что ж, никуда не денешься, придётся говорить о самом себе в третьем лице, в полном согласии с устной версией события, которая дошла до нас, как до Шахразады, правда, в том событии ночей было поменее, уж никак не тысяча и одна – всего лишь одна, и пули в проводах не свистели.

Итак, сидели в домашнем кабинете два мужчины аварийного типа: Диксон и его полуночный гость Александр Сергеевич Сёмкин, журналист из комсомольской «Молодёжки». Сидели не просто так, сидели небезынтересно и конструктивно, то есть водку пили. Со вчерашнего дня.

В течение суток уже были обсуждены вдоль и поперёк вопросы внешней и внутренней политики СССР, проанализирована международная обстановка, проведены взаимные опросы и дебаты, обозначены чёткие аналогии горбачёвских инициатив с реформами 1861 года Александра Второго-Освободителя.

И наступил тот самый момент, который всегда наступает в подобных присестах за рюмкой: от злобы дня собеседники поворотились в ретроспекцию, в недалёкое и далёкое прошлое, и воспоминания, представьте себе, даже как-то облагораживали их расплывчатые рожи, а они, два собутыльника, шли в разговоре всё дальше, дальше и дальше. Как в пьесе Шатрова...

И тут пришёл поэт Кобенков. Тоже, видать, не спалось: то ли рифмы заколебали, то ли новое мышление президента СССР.

И что же увидел поэт Кобенков? Сидят друг против друга два его товарища, промокшие от ностальгии и прокуренные табаком и дымом Отечества, и дикими голосами распевают дуэтом пионерские песни. Диксон гудел командирским баритоном, в котором вольготно раскатывалась буква «Р». А

у соперника-песенника был пронзительный фальцет, тоже громкий, но очень противный. На диксоновской тельняшке и на белой рубашке Сёмкина красовались красные галстуки.

– Третьим будешь, – сказали Кобенкову.

– Буду, – ответил он, хотя его согласия, между прочим, никто и не спрашивал, его просто назначили.

Так образовалось трио. Три восклицательных О! О, Сёмкин! О, Диксон! О, Кобенков! Поэту наливали внеочередные рюмки, выравнивали, так сказать, внутреннее положение с внешним и приводили тройственный союз в соответствие со «статус кво». В результате чего заголосили уже втроём...

*Взвейтесь кострами
Синие ночи...*

И Кобенков подхватил:

*Карие очи,
Очи дивочи...*

– И куда же тебя понесло, дорогой Коба, кобзарь ты наш биробиджанский? – спросили его. – Ты же ж, однако ж, в малороссийский романс залез! Как тебе не стыдно?

– А у меня галстука нету, – печально оправдывался поэт.

Надо непременно сказать, что певец из него хуже Диксона и Сёмкина вместе взятых. Вероятно, в дальневосточном детстве ему уссурийский медведь на ухо наступил нечаянно и до сих пор лапу не убирает. Мелодия в песне для Толи побоку, лишь бы размер да рифма имелись...

А что делать, когда третьего галстука нету? И решено было перевести Диксона, как старшего по воинскому званию, в комсомольцы. Перевели единогласно при одном воздержавшемся Диксоне. Сняли с него галстук, повязали Кобенкову.

– Будь готов!

– Всегда таков! – отчеканил он и левой рукой отсалютовал, правая-то была занята посудой.

Налили, чокнулись, поздравили юного пионера, обмыли...Александр Сергеевич даже губы не вытер и взвизгнул радостно:

*Взвейтесь кострами,
Синие ночи...*

И Кобенков снова подхватил:

*Ночи безумные,
Ночи бессонные,
Речи несвязные,
Взоры усталые...*

Бодро этак исполнил, ногой притопывал, но вдруг осёкся и виновато втянул шею в красный галстук.

– Виноват, братцы. Это меня Алексей Николаич Апухтин попутал...

– Не наливать больше Кобенкову! – предложил Сёмкин.

– Это не по-пионерски, – возразил Кобенков.

– Да, это даже как-то жестоко, – сказал Диксон прямо, покомсомольски. – Начинай сначала, Александр Сергеич, пока ещё не поздно.

– Да какое там поздно, когда уже сколько раз было рано? – немедленно воскликнул жизнерадостный Сёмкин и задрезжал тоненько-тоненько:

*Утро туманное,
Утро седое,
Нивы печальные,
Снегом покрытые...*

Кобенков заёрзал. Он хотел сказать, что в пионерской песне на стишки Жарова утро не предусмотрено; что Александра Сергеича Сёмкина попутал Иван Сергеич Тургенев; что...и так далее. Но он не стал ничего говорить, видя, как старательно, чуть ли не со слезами на глазах, ностальгируют его товарищи по своей юности акварельной. И Кобенкову оставалось лишь присоединиться к ним и закончить песенку ко всеобщему и полному удовлетворению:

*Близится эра
Светлых годов.
Клич пионера:
«Всегда будь готов!»*

После чего трио приступило к демонтажу советской власти в отечественной литературе.

НЕЧТО ПРО БАБ И КОЕ-ЧТО ПРО ВОКАЛИЗ ГРИГА

Музыкально-поэтическая чета Кобенковых переехала на новую квартиру, в домище новый, девятиэтажный.

И начали супруги обустраивать свою Россию, квадратные метры ордероносной территории, малую родину, жилплощадь вожделенную.

Оля купила для кухни хорошенькие настенные шкафчики. И тут же скрючился перед Олей унылый традиционный вопрос: и кто же эти хорошенькие шкафчики будет к намеченным местам приспособливать? Ясное дело, не Толя. Толя в своём счастливом, впервые изысканном судьбою кабинетике, в крохотном государстве своём, автономном и суверенном, суеверно-верноподданном... – сидел поэтический муж Толя на полу среди книжных стопок, перевязанных верёвочкой, попыхивал блаженной трубкой с нидерландским sweet cherry, улыбался, как дитё малое, ей-богу, как дурачок или какой-нибудь король-монах-гуру, медитация у него, видите ли, месячные головокружения, сакральное дело... Нет, не годится Толя к обустройству малой родины.

Телефонирует Оля старому мужнинуму другу Серёже Григорьеву, художнику, у того головокружения бывают пореже, поквартально, придёт, конечно, подсобит, он ведь и в старой квартире подсобил, рыбный натюрморт для кухни нарисовал, краски яркие, свежие, вкусные, и «рыбный день» на кобенковской кухне имел почти натуральное ежедневное присутствие...

Явился Григ, мастер на все руки. Помимо раз-плёвых мелочей в новосельном доме он ещё и шкафчики привесил. А Оля принялась распаковывать картонные коробки с чашками-ложками.

Дальше история драматизируется.

Чаще всего Оля кормила семью свою прямо из сковородки. Выгода от этого прямая: и посуду мыть не надо, и время экономится, и пианистические пальчики не грубеют. Однако же хорошую посуду Оля обожала и покупала, покупала, поелику возможно и куда не наполнила битком те хорошенькие шкафчики. И вот однажды...

И вот однажды они обрушились, эти шкафчики, и весь НЗ сервизов и прочей красивой в своей девственности посуды – вдребезги. Конечно, явились слёзы и душевное неравновесие, и заслуженная истерика. И виновником того крушения-сокрушения, по Олиной версии, оказался этот Григ, а ещё друг называется...

И вновь был вызван Григ на кухонный коврик. Он выслушал Олю смиренно и целомудренно.

– Оля! – воскликнул Григ как бы по-итальянски, типа «о-ля-ля!», но по-русски этот тип означал: не надо ля-ля! и вообще, зачем нам такие нервы и крутой концерт типа сольфеджио?

При этом Григ не стал извлекать наружу внутренний голос своей ариозо-оратории, но внешне проявил завидное, прямо-таки нечеловеческое великодушие. Он не стал говорить Оле о том, что она, вообще-то, хозяйка, мягко говоря, хреновая. Он сказал: да, шкафчики рухнули, но вот в чём, друзья мои, причина их обрушения? кто виноват? а виноваты, по-моему, многопудовые «бабы», те самые, которыми круглосуточно забивают в землю по соседству железобетонные сваи, строится новый дом, и вот эти «бабы» бабахают, от них идёт глобальное содрогание и сотрясение, но с этих «баб», увы, не спросишь...

– А с каких спросишь? – спросил Толя.

Дальше история ещё более драматизируется. Ибо разговор, уже при свидетельнице-бутылке, пошёл о так называемой «русской почве». Плюс – сопутствующее этой почве: война в Ираке, «Буря в пустыне», озоновая дыра в космосе...

На полу лежали бывшие сервизы.

В спальне рыдала Оля.

А за окном ухали «бабы», сотрясая серьёзный мужской творческий разговор и все его художественные окрестности.

ТЕЛЕФОН И ЕГО ВЫСОЧЕСТВО ЯЗЫЧЕСТВО

Уж наверняка многие сочинители рифмованных и нерифмованных строчек испытывают такой искуc нетерпения:

немедленно, сию же минуту, с пылу-с жару поведать миру, в крайнем случае, пусть даже и одному человеку, свои свеженькие строчки, только что спорхнувшие с пера, новорожденные... Виват тебе, научно-технический прогресс! Слава тебе, господин персональный компьютер с электронной «емелькою»! Глория с исполатью тебе, телефончик приятности медовой, сотовой!

Правда, по ночам можно звонить не всем.

Мне Кобенков звонил.

...За пару месяцев до скоропостижного переселения в Москву состоялся полуночный цикл стихотворного прощания Анатолия с Иркутском. Одно из стихотворений заканчивалось так:

*Продлись до склона дней, губернский понедельник,
с саями под крыльцо, с валторной под язык...*

Дальше – тишина. Лишь – прицокивание, причмокивание в телефонной трубке.

– Ты чего это, – спрашиваю, – телефончик целуешь?

– Да вот это, – отвечает, – самое... Дела сердешные...

Помолчали. Он причмокивал о своём. Я – о своём, о том, чего никому позже не говорил: о чём же... Сейчас скажу. Тогда мне в голову вдруг пришёл Рембо, стукнулся Бодлер – те пииты, которые стишками своими франкофонными превращали осколок бутылочного стекла в алмаз, и плевков – в слезу... и царственная Анна Андреевна погрезилась, объявившая сор-мусор обителью стихов... – и некоторый оргвывод на заданную тему явился, не запылится: вот, дескать, до какой низости надобно возвыситься, чтобы – волею небес? – оказаться причисленным к лику поэтов! к лику-то – не кликуха междусобойная!.. – но тут же, вперебивку, решительное со смущением является: да что мне до Рембо, до Бодлера, даже до самой Ахматовой? они – вон где! а мы-то – вот где, но я только что, клянусь мамой, доподлинно узнал: как, откуда, зачем и почему рождается поэзия, подлинная, настоящая, которая начинается так и тогда, где и когда под языком стихотворца валидол превращается в валторну... Оказывается, какое, в общем-то, оно простое и безыскусное, такое язычество. Правда, сплошь и рядом оно дорого обходится. Случается – ценою в жизнь.

И при этом совсем необязательно спрашивать: по ком звонит «Телеком».

ТРАКТАТ О ТРЁХ ИСКУШЕНИЯХ

Приходит срок всякой амортизации и эксплуатации – и сердечно-сосудистая система подаёт звоночек: эй, друг-курильщик, не пора ли завязывать с дымным фактором? подумай и одумайся, субъект этакий, пока не поздно...

Поэт Кобенков после первого инфаркта призадумался и в том призадуме сочинил стишок-прощание с курительной трубкой. Посредине прощания поэт воздвиг, будто памятник, интересный вопрос:

*Кто снится уходящему из жизни
курильщику?..*

Выдержав паузу вдоха-выдоха, поэт выложил сугубо субъективное мнение:

*..... Обыкновенно
курильщику, бегущему из жизни,
и женщины являются, и дети,
которых он – то спички потерявши,
а то и трубку, – взял да напридумал:
не покурить, так хоть поговорить.
Они над ним, почти уже погасшим,
на крылышках табачных пролетают,
в руках у них табачные колечки,
в устах – гобои папы Петерсона,
в зубах – свирели папы Савинелли,
а меж ключиц – бигбеновский тромбон.
Да здоровствует оркестрик с лакримозой
великого Моцárта, с аллилуей
Андре Форэ, и дирижёр-курильщик,
и две трубы, поющие о трубках,
и посе́му – подвинься, *Dies Irae*
карающего Верди, дай взметнуться
прелюдии картавых зажигалок...
Жизнь кончилась, пора перекурить.*

Так-так, всё так, всё верно, все пьющие люди и курящие люди – братья, понятное дело... Только вот непонятно: откуда и почему эта музыка сфер табачных?

А – потому!

У кого что болит, тот о том и говорит: все книжки стихов Анатолия Кобенкова, от первой до десятой, наполнены музыкой: чистое стаккато в стакане...

*Кто на клавише гарцует,
кто над клавишей кружит...
Моцарт музыку танцует,
Бах на оной возлежит.*

*Глюк не мыслит без буфета
и без пунша – никакой,
ибо с пуншем больше света
и внушительней покой...*

...«дудочка моя, дружок» – «валторна под язык» – «вся в молниях смычка виолончель в коленках, и солон кларнетист» – «когда сержант Попов играет на кларнете и друг мой Закирбек играет на трубе» – «жил таракан, и музыка играла» – «и с песенкой в зубах приходит жизнь к народонаселению»...

*А у Генделя зевота
в трудовлажные часы,
а Сальери носит ноты
на товарные весы...
А у Гайдна гаснут свечи,
чтобы мы могли сойти
в ад почти по-человечьи
и по-божески почти...*

...«стучат барабаны и дуют в дуду, и музыка – воздуха шире» – «мотивчик бы такой сыскать, чтоб – жизни не смешнее, и чтобы – из неё и в то же время – над»...

Собственно говоря, и говорить-то, тем более языком прозы, на тему двуединства Каллиопы с песнопеньем и

Эвтерпы с поэзией вряд ли нужно: родственные их узы-музы очевидны, первая чуть-чуть постарше, на каких-то десятках тысячелетий, исторический миг времени тому назад; вторая – чуть-чуть помладше... и сошлись они в человечестве породственному, по-свойски, легко и просто, и пошли с ним дальше по белу свету уже вдвоём, полетели по летам, при-танцовывая – две сестрицы-близняшки, и являлись народным массам уже не абы как, но по просьбам трудящихся, по заявкам радиослушателей, в рабочий полдень, до 16-ти и старше, и после полуночи...

А курительные трубки с табачным зельем уж тут как бы даже вовсе ни при чём, то есть как раз при том, что состоит она, эта презельная трубка, при культуре человеческой в положении вульгарном, сбоку-припёку, но вот что характерно: трубка-то эта, кажется, предстаёт не только как, в некотором роде, духовой инструмент или реквизит духовности, но и как материализованная, в духе диамата, сакральная душистость типа «парфюм».

По свидетельству истории мировой культуры, капля никотина не убивает Пегаса!

По свидетельствам многочисленных очевидцев, свидетелей и подельников, в словарях произвольно и грациозно выстраивается то ли ряд, то ли шеренга фимиаменная: табак – табу – табун – трава – отравка – равви – равель – лад – ладан – ладонь, колеблемый треножник, алтарь, лампада, воскурители лампад...

Бред какой-то, дурман и опиум для народа. И ведь всё как-то так невзначаянно, что даже противно! Чушь. Залезешь в неё – сам чушкой станешь. А нам это надо? Нам это не надо.

Министерство здравоохранения предупреждает: курить – здоровью вредить. Фольклор поддакивает, но всё как-то так фигурально-неопределённо: кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт...

Вот почему так и тянется, так и тянется любознательное человечество к житейскому опыту и эксперименту: надо нам это или не надо – эта Каллиопа, эта Эвтерпа, эта трубка мира на тропе войны?..

Вопрос – знак плодородия. Народ хочет знать. Российский народ хочет знать в особенности, пуще всех других народов. Потому что потому: Россия есть шестая часть света и пять шестых всего остального, и в той остальной тьмущей нашенькой тьмутаракани содержатся неисчерпаемые залежи сюжетов, звуков и красок. Непросвещённая пещера Алладина – без лампы – для творческой интеллигенции: писателей, художников, музыкантов, да-да! вот только читателей, зрителей и слушателей часто бывает жалко, но что вы хотите? – мы такой народ, застенчивый до грубости, отзывчивый, короче, такой народ, что самого Гитлера до самоубийства довели, а уж после войны сам маршал Ворошилов по линии ЦК партии возглавил руководство искусством...

Вернёмся, однако, к Эвтерпе с Каллиопой в свете дыма отечества. Перво-наперво, заметим: чего-то в этой конструкции явно не хватает. Чего?

И вот вдруг является художник. Молодой и зелёный, и синий, и красный, разный, многоцветный: Илюша Смольков. Является и выставляет перед нами свою работу: «Портрет поэта Анатолия Кобенкова» (2001, бум., пастель, 56 x 71). И что же мы видим: возлежит весьма приблизительный Кобенков и курит... саксофон. Портрет трубадура, вылитый из художника.

Значит, что? Значит, всё. Приехали. То есть, дальше поехали. То есть, тронулись. И вослед машут нам, тронутым, уже три парнасские девы, соблазны слова-звука-цвета, три девицы за окном, три подружки-поблядушки, святая троица, равнобедренный треугольник, прелести модельные 60*90*60... – и вот уж блазнится, то есть чудится, нам, тронутым, что чушь ничуть не смешнее жизни, ибо вся – из неё, и в ней, и под, и над – в том запретном парфюме, в воскурениях языческой лампы: ламбада трёх граций на фоне трубадура.

Ну, вот и слава богам, и воскурильщикам всех времён и народов – тоже слава !

На том и чокнемся, товарищи.

Со старым интеллигентским тостиком: «За нас с вами и хрен с ними!»

Примечания

1. Петерсон: знаменитый на весь мир трубочный мастер (Великобритания).
2. Савинелли: не менее знаменитый трубочный мастер (Италия).
3. «Биг Бен»: помимо Лондонской башни с часами, ещё и марка английских трубок.
4. Ворошилов: Климентий Ефремович, маршал, соратник маршала Будённого и генералиссимуса Сталина.
5. Будённый: Семён Михайлович, во времена застолий на даче Сталина в Кунцево систематически играл на гармошке, Ворошилов плясал «барыню», а тов. Хрущёв – «гопака».
6. Сталин: Иосиф Виссарионович, лучший друг всех артистов и писателей (см. Постановления ЦК ВКП(б)); трубку курил, между прочим.
7. Илюша Смольков: гений.
8. Бог: он есть и всё видит.

НАИСКОСОК К ВИСКУ

Из восьмидесятих годов прошлого столетия тянутся строчки Поэта:

*Всё на свете остаётся –
ты уйдёшь, но не уйдут
ни деревья, ни колодцы,
что во тьме тебя найдут.
Ты и мнишь себя счастливым
оттого, что всё твоё
остаётся – и крапива,
и ожоги от неё...*

...и ещё многое-многое другое, даже избыточно-изобильное, от чего поначалу можно возрадоваться и возгордиться, однако же потом – увы, мир, переполненный бесконечными последними каплями, становится искупительной чашей, чашей искушения, и зришь его, мир чаши, уже как бы и не лицом к лицу, не лоб в лоб, но – наискосок, отражённым светом, со смущением столько же ветхим, сколько и юным, новозаветным, из века в век свиде-

тельствующим с категоричностью свидетеля под судебной присягой, что – видит бог! бог свидетель! – на пути к раю земному единственным препятствием и необходимой (ни с какого боку!) преградой, этаким камнем преткновения, оказывается сам человек.

И вот тогда выносится самоприговор.

Язык у него не бронзовый.

И рубахи на груди не рвут: хоть и самое время, да не место – около колокола.

Когда-то Сервантес, ещё до «Дон Кихота», сочинил новеллу про человека, который считал себя стеклянным, и когда однажды его уронили наземь, он сказал «дзинь» – и умер.

Стеклянный человек настолько поразил девятистолетнее сердце советского литературоведа Виктора Борисовича Шкловского, что он почёл за святую обязанность вспомнить про «дзинь» в одной из своих последних книг о теории прозы.

Всё на свете остаётся.

Дзинь!

В детстве Поэт мечтал стать клоуном и смешить людей. Не получилось.

Об этом мечтательном факте жизни мало кто из посторонних людей знал и знает, а сам он, неудачливый мечтатель, войдя в серьёзные лета, даже и не заикался – ни в устной форме, ни в письменном виде и, уж тем паче, в краткострочных биографических и автобиографических справочках, которые иногда предваряют сочинения членов Союза советских писателей.

Объяснение давал унылое:

– Да, не получилось... Но это не то, чтобы носом не вышел в клоуны. Нет! С судьбоносным носом как раз всё в порядке. Дело в другом. Дело – в читателях. Ведь не поймут же! А уж литературные критики да коллеги-соперники так и вовсе до смерти залюбят...

Что правда, то правда.

Поэт при жизни удостоился газетной фотографии в траурной рамке. Шутка такая.

Это странное состояние, положение, ощущение, когда – лицом к лицу, лоб в лоб – к потустороннему миру, к отражённому свету.

Вот был случай.

В лето 2003-е СибЭкспоЦентр разместил первую выставку иркутских дизайнеров.

Туда меня зазвал художник Андрей Хан, до этого оформивший одну из моих книжек. И вот этот самый проект оформления, увеличенный в десятки раз, Андрей вынес в экспозицию и позже, через несколько дней, даже получил Гран-при, был, понятное дело, доволен чрезвычайно – в отличие от меня, очутившегося в день открытия выставки лицом к лицу, лоб в лоб – со своим двойником, монументальным фотопортретом работы известного мастера Николая Бриля: сгущённый в контрастную чёрно-белую графику, портретный двойник был мемориально холоден, поглядывал на оригинал с высоты декоративно-прикладного положения и обозначал уже не меня, но кого-то другого, пусть даже и похожего, но отделённого неодолимой, форс-мажорной полосой отчуждения...

По соседству разместился живописный портрет поэта Виталия Науменко. Так вот, даже со ртом, точнее, с губами, наглухо зашитыми суровой ниткой, мой тёзка смотрелся веселее, жизнерадостней: он был вполне реалистичным, его сделал, если не ошибаюсь, тогдашний иркутянин Илюша Смольков, нынешний москвич.

А донынешний иркутянин Андрей Шолохов выставил тогда композицию под названием «Золотой унитаз». Мог бы, впрочем, обойтись без названия: имелся в наличии натуральный, типовой, чисто советский-социалистический, правда, не фаянсово-белый, но выкрашенный бронзянкой «под золото», а всё остальное тоже натурально-выкрашенное: мощная вертикальная труба стояка с чугунной ёмкостью для воды, и свисала из того бачка обыкновенная цепочка-дёргалка для спуска воды, но вместо фарфоровой вислоушки-гирьки на конце была приспособлена компьютерная «мышка».

Дочка Поэта, школьница Варвара, задумалась перед произведением Шолохова: такой Шолохов не вписывался в школьную программу.

Потому он, такой Шолохов, лично пришёл на помощь школьнице Варваре: дескать, сам Ленин в скобках Ульянов Владимир Ильич предсказывал, что при коммунизме в Советском Союзе люди будут пользоваться туалетами из чистого золота...

Шолохов смотрел на Варвару, Варвара – на папу, папа – на унитаз, а унитаз смотрел на всех сразу с ослепительным высокомерием и надменностью.

– Я думаю, – сказал наконец папа-Поэт, уважительно наклонясь к дочке, – что мысль художника такова. Даже в отхожем заведении ты, Варвара, должна учиться, учиться и учиться. Как завещал великий Ленин.

– Поняла? – строго спросила мама Оля.

– Поняла, – ответила Варвара и вздохнула. – Ленина поняла. А папу не очень...

Папа был большой диалектик. Таких не сразу поймёшь. Он не боялся заглядывать в будущее. По большому счёту, это даже был его долг.

Ещё в прошлом веке, в годы девяностые, он написал «Автоэпитафию»:

*Ничего не остаётся –
только камни и песок,
да соседство с тем колодцем,
что к виску наискосок.
Никуда уже не деться –
успокойся, помолчи...
Пусть дорога по-над сердцем
рассыпающимся мчит, –
хорошо бы к ней прибиться
чем-то вроде родника –
пусть и птица, и девица
припадут к нему напиться...*

К слову сказать, птицы и девицы да бабочки с кузнечиками – особо трепетная тема в жизни и творчестве Поэта.

Весной 2004 года в Доме литераторов имени Марка Сергеева ответственные лица готовили открытие художественной выставки под названием «НЮ».

Лиц было двое: художник Сергей Григорьев и вышеупомянутый Поэт. Они развешивали на стенах картины и картинки, испытывая при этом совершенную растерянность: творений на заданную тему, сверх ожидания, оказалось много, стен мало, всего две с половиной...

И сказал художник Григорьев:

– Явный избыток. Перебор. И какое же будет наше Соломоново решение?

Поэт задумался, потом улыбнулся и, сохраняя улыбку, сказал грустно-печально, точно вот сию же минуту Песнь Песней сочинял:

– Серёжа, мне кажется, что красивые обнажённые женщины никогда не бывают лишними.

И воспрянул художник:

– Точно! Красивых обнажённых вообще не бывает много!

После чего Поэт и художник продолжили сочинять экспозицию, не исключая из неё ни одной «нюшки». Они трудились вдохновенно. Как два царя Соломона. Целых два! – на одном, взъерошенном политическими страстями, постсоветском суперпространстве.

Мы ехали в Переделкино, в знаменитый писательский посёлок.

Травка зеленеет... мокрая субстанция с небес... в лето две тысячи шестое от Р.Х., середина декабря, Москва.

Бывший иркутянин Андрей Хан сидел за рулём своей нелегальной «японки» и вполголоса медитировал: «...ничего не остаётся... всё на свете остаётся...» – и между слов маячил призрак вопросительного знака.

Я, кажется, догадывался: Андрей решает неравенство, заключённое в соединении слов, доселе несоединимых. И подумалось мне: действительно! вероятно, здесь имеет место сбой в формальной логике, возможно – философическая стычка противоположных начал, а может быть – элементарная погрешность в литературной стилистике...

Бывшая иркутянка Людмила Сенотрусова с заднего сиденья сопровождала мужское полумолчанье короткими

пояснениями, приличествующими дороге: посмотрите налево, посмотрите направо...

Так мы и продвигались в суперпространстве: с Московской Кольцевой – на Боровское шоссе – мимо резиденции патриарха Всея Руси – вдоль соснового бора, потом направо, по Чоботовской просеке – речка Сетунь хохочет над декабрьскими фокусами погоды – осторожный въезд в овражек, ограничивающий Переделкинское кладбище...

А дальше пешком, совсем недалеко, в двух, считай, шагах – шепчется у овражного склона родник в деревянном срубе, миньютюрный колодезь с неиссякаемым источником, с ключом земным, и синички воду пьют, а вблизи, чуть наискосок, свежая могила с деревянным православным крестом и табличкою:

Кобенков Анатолий Иванович...

Дальше по склону, в одном ряду – могилы публициста Юрия Щекочихина, исторического романиста Юрия Давыдова... Ненароком и не к месту вспомнилось вдруг: в морозном иркутском декабре две тыщи четвёртого года, в середине рабочей ночи мне позвонил Кобенков и зачитал кусочек из компьютерной «емельки» от нашего общего товарища, московского прозаика Андрея Дмитриева, который извещал, что, дескать, всем встречным-поперечным москвичам рассказывает о замечательном Иркутском «круглом столе» по прозе, участником коего он был удостоен чести всего месяц назад, а фотографии от Диксона он получил по почте, спасибо почте, спасибо Диксону, мы его недавно вспоминали в узком кругу, сравнивали с Давыдовым, когда отмечали, без Давыдова, его восьмидесятилетие, не дожил до круглой даты, похоронили на Переделкинском погосте...

И тут зазвонил телефон. В кармане Людмилы.

Я вздрогнул.

И подумал: смерть абсолютно права, когда с непреложной естественностью смены времён года напоминает живущим о том, что больше жизни не проживешь, но вот всегда в этом напоминании дребезжит что-то несоединимо-тревожное, точно сбой в формальной

логике, или стычка противоположностей, или стилистическая погрешность...

Так, так.

Но, с другой стороны, ведь и сама жизнь никогда не была и вряд ли будет безупречным стилистом.

Что до стилистики ей, жизни земной, играющей без особенной чистоты и безукоризненности не только словами, но и людьми?..

На обратном пути остановились у Тверской площади. Князь Юрий Долгорукий высокомерно смотрел на противостоящую Мэрию и надменных «парковщиков», разделивших его, княжескую, законную площадь на мелкие кусочки автостоянок по 40 руб. за час.

Справа и вглубь от памятника – Столешников переулок, где под №2 стоит церковь святых бессребренников Космы и Дамиана.

При советской власти в храме размещалась типография, печатное слово служило делу партии Ленина-Сталина, пока Слово не вернули богу.

Спустя какое-то время в храме стал служить священник Александр Борисов, бывший учёный-биолог. Он и крестил Кобенкова в середине 90-х, уже после того, как в Иркутске прошли организованные Кобенковым Дни памяти злодейски убиенного протоиерея Александра Меня, на которые приезжали из Москвы брат Меня – Павел, и сокурсник Меня по охотоведческому факультету Иркутского сельхозинститута священник Глеб Якунин, а также священник Александр Борисов, он же президент Российского Библейского Общества.

(От тех дней у меня осталась групповая фотография, сделанная на смотровой площадке близ листовянского «Интуриста». Да ещё – книга Александра Меня «Сын человеческий» с дарственными надписями всех трёх наших гостей. «С пожеланием веры в нашего Господа Иисуса Христа», – написал Борисов... Увы, всеу. Так и остаюсь промозглым материалистом. Да не один я такой – в стране, где человек проходит, как хозяин, и при этом имеет выстраданное, заслуженное, благородное право жаловаться на жизнь, что, в общем-то, уже немало. А что касается бога, то я с ним разговаривал. Весьма доверительно. Однажды.

Ничего нового и, тем более, утешительного он мне не сообщил. В самом деле, нельзя же утешиться всевышней константой типа: «Обрыв. Облом. Обыкновенная история»...)

Отпели Кобенкова там же, где он принял крещение, у Космы и Дамиана, при отце Александре.

Как только мы с Людмилой завернули за угол и глазам открылась церковь, тотчас же ударили колокола.

– Вечерняя служба, – пояснила Людмила. – Ровно восемнадцать часов.

А как только мы, уходя, вновь скрылись за углом, колокола смолкли.

Так всё там и сошлось – около колокола: и место, и время – лицом к лицу.

Вечером втроём сидели за кухонным столом, умеренно пили и вспоминали не только то, что было, но и то, что ещё только будет или не будет...

В вечернюю нашу речь почему-то нахально вклинивался совершенно потусторонний интерес: а зачем косноязычные думские краснобаи лезут (калашниковым рылом, как выразился Андрей) в вопросы языкознания? нам что, друга всех лингвистов товарища Сталина мало? и как же при всём при этом соотносятся законотворчество с закономерностью? для кого депутаты сочиняют законы про то, как народу правильно говорить, писать и думать? им что, тунеядцам, делать там, в Охотном ряду, больше нечего в то время, когда у народа житейских забот невпроворот?..

Стали пальцы загигать: первое, второе, третье... Пальцев не хватило, чтобы отметить давно замеченное: почему российские таланты рождаются в провинции, а умирают в Москве?..

Андрей только раз отлучился из кухни, чтобы крошками белого батона накормить синичек, дожидавшихся ужина на балконе, а чёрный хлеб они не потребляют, надо же, привереды какие.

Вернувшись, Андрей сказал, что это те самые синички, которые пили воду из Переделкинского родника.

Мы с Людмилой поверили.

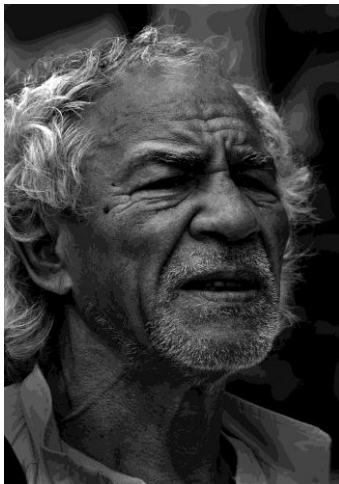
Мы ведь тоже пригубливали тот родник.

PS: Всего десять дней оставалось... Десять дней до Нового года, который Президент России объявит Годом Русского Языка, годом, который потрясёт мир... Наивный он всё-таки человек, Президент, носитель многозначительной и, даже без всякого директивно намеченного удвоения, энергоёмкой аббревиатуры ВВП.

PPS: «Вы напишите о нас наискосок», – подсказывал Иосиф Бродский...

Я написал. А машинистка в постскрипуме отстукала: «Десять дней до Нового Года, который Президент России объявит Годом Русского Языка»...

Декабрь 2006, Москва



Диксон Виталий Алексеевич (род. в 1944 г.) - прозаик, член International PEN/Русский ПЕН-центр. Живёт в Иркутске.



МГНОВЕНИЯ



*...Пусть я лежу в постели тёплой,
пусть книжку почитать прошу,
пусть мне читают «Дядю Стёпу», -
я сам уже стихи пишу!*







*...Ем варенье, потею, рифмуя:
«кровь-любовь», «сон-влюблён», «сны-весны».
Ничего у тебя не ворую –
Эти рифмы тебе не нужны,
И поэтому после отбоя
Я пишу, чтоб не видел никто:
«Служба идёт нормально, иногда я так устаю, что забываю
увидеть тебя во сне, но всё равно люблю...»*



АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ

Люся и Семка!
Эти улицы им строили
вместе с мамой,
потому, что **УЛИЦЫ**
они и никогда не **СТИХИ**
сметут проследить,
то работа голубка
по ним будет братьев:
То, Семка, То, Люся
и я с мамой.

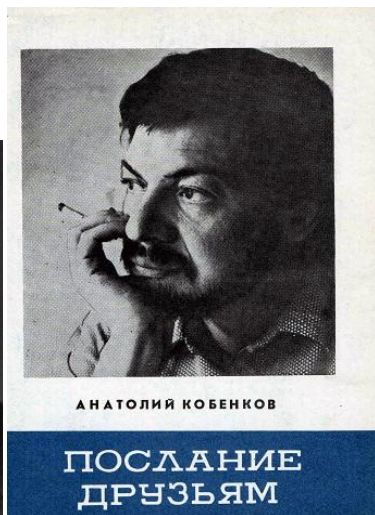
Юль Толяна.

15.5.77.

День поэзии.
ИЖТ и.
Зей с районной

ВОСТОЧНО-
СИБИРСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1988





В те годы подрастающее поколение строителей коммунизма поголовно рвалось в геологи, замусливало до дыр книжные страницы Хемингуэя, выращивало бородки и обожало толстые свитера грубой вязки...



С Т И Х И,
написанные по случаю очередного юбилея
Сергея Григорьева

Без подарков, но зато по дождику,
паучка приладив на плечо,
я приеду к старому художнику
на его фамильное ранчо.

В мятых джинсах, в курточке мальчишеской,
в кепочке, застывшей у бровей,
он стоит, как двоечник в учительской -
меж кустов, как меж учителей.

Он внимает ворону картавому,
с ласточкой беседует темно...
Если он вино не глушит с травами,
значит я с ним выглушу вино.

Станем пить за всё, что нами пройдено,
за печаль, которая внутри...
Осыпайся, чёрная смородина,
красная смородина, гори -

обжигай холсты его печальные,
тычься в кисти влажные его...
Мы сегодня к зрелости причадили,
завтра - старость, после - ничего.

А пока - не торопись, не охая,
занавесив глупости холстом,
за работой - хорошо ли, плохо ли -
но зато по правде поживём...

А. Кобелев

15.7.87.



Ташкент, август 1988



С Марьей Васильевной Розановой на Байкале. Сентябрь 1999.



Геннадию САПРОНОВУ

*В той области – за тридцать морей –
Нас головокруженьем угощали
Малиновый лопух, седой пырей
И – в красных венах – изумрудный щавель...*



Портрет поэта Науменко-критика Зангезина.. Худ. Илья Смольков, 2001.

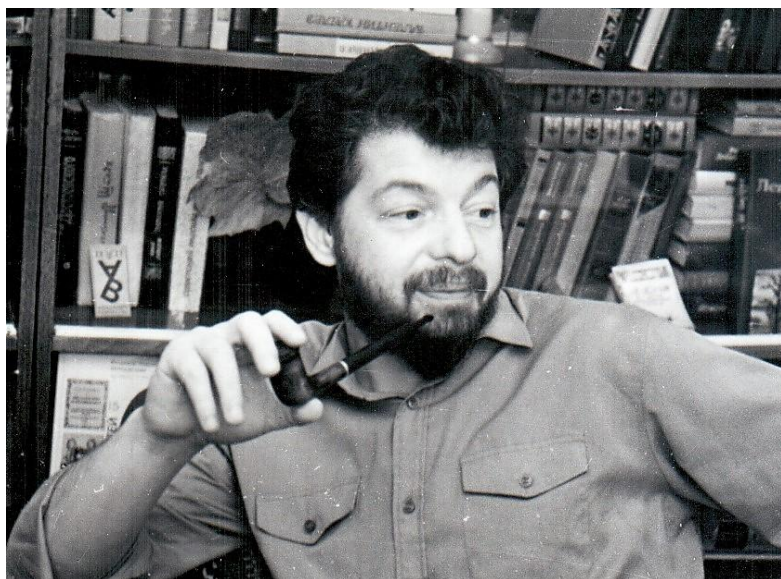
Виталию Науменко (Зангезину)
*Знать бы мне, что я не знаю,
Не скажу наверняка,
Что на дудочке играю
Безъязыкость языка...*



Шпирко + Кобенков + Мошкин. Конец 90-х



Париж, Сент-Женевьев де Буа, ноябрь 2003.

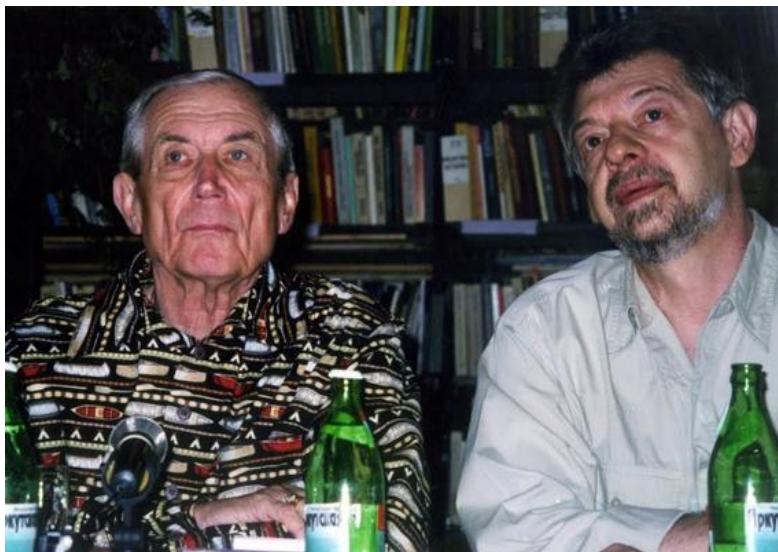






Портрет поэта Анатолия Кобенкова.
Худ. Илья Смольков, 2001. Бум., пастель.





Первый Фестиваль поэзии на Байкале.
Отцы-основатели: АК и ЕЕ. Иркутск, 2001.

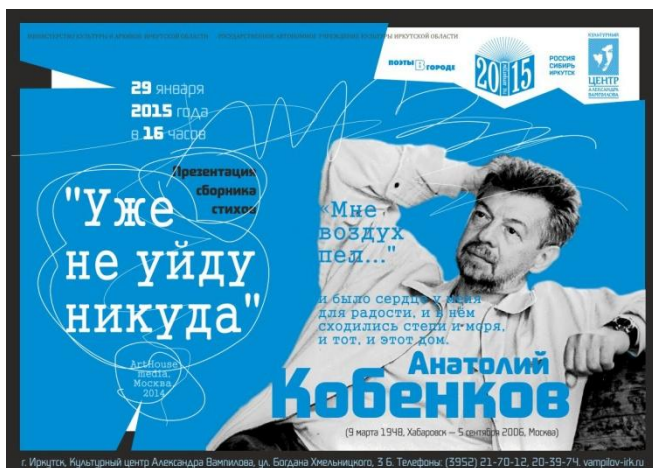




Фестиваль Поэзии - 2005

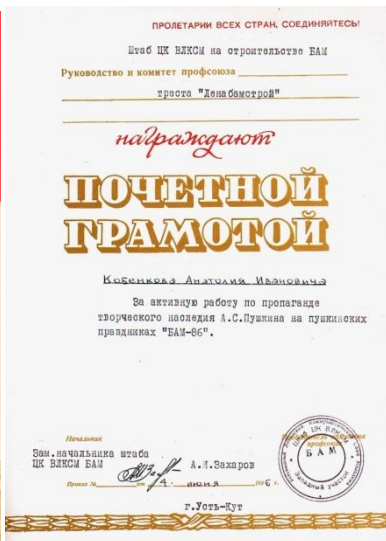


Последнее лето в Иркутске. 2005 год. Презентация книжек своих учениц.



«Всё на свете остаётся...» -

...даже редчайшие, почти единственные, прижизненные похвалы: звание Почётного интеллигента Монголии, благодарственное письмо нунция Папы Римского, галстук от румынского диссидента Мирчи Динеску и грамота от Штаба ударного строительства Байкало-Амурской магистрали...



Поезд ушёл...

... Поезд ушёл. И не надо спрашивать: куда?.. Можно было бы и вообще успокоиться, как ожог успокаивается после вскрика: звук еще не умер – а уже не болит... Можно было бы, конечно. Если бы в то же «вчера» не родилась под знаком вопроса девочка, дочка твоя, стихотворец. Ей и адресую всё вышеизложенное как комментарий к отцовским стихам, и буду по крайней мере умиротворён, если она, постигнув слово, не пошлёт поколение отцов туда, куда сейчас убегает революционный паровозик ихнего детства; обиженно ревущий, он шурует с такой искренностью, которая озаряет позади полнеба и впереди полнеба, до самого горизонта, а у того горизонта, оказывается, есть чёткие – пощупать можно! – краешки и закрайчики, потому что заводному паровозу выпал на долю не земной шар, а – блин! – первый блин, плоский, как острота висельника...

29 октября 1992 г.

(Из эссе Виталия Диксона «После звука»)

Открытки с путей сообщений

КОРЗИНКА

Оле

*У птицы есть гнездо, и есть нора у твари...
Я птица, я и тварь: есть у меня нора
и тёплое гнездо – я годы государю
на кухоньке своей с утра и до утра.
Я чаще здесь пишу, чем ем, но реже плачу,
чем хохочу, и здесь, как жадный иудей,
я славное добро – свои писанья – прячу
в корзинке для белья из ивовых ветвей.
Я думаю, что в ней (но бесконечно прежде,
чем я её нашёл и привязался к ней)
по голубой воде, звездой и рыбой между,
грызя свой ноготок, плыл мальчик Моисей...
Смешно, но раз в году меня светло тревожит
ветхозаветный сон: на кухне, у стола,
сидит моя жена и слёз сдержат не может:
«Корзинка уплыла!»
Корзинка уплыла...*



Это Оля. Жена.

Варе

*Я как Иосиф стар, а между тем
ты – девочка, и я навечно выпит
боязнь за тебя... – бежим в Египет...
Прости-прощай, сибирский Вифлеем!
Вот ослик наш – небесный самолёт...
И наши провожатые – светила –
в его копытца тычутся уныло,
и завтра Илия их подберёт...
Все издавна бегут: кто – в письмена,
кто – в пиршества, кто в плен бежит из плена...
И мы бежим, и такт постепенно
твои пелёночки, мои пелены
и бледного Египта пелена...*



Это Варя. Дочка.



Это гости. Всего лишь двое из многих...



Это паровозик, который сперва убежал, а потом нашёлся...



Это ворона. Она же – стрелочник, путевой обходчик и станционный смотритель.

*Пусть между нами случится ворона,
облака топот, тополя крона,
перемоловшая злак
мёртвого солнца, да предпохоронный
звук или, может быть, знак...
Пусть нам, и правда, ворона случится...
Кто там устами успел приложиться
к облаку, кроне, трубе?..
Троица ангелов в двери стучится...
Может, успеем ещё сговориться:
если положена мне ангелица,
ангел положен тебе...*



Порт Байкал. Июнь 2016.

*... эти раздоры миропорядка с миро-
сопротивленьем столь тяжелы сейчас
приговорённым к кисточкам и клавирам,
так напрягают крылышки наших глаз,
что разрыдаешься: ликам мешают лица,
веку – секунда, миг заслоняет год,
и для того, чтоб высмотреть ангелицу,
взмахом ресницы смахиваешь народ...*



Позади – XV Международный Фестиваль поэзии имени Анатолия
Кобенкова.

Впереди – целая жизнь...

Составитель: Диксон В.А.

КОРОТКО О ЛЮДЯХ, ИМЕНА КОТОРЫХ ВЫ ВСТРЕТИЛИ В ЭТОЙ КНИГЕ

АЗИЗЯН Левон Патваканович. Род. в 1954 г. Музыкант, педагог, директор объединённой школы искусств № 3, г. Братск.

АЛЬТЕР Игорь Григорьевич. Род. в 1941 г. Журналист, публицист, телевизионный ведущий.

АНОСОВ Анатолий Иванович, род. в 1936 г. Художник, живописец, книжный график, мастер экслибриса.

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович (1924 – 2001). Писатель, прозаик. Автор 16-томного собрания сочинений.

БАЗЮК Геннадий Владимирович (1947 – 2001). Художник, книжный график, карикатурист. Работал в газете «Советская молодёжь».

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич. Род. в 1950 г. Писатель, прозаик. Автор десяти книг прозы.

БАРДИНА (Шпирко) Раиса Николаевна. Род. в 1930 г. Художник, книжный график, иллюстратор книг для детей.

БАЧИН Михаил Филиппович. Род. в 1940 г. Директор Дворца культуры нефтехимиков г. Ангарска.

БЕРКОВИЧ Арнольд Владимирович. Род. в 1938 г. Журналист, публицист, театральный критик.

БЕРМАН Александр Зиновьевич (1926 – 2004). Актёр Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова, заслуженный артист России.

БЕСПРОЗВАННЫЙ Леонид Владимирович (1933 – 2012). Театральный деятель, журналист, писатель. Режиссёр народного театра «Чудак» г. Ангарска.

БОРОВСКИЙ Фёдор Моисеевич (1933 - 2013). Писатель, прозаик. Автор четырёх прозаических книг.

БРУСТВЕРОВСКИЙ – псевдоним писателя Михаила Викторовича Башкирова. Род. в 1954 г.

БУХАРАЕВ Равиль Раисович (1951 – 2012). Поэт, прозаик, драматург, журналист и переводчик. Автор 16 поэтических книг, пьес, философских и публицистических произведений.

БЫКОВ Дмитрий Львович. Род. в 1967 г. Писатель, поэт, публицист, журналист, литературный критик. Живёт в Москве.

ВАМПИЛОВ Александр Валентинович (1937 – 1975). Драматург. Написал пять пьес, сборник юмористических рассказов.

ВЕНГЕР Виталий Константинович. Род. в 1928 г. Артист Иркутского драматического академического театра имени Н. П. Охлопкова. Народный артист России. Лауреат Государственной премии РФ.

ВЫЧУГЖАНИН Аркадий Иванович (1924 – 1984). Художник, живописец, мастер психологического портрета, педагог.

ГАЛКИНА Валентина Ивановна. Род. в 1931 г. Старейший работник-экскурсовод Байкальского лимнологического музея.

ГАЙДАРОВ Гайдар Мамедович. Род. в 1952 г. Доктор медицинских наук, профессор. Главный врач факультетских клиник Иркутского государственного медицинского университета.

ГЕФАН Леонид Давидович. Род. в 1959 г. Музыкант, педагог, композитор.

ГОВОРИН Борис Александрович. Род. в 1947 г. С 1994 года – мэр города Иркутска, в 1997– 2005 годах – губернатор Иркутской области.

ГОЛЬДФАРБ Станислав Иосифович. Род. в 1956 г. Журналист, писатель, доктор исторических наук, профессор. Генеральный директор агентства «Комсомольская правда – Байкал».

ГОРЛАНОВА Нина Викторовна. Род. в 1947 г. Писательница, художник, педагог. Издала 15 книг прозы.

ГРАУБИН Георгий Рудольфович (1929 - 2011). Забайкальский писатель, переводчик, детский поэт. Автор девяти книг детских стихов.

ГРЕЧМАН Александр Евгеньевич. Род. в 1961 г. Создатель и художественный руководитель «Авторского театра Александра Гречмана» в Иркутске.

ГРИГОРЬЕВА Лидия Николаевна. Род. в 1945 г. Русский поэт, эссеист и фотохудожник. Автор девяти поэтических книг. С 1992 года живёт в Лондоне и Москве.

ГРИГОРЬЕВ Сергей Михайлович. Род. в 1946 г. Художник, живописец, график, иллюстратор книг, дизайнер, фотограф.

ГРИНБЕРГ Семён Бенционович. Род. в 1938 г. Его стихи 1950-х годов вошли в антологию «Самиздат века». Издал 12 поэтических книг. Живёт в Иерусалиме.

ГРИЦМАН Андрей Юрьевич. Род. в 1947 г. Поэт, эссеист, редактор международного журнала поэзии «Интерпоэзия». Автор девяти книг стихов и эссе. Живёт в США.

ГУНИН Леонид Васильевич. Род. в 1959 г. Журналист, редактор, директор филиала ВГТРК «Ярославия».

ГУРУЛЁВ Альберт Степанович. Род. в 1934 г. Писатель, журналист, издатель. Автор нескольких повестей и рассказов.

ДОМБРОВСКАЯ Светлана Ивановна. Род. в 1954 г. Возглавляла управление культуры г. Иркутска. Директор Иркутского театрального училища.

ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович. Род. в 1932 г. Поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссёр.

ЕГУНОВ Виктор Пантелеймонович (1928 – 2007). Артист Иркутского драматического академического театра имени Н. П. Охлопкова. Народный артист России.

ЖИБИНОВ Алексей Петрович (1905 – 1955). Живописец. Работал в мастерской Павла Филонова. Портретист, автор портретов деятелей

культуры Иркутска, тематических полотен. Участник Великой Отечественной войны.

ЖЕЛТОВСКИЙ Олег Всеволодович. Род. в 1950 году. Журналист, редактор. Главный редактор газеты «Советская молодежь». Председатель совета директоров ЗАО «Издательский дом "Номер один"».

ЖИЛКИНА Елена Викторовна (1902 – 1997). Поэт, автор пяти сборников стихов. Сотрудничала в журналах «Сибирские огни», «Будущая Сибирь», альманахах «Переплавы», «Стремительные годы».

ЗВЕРЕВ Алексей Васильевич (1913 – 1992). Русский советский писатель. Автор двух романов, нескольких книг повестей и рассказов. Участник Великой Отечественной войны.

ИОФФЕ Сергей Айзикович (1935 – 1992). Поэт, прозаик и эссеист. Автор семи сборников стихов, трёх книг эссе о поэтах, двух книг прозы

КАСАБОВ Лев Ашотович (1931 – 2001). Музыкант, скрипач. Основатель и художественный руководитель камерного оркестра Иркутской областной филармонии.

КЕДРИН Дмитрий Борисович (1907 – 1945). Русской советский поэт, переводчик, журналист.

КЕНЖЕЕВ Бахыт Шукуруллаевич. Род. в 1950 г. Казахский поэт и прозаик, пишущий на русском языке. Автор пяти романов. Его перу принадлежат 16 сборников стихов.

КИРЮНИН Валерий Алексеевич. Род. в 1946 г. Актер, театральный педагог-режиссер, главный специалист по театральному жанру Иркутского областного центра народного творчества и досуга.

КОЗЫДЛО Николай Григорьевич (?) В 80-е годы XX века – начальник Иркутского областного управления по сохранению государственных и военных тайн в печати (Обллит).

КОКОРИН Вячеслав Всеволодович. Род. в 1944 г. Театральный режиссёр, актёр, педагог. Заслуженный деятель искусств России.

КОРЖАНОВСКИЙ Тэофиль Гордианович (1930 – 2000). Журналист, режиссер документального телевизионного кино. Один из первых телевизионных журналистов в Иркутске.

КОРЗУН Евгений Алексеевич. Род. в 1937 г. Кинооператор, лауреат Государственной премии РФ. Работал на Восточно-Сибирской студии кинохроники.

КОНОНОВ Александр Иванович. Род. в 1947 г. Режиссёр. Основатель и художественный руководитель народного театра «Факел» (г. Ангарск). Организатор Международного летнего театрального Центра и фестиваля «Сибирская рампа» на острове Ольхон.

КРУСАНОВ Павел Васильевич. Род. в 1961 г. Прозаик. Издал 16 книг повестей и рассказов. Живёт в Санкт-Петербурге.

КУБЛАНОВСКИЙ Юрий Михайлович. Род. в 1947 г. Поэт.

КУКЛИНА (Ринчинова) Ольга Геннадьевна. Род. в 1971 г. Корреспондент газеты «Советская молодёжь». Заместитель директора Иркутской государственной телерадиокомпании.

КУНГУРОВ Гавриил Филиппович (1903 – 1981). Русский советский детский писатель, прозаик, публицист, критик.

КУРАЕВ Михаил Николаевич. Род. в 1939 г. Писатель, сценарист.

КУРБАТОВ Валентин Яковлевич. Род. в 1939 г. Литературный критик, литературовед, прозаик. Автор 18 книг.

КУТИЩЕВА Вера Ивановна. Род. в 1953 г. Работала министром культуры и архивов Иркутской области.

ЛАПТЕВ Александр Константинович. Род. в 1960 г. Писатель, прозаик, фантаст. Автор пяти книг.

ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий Давидович (1922 – 1996). Поэт и переводчик, мастер лирического и пародийного жанров. Автор 26 сборников стихов.

ЛЕЙДЕРМАН Лев Иосифович (1922 – 2004). Врач, хирург, один из лучших хирургов-урологов г. Ангарска.

ЛЕНЬШИНА Ирина Валерьевна. Род. в 1970 г. Корреспондент газеты «Советская молодёжь». Советник мэра г. Иркутска.

МАКАРОВ Борис Макарович. Род. в 1939 г. Бывший лётчик. «Двойник» Брежнева.

МАТАПОВА Евгения Александровна. Род. в 1970 г. Корреспондент газеты «Советская молодёжь». Живёт в Канаде.

МАШКИН Геннадий Николаевич (1936 – 2005). Прозаик, детский писатель, журналист. Автор девяти повестей и пяти романов.

МЕНЬ, отец Александр (1935 – 1990). Протоиерей Русской православной церкви, богослов, проповедник, автор книг по богословию, истории христианства, по основам христианского вероучения, православному богослужению.

МИХАСЕНКО Геннадий Павлович (1936 – 1994). Строитель Братска. Детский писатель, драматург. Автор более десяти детских повестей, пьес и сказок.

НАРОЖНЫЙ Виталий Сергеевич (1939 – 2015). Театровед, театральный критик. Преподавал историю западного и русского театра в Иркутском театральном училище.

НАУМЕНКО Виталий Владиславович. Род. в 1977 г. Поэт, прозаик, переводчик, литературный редактор, критик, драматург, сценарист. Автор пяти поэтических книг.

НОЖИКОВ Юрий Абрамович (1934 – 2010). Первый губернатор Иркутской области.

ОГНЕВСКИЙ Леонид Леонтьевич (1913 – 2000). Писатель, прозаик. Автор девяти романов, нескольких книг повестей и рассказов.

ПАВЛЮС, отец Игнаций. Род. в 1943 г. Настоятель римско-католического прихода Успения Богородицы в г. Иркутске

ПЛАМЕНЕВСКИЙ Владимир Юрьевич (1946 – 2003). Поэт, архитектор. Участвовал в проектировании города Усть-Илимска. Автор шести поэтических сборников.

ПРОСЕКИН Александр Ильич (1950 – 2004). Писатель, прозаик. Автор нескольких книг повестей и рассказов, в основном молодёжной тематики.

РАДАШКЕВИЧ Александр Павлович. Род. в 1950 г. Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор десяти книг поэзии, прозы и переводов. Живёт в Париже.

РАППОПОРТ Евгений Григорьевич (1934 – 1977). Журналист, литературовед, критик.

РАСПУТИН Валентин Григорьевич (1937 – 2015). Писатель, публицист, Герой социалистического труда.

РЕВИЧ Александр Михайлович (1921– 2012). Поэт, переводчик.

РОТЕНФЕЛЬД Борис Соломонович (1938 – 2007). Прозаик, журналист, публицист. Автор нескольких книг прозы и публицистики.

РУБЦОВ Николай Михайлович (1936 – 1971). Русский лирический поэт.

РУЖНИКОВА Юлия Владимировна. Род. в 1977 г. График, живописец, иллюстратор, издатель.

САМСОНОВ Юрий Степанович (1930 – 1992). Прозаик. Написал четыре книги сказок для детей и взрослых.

САПРОНОВ Геннадий Константинович (1952 – 2009). Журналист, издатель. Редактор газеты «Советская молодёжь», «Зелёная лампа». Собственный корреспондент «Комсомольской правды». Как издатель, выпустил в свет более ста книг отечественной прозы.

СЕМЁНОВ Александр Михайлович. Род. в 1954 г. Журналист, прозаик. Издан двухтомник повестей и рассказов.

СЕРБСКИЙ Виктор Соломонович (1933 – 2011). Поэт, библиофил, собиратель уникальной библиотеки русской поэзии в г.Братске.

СЕРГЕЕВ Дмитрий Гаврилович (1922–2000). Прозаик. Военная проза, фантастика, литература для детей. Участник Великой отечественной войны.

СЕРГЕЕВ (Гантваргер) Марк Давидович (1926 – 1997). Поэт, прозаик, публицист, общественный деятель. Автор 15 стихотворных сборников, 30 книг стихов и рассказов для детей. Один из создателей детского журнала «Сибирячок». Участник Великой отечественной войны.

СМИРНОВА (Желтовская) Елена Викторовна. Род. в 1970 г. Корреспондент газеты «Советская молодёжь». Редактор ведомственной газеты в Санкт-Петербурге.

СОБОЛЬ Марк Андреевич (1918 – 1999). Поэт, прозаик. Издано шесть сборников стихов, две прозаические книги. Участник Великой отечественной войны.

СОКОЛОВ Владимир Игоревич. Род. в 1952 г. Пианист, педагог, композитор, художественный руководитель театра-студии «Театр пилигримов» в Иркутске.

СОЛОМАТОВ Виктор Иванович. Род. в 1937 г. Дальневосточный журналист, поэт, переводчик. Живёт в Израиле.

СОЛОМЕИНА Юлия Борисовна. Род. в 1941 г. Создатель и бессменный директор музея Александра Вампилова в посёлке Кутулик Аларского района Иркутской области.

СОЛУЯНОВА Галина Анатольевна. Род. в 1952 г. Создала и возглавляет Культурный центр имени Александра Вампилова в Иркутске.

ТЕНЕНБАУМ Валерий Иосифович (1941 – 2013). Полиграфист, издатель. Был директором областной типографии имени Посохина.

ТЕПЛЯКОВ Анатолий Иннокентьевич. Род. в 1952 г. Композитор. Пишет симфоническую, камерную, хоровую, вокальную музыку, музыку к спектаклям, для оркестров народных инструментов.

ТРУШКИН Василий Прокопьевич (1921 – 1996). Иркутский вузовский педагог, доктор филологических наук, профессор. Литературовед, исследователь творчества сибирских писателей, библиофил-библиограф.

УЛЗЫТУЕВ Дондок Аюшеевич (1938 – 1972). Бурятский поэт-лирик. Стихи и поэмы переведены на русский язык и изданы в Москве.

УТКИН Иосиф Павлович (1903 – 1944). Русский советский поэт и журналист. Перу У. принадлежат шесть сборников стихов. Участник гражданской и Великой отечественной войн. Его именем названы улица и библиотека в Иркутске.

ФАТЬЯНОВ Алексей Дементьевич (1915 – 2001). Искусствовед, многолетний директор Иркутского художественного музея.

ФРУГ (Лейдерман) Инна Львовна (1925 – 1997). Врач, писатель, просветитель. Автор трёх книг (проза, эпистолярный жанр).

ХЛЕБНИКОВ Олег Никитьевич. Род. в 1956 г. Поэт, журналист. Заместитель главного редактора «Новой газеты». Живёт в Москве.

ЦИМБАЛ Евгений Васильевич. Род. в 1949 г. Актёр, кинорежиссёр, сценарист и монтажёр. Снял три художественных и десять документальных фильма, среди них фильм о Леониде Гайдае.

ЧЕРНОУСИКОВА Раиса Георгиевна. Род. в 1954 г. Подполковник милиции. Руководитель комитета по защите нравственности, получившего в народе название "Полиция нравов".

ШАСТИН Анатолий Михайлович (1930 – 1995). Писатель, журналист, краевед, редактор, общественный деятель. Автор более десяти книг прозы. Был ответственным секретарём Иркутской писательской организации.

ШЕРСТОБОЕВА Елена Алексеевна. Род. в 1983 г. Поэт, драматург, солистка рок-группы «Йена». Кандидат филологических наук. Ученица Анатолия Кобенкова.

ЩИГОЛЬ Лариса Нисоновна. Род. в 1942 г. Соредатор журнала «Зарубежные записки» Автор книги стихов. Стихи Щ. печатаются во

многих российских и зарубежных журналах, включены в антологию «Освобожденный Улисс». Живет в Мюнхене.

ШМАНОВ Алексей Николаевич. Род. в 1959 г. Писатель, драматург, сценарист. Издал семь книг – рассказы для детей, стихи, повести, романы.

ШПИРКО Александр Евгеньевич (1950 – 1999). Художник. График (книжная, промышленная графика, плакат), живописец, сценограф.

ШПИРКО Евгений Владимирович (1922 – 2014). Художник, живописец, график. В работах Ш. преобладает военная тема. Участник Великой отечественной войны.

ШУГАЕВ Виктор Максимович (1938 – 1997). Писатель, журналист, сценарист.

ШУКШИН Василий Макарович (1929 – 1974). Писатель, сценарист, кинорежиссёр, актёр.

ЯКУБОВСКИЙ Владимир Викторович. Род. в 1952 г. Мэр Иркутска с 1997 по 2009 год.

ЯЧМЕНЁВ Евгений Александрович (1957 – 2008). Историк, декабриствед, общественный деятель, музыкант. Был директором Иркутского музея декабристов. Автор научных и популярных статей о декабристах и культуре Восточной Сибири.

Подготовил Арнольд ХАРИТОНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Школьник. «И ты меня переживешь...»:
Вместо предисловия – 5

Анатолий Кобенков
РАННЕЕ: ШЕСТИДЕСЯТЫЕ, СЕМИДЕСЯТЫЕ... – 12
СТИХИ: 1980 - 2005 – 45

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Сергей Захарян. Колыбельная ушедшему – 104
Алексей Комаров. Из разных лет – 113
Арнольд Харитонов. Спасибо, что жил... – 151
Светлана Михеева. Звук, с оглядкой на дыхание – 193

Анатолий Кобенков
«ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ ...»
ЭССЕ: 2003 - 2005 – 204

Виталий Диксон. Поминальный свиток:
Вместо послесловия – 354

МГНОВЕНИЯ – 386

Коротко о людях,
с которыми вы встретились в этой книге – 409

Содержание – 419

Сетевое издание

**«АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ.
ПРЕЗУМПЦИЯ НАИВНОСТИ»**

Избранное:
стихи и проза
Страницы памяти

Публикация

Леонида ШКОЛЬНИКА

Оформление Веры ДУНАЕВОЙ

В оформлении обложки использованы:

Рис. худ. Олега БЕСЕДИНА, ноябрь 2004 г.;
Автошарж Анатолия КОБЕНКОВА, 15 декабря 1994 г.

В книге репродуцированы фотографии
Николая Бриля, Натальи Караковской, Александра Князева, Алексея
Комарова, Юлии Мирской, Марины Свиной, Татьяны
Смольковой, Владимира Харитонов, Семена Эпштейна, а также
из сетевых изданий и из архивов Виталия Диксона,
Дмитрия Фельдмана и Леонида Школьника.

**В подготовке издания принимали
участие:**

Сергей ГРИГОРЬЕВ (Иркутск)
Александр ДРАБКИН (Биробиджан)
Александра МАРТЫНОВА (Иркутск)
Владислав ОРЛОВ (Самара)
Елена САРАШЕВСКАЯ (Биробиджан)
Александр УРВАНЦЕВ (Хабаровск)
Дмитрий ФЕЛЬДМАН (Беэр-Шева, Израиль)

Опубликовано в сети 5 сентября 2016 г.





Иерусалим - Иркутск

2016